АНГАРА

2

1962

АНГАРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Орган Иркутского отделения
Союза писателей РСФСР

№ 2 (55)
АПРЕЛЬ
ИЮНЬ
1962

СОДЕРЖАНИЕ

Обложка и рисунки художников

Г. Леви и Е. Ушакова

На вклейках репродукции картин художников

Д. К. Роденко, В. В. Тетенькина,
Н. В. Шабалина,
скульптуры *В. Е. Семеновой*

Адрес редакции:
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, отделение Союза писателей РСФСР.
Телефон 56—76

ИРКУТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1962

Инн. Луговской

Великое беспокойство

НА ВЫСОТЕ

Он идет походкой молодою
Между ясным небом и водою,
Между Журавлиной Грудью
И Пурсеем...
А мы в бинокль
На сварщика глазеем.

Он повис на высоте железной
Над людьми,
Над поездом,
Над бездной,
Синеватой молнией сверкая,
Сталь со сталью накрепко смыкая.

Мы шагаем каменным нагорьем:
Здравствуй, парень,
С молнией и морем!

Это ты на стройку новоселом
Прибыл холостым да развеселым,
С вещевым мешком да чемоданом,
С фронтовым истерзанным баяном.

Это ты густым таежным гнусом
Часто был до одури искусан,

Но сибирской стужею прожженный
Все же не ушел,
Привороженный:
То ли неизведанной борьбою
С Ангарой холодно-голубою,
То ли светом,
Алым, глухариным,
То ль звериным шагом
По тропинам,
То ль в июне
Белыми ночами,
То ли в мае
Черными очами...

Хороши причины те и те:
Ты остался здесь
На высоте!

Пошутили мы в турбинной буре:
Паренек, как бог, на верхотуре,

С ликом,
Молоньею озаренным,
С морем,
Новым богом сотворенным...

Впрочем, бог
И сказы все про бога
Перед парнем
Выглядят убого!

О БЕСПОКОЙСТВЕ

Зима в тайге буреломной.
Медведь перестал реветь.
Огромный,
Неугомонный,
Угомонился медведь.

Ничто не тревожит Миху,
Он видит тысячи снов:
Бруснику и облепиху,
Котлеты из муравьев
И многое вкусное, многое...
Но кто это, леший дери,
Холодом лапу трогая,
Будит до вешней зари?

Медведь пробудился — волненье!
Глазища спросонок трет:
Недоуменье
И удивленье
Михайлу за ворот берет.

Медведь вспоминает рассказы
Медвежьих дедов своих.
За тысячи лет ни разу
Вода не тревожила их.

Не заливала тропку,
Где дремлет зимняя мгла,
А нынче даже на сопку,
Страшно сказать, —
Пришла!

Экое беспокойство! —
Ворчал он, прощаясь со сном.
И в дебри не без геройства
Шляться ушел шатуном.

Идет он, в снегу увязая.
Признаться, жаль шатуна.
Гонит его не простая,
А Братского моря волна.

Та, что почти невозможной
Дедовской сказкой была,
Та, что над хмарью таежной
Огни коммунизма зажгла.

Великое беспокойство
Бродит в сибирской глуши.
А беспокойство —
Свойство

Нашей, товарищ, души.
Не зная самодовольства,
Работай, работу любя.
Пусть вечное беспокойство
В сердце живет у тебя!

ЛЕТОПИСЬ ПАДУНА

Падун,
Ты во веки веков
Ревел, как сто тысяч быков,
Готовый поддеть рыбака
На каменные рога!

Мимо скалы Пурсей
Летит Ангара в Енисей.
Словно скрижаль, скала:
Надписям нет числа.

На черно-синей стене
Рассказы о Падуне
Врезаны в диабаз
От оных времен до нас...

Столетьями стертые знаки:
Вот шли молодцы-казаки
Туда, куда удаль вела,
Туда, где звенела стрела.

Крестя двуперстием лоб,
Проплыл Аввакум-протопоп,
Мятежник, апостол скита,
Старейший сибирский пиита,
Ибо он первым в мире
Глаголил о дивах Сибири...

Каменные скрижали:
Страхи, надежды, печали
И тяжкая думка одна
Про грозного Падуна.
Вот просьба:
Иду из Руси,
Господи, пронеси!

Вот радостный вздох и число:
Господи, пронесло!

Но выше всех каменных строк
Надпись без слез и тревог,
Надпись, как выстрел:
Здесь
Будет построена ГЭС!

. . . .

Мимо скалы Пурсей
Летит Ангара в Енисей.
Но что это? Гордый утес
Как будто бы в море врос,
И в море ушли письмена
На вечные времена.

И все, что поверили люди
Синему диабазу,
Видно воочию будет
Лишь водолазу...

Падун,
Ты во веки веков
Ревел, как сто тысяч быков.
А ныне тебя обняла
Беззвучная синяя мгла.

И вот уж поистине ты
Набрал полный рот воды!

ВЕРТОЛЕТ НАД САЯНАМИ

Вихрем закручены
Длинные лопасти.
Грозно чернеют
Саянские пропасти.

На острые пики
Утесов и елей
В упор напоролся
Туман из ущелий.

Стежка-дорожка
Бежит кабарожья.
Бежит, пропадает
Во мгле бездорожья...

Но выше тревожной
Заботы дорожной
Идет вертолет
Над сторонкой таежной.

Везет он тропою
Своей голубою
Боеприпасы ли зверобою,
Газеты ли клубу,
Иль харч лесорубу?

Тайга вековая,
Когда в свои области
Ты нас не пускаешь
Сквозь черные пропасти,

Берем тебя с воздуха,
Нет тебе роздыха!

Леонид Красовский



Кому пожинать плоды

Повесть

ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ

Мотоцикл рассерженным козлом фырчал и прыгал на ухабах. Он то и дело норовил сбросить седоков. Но Арсен цепко держался за секретаря райкома, а секретарь — за никелированные рога. Арсен, щурясь от встречного ветра, смотрел то на бритый затылок секретаря, то на мелькающие кусты.

Они выскочили из березовой рощи прямо к пшеничному полю. Секретарь резко затормозил.

— Вот здесь и работает Михаил Терехов, — сказал он, не оборачиваясь.

Арсен слез с мотоцикла.

— Добро. Пойдем к нему.

Секретарь озабоченно нахмурился.

— Не могу. Надо председателя поймать. Ты уж сам...

— Ну как знаешь.

Секретарский ИЖ нырнул в кусты. Швырнув свой плащ на траву, Арсен вошел в пшеницу и остановился, прислушиваясь. Пригревало тихое осеннее солнце. Едва слышно шелестели колосья. Словно рассказывали друг другу что-то очень чистое и очень спокойное. Где-то далеко гудел трактор, и это гудение вплеталось в дремотный разговор колосьев.

Арсен отогнал минутное желание растянуться на земле и уснуть. Крепко уснуть, чтобы снились разговаривающие колосья и покойно улыбающееся солнце. Прошлой ночью в поезде он спал мало.

Выйдя на сжатую полосу, Арсен увидел трактор. Далеко, далеко над огромным, по-сибирски бескрайним пшеничным морем. Проворным серым жуком он полз к роще. Решив подождать его, Арсен лег на опушке, окунув лицо в траву, чистую, умытую не-

давним дождем. Острые травинки пырея непроходимой чащей стояли перед глазами. В узких щелях между ними просвечивало золото березовых листьев. Вдруг Арсен замер. Он почувствовал неожиданный, пряноприторный запах. Этот запах взбудоражил его, как откровение земли, как ни с чем не сравнимое открытие. Он дурманил, воскрешал в памяти прошлое.

Вспомнилась редакция. Санька Пепелев. Почему Санька? Ах, вот!.. Как-то Арсен, вернувшись из командировки, рассказывал:

— Местечко я видел, ребята!.. Трава будто нарочно зеленью залита. Медом отдает. Душно даже...

— Не заливай, — сказал бархатным басом Санька. — Трава не пахнет.

И, скучно выругавшись, вышел в коридор.

Не пахнет! Бедный Санька, он не знает настоящего запаха травы! В тот раз Арсен ничего ему не сказал. Сейчас он жалел, что нет рядом с ним Саньки. Гм, не пах-нет! Хорошо, а сено? Да, сено, высохшая трава. Пахнет. Потому что, высыхая, она отдает то, что взяла у земли.

И Лиля Цыганкова тогда промолчала. Кто она? Рыжая кукла? Ее Арсен знал мало. Работала она в редакции всего год. Но дело даже не в сроках. Просто не любила она, чтобы ей в душу кто-нибудь заглядывал. Особенно Арсен. Что-то общее, явное и неуловимое было между ней и Санькой. Она даже не обижалась на Саньку за прозвище Рыжая Кукла.

Однажды Арсен и Лиля были в отделе вдвоем, и она, швырнув ручку на стол, сказала:

— До чего же надоело этот навоз на поля вывозить!

— Сходи на завод, — буркнул Арсен, не отрываясь от статьи, которую надо было срочно сдать в набор.

— На завод... На завод... — передразнила Лиля. — Тот же самый навоз.

Арсен глянул на нее с удивлением.

— Чего же ты хочешь?

— Отвлечься хоть немного, забыть об этом, — она развела руками над бумагами, обреченно пожала узкими плечиками. — Вырваться из этой тины!..

Не спеша закурив, Арсен робко, исподлобья посмотрел на нее.

— Знаешь, пошли сегодня на «Вишневый сад».

Ее длинные подкрашенные ресницы удивленно замигали, большие голубые глаза стали еще больше. Потом она засмеялась. Но главное — сказала, давясь смехом:

— И мы с тобой будем разговаривать об идейном содержании пьесы? Так об этом я знаю еще с университета... Спасибо, ты меня отвлек. Теперь я со спокойной душой обработаю письмо о вывозке навоза.

Представив, как он глупо выглядел перед Лилей, Арсен даже сейчас, через много дней после разговора, крякнул от досады. Чертова кукла!

Он нехотя поднялся с травы, отряхнул свой помятый темно-серый костюм. На борту пиджака темнело большое масляное пятно. Когда оно появилось? Когда помогал комбайнеру чинить полотно хедера? Или во время поездки на мотоцикле с секретарем? Может, на попутном газике, где пришлось сидеть среди громыхающих бочек с горючим?

Задумчиво и с шутливой печалью покачал Арсен головой: веселенькая жизнь! Масляное пятно могло появиться когда угодно. Вот когда пешочком топаешь с десяток километров — другое дело. Никаких пятен.

Подняв плащ, Арсен еще раз взглянул на манящую, неправдоподобно зеленую среди увядающей рощи траву и пошел по стерне навстречу трактору. Внимательно посмотрев себе под ноги, он подобрал пучок срезанных стеблей пшеницы. На стеблях топорщились крупные колосья. Эта пшеница лежала в стороне от валка. «Плохо, — подумал Арсен, — потери большие». Он наметанным глазом окинул жатку. Где же мотовило? Где те крылья, которые пригибают колосья к ножам?

Тракторист, увидев незнакомого человека, остановил машину, приглушил мотор и спрыгнул на землю. В замасленной гимнастерке, с почерневшими руками, давно не стриженный — обыкновенный механизатор, каких Арсен видел сотни. Он знал наверняка, что этот парень с первого дня страды не был в своем селе, что где-то в почетном углу его избы пылится сейчас гармонь, а в соседней бригаде томится от разлуки зазноба. Чумазый работяга, который, казалось, всю жизнь сидит на тракторе и не слезет с него, пока не создаст изобилие зерна хотя бы в пределах своего района. Но так только казалось. Непокорный чуб тракториста, золотая коронка на зубе (для шику) говорили Арсену, что этот парень не жалеет каблуки своих хромовых сапог в жаркой пляске. Что он может поколобродить с девчатами до зари, пройти по спящему селу с гармошкой и песнями.

Скуластое лицо тракториста ничего не выражало, серые выгоревшие глаза смотрели

на Арсена безразлично. На жатке сидел парень, зорко наблюдая за неожиданным гостем из-под поломанного козырька кепки.

— Добрый день! — поздоровался Арсен.

— Здрасте! — с готовностью выкрикнул машинист жатки, сдвинув кепку на затылок. Арсен увидел курносое мальчишечье лицо.

— Здравствуйте!—насупился тракторист.— Вы, поди, из обкома комсомола?

— Не угадал. Откуда взял, что я из обкома?

— Из райкома уж были. Теперь обкомовских черед.

— Значит, я маху дал. Не по инстанции, через голову прыгнул. Из газеты я, из молодежной.

— А-а-а... Все ясно, — тракторист отвернулся и стал поправлять телогрейку на сидении. — Распишете теперь? Ну-ну...

— Постой-ка, — остановил Арсен тракториста, который уже собирался сесть за рычаги. — Что распишу?

Тракторист взял тряпку, потер руки. Увидев, что от этого руки стали еще чернее, бросил тряпку.

— Так что я распишу, Михаил? — снова спросил Арсен.

Тракторист раскрыл табакерку с махоркой. Арсен протянул руку.

— Можно?

Михаил пожал плечами.

— Пошто нельзя? Только больно злая, не поперхнись.

— Ничего. В армии «вергун» курил. Пробовал?

— У-у-у, — мечтательно протянул Михаил, — еще бы. Это ж, я тебе скажу, не махра, а чистый рашпиль... Спички-то есть? Ну-ну... А вот наш первый секретарь райкома комсомола товарищ Мигунов — тот махорку нини. Вчера целый день просидел в моем тракторе, работу изучал. Так его потом от махры стошнило. Надышался.

— Изучил?

— Махру?— глаза Михаила лукаво сверкнули и снова погасли. — Изучил. Накричал на меня и уехал. Верхушечник ты, говорит, а не руководитель комсомольско-молодежного коллектива. А за что обозвал? Ему, видишь ли, поручили с потерями зерна бороться. Он и прицепился... Разве ж я враг своему колхозу?

Только сейчас Арсен понял, почему секретарь так поспешно уехал «ловить» председателя. Понял и пожалел, что не уговорил остаться.

— А потери-то есть, — Арсен кивнул на пучок колосьев, который он бросил на радиатор трактора.

— Есть, — согласился Михаил. — Скорость, конечно, большая.

— Какая?

— Под восемнадцать в час.

Арсен свистнул. Михаил посмотрел обиженно.

— Ничего удивительного. Вот только с укладкой валка у нас не ладится.

Задумавшись на мгновение, Арсен подошел к жатке.

— Уступи-ка, паренек, место.

Острые зубья-ножи лихорадочно замелькали, срезая стебли. Арсен не сводил глаз с режущего аппарата. Вот стебли прикоснулись к ножам и, подкошенные, ударились о туго натянутую проволоку. Удар был стремительный, сильный. Пшеница резко легла на транспортер. Но Арсен заметил и то, как несколько стеблей от удара отскочили далеко в сторону.

— Хватит! — крикнул он трактористу, а когда агрегат остановился, сказал: — Да, скорость заманчивая.

Машинист подал ломающийся голос.

— Мы с Минькой этак достигнем космической скорости.

Михаил глянул на него строго.

— Молчи ты, космическая скорость, — и продолжал, обращаясь к Арсену: — Машинист у меня добрый, даром что сопливый.

Паренек отвернулся и сделал вид, что осматривает регулировочный штурвал.

— Мотовило зачем убрал? — спросил Арсен.

— Вибрирует на большой скорости, ломается, — Михаил подошел к жатке. — Видишь, и привод снял. Правда, все это не я придумал. Председатель наш, — и поспешил добавить: — Но он меня не неволил. Ты не подумай...

Арсен понял, что он хотел сказать: «Не подумай, что сваливаю на другого».

— Давай еще попробуем.

Снова замелькали ножи. И снова колосья брызгами полетели во все стороны. Арсену хотелось остановить трактор, подобрать отброшенные под колеса стебли, но необычная, захватывающая дух скорость, стремительность набегающей пшеничной волны приковали его к сидению. Один заезд, другой... Он так и этак вертел штурвал, регулируя высоту среза...

— Стой! — крикнул Арсен наконец и откровенно признался:— Нет, брат, эта задача,

видно, мне не по зубам. Думай, Михаил. Не может того быть, чтобы не получилось.

— Если не получится...— тракторист хлопнул ладонью по колену. — Если не получится, сам сяду на комбайн, сам подберу свои потери.

— Точно?

— Брехуном никогда не был.

Попрощавшись, Арсен устало побрел к центральной усадьбе колхоза, до которой было всего километров семь. Сказанные от души слова: «Думай, Михаил. Не может того быть, чтобы не получилось», он повторил про себя и остановился, пораженный новой мыслью. А если не получится?

Отправляя его в командировку, редактор говорил:

— Учти, Фомин, уборка зерновых сейчас — главное...

«Америка», — обиженно подумал Арсен.

— ...Да ты и сам знаешь, был на совещании в обкоме партии...

«Только там и узнал».

— ...Мы должны добиться такого положения, чтобы не погибло ни грамма с таким трудом выращенного зерна...

«Не возражаю».

— ...И вот представь, как в свете этой задачи выглядит колхоз «Знамя труда» Краснореченского района. Вот сводка обкома, взгляни... Любопытные факты.

«Если есть факты, будет и статья».

— ...Особенно в бригаде Михаила Терехова большие потери. А почему? Разберись. Ты умеешь такие дела распутывать...

«А почему вы улыбаетесь, товарищ Захаров? Говорите: «Умеешь». А сами думаете: «Не любит этим заниматься».

Редактор поспешно смял улыбку, сказал значительно:

— Очень ответственное задание.

Что же теперь делать? Михаилу посоветовал думать, а сам должен написать критическую статью. Будет ли он думать после этой статьи? Выходит, обманул человека.

На душе стало гадко и тревожно.

«САРАКОТИКИ»

Избу, в которой помещалось правление, Арсен заметил издалека. Возле нее чинной шеренгой выстроились пестрые «доски»: Доска почета, Доска показателей, Доска объявлений и еще какие-то важные «доски».

У коновязи нервно переступал мохноногий пегий меринок. Серая «победа» задумчиво пялила на него подернутые пылью фары. У забора приткнулся мотоцикл. «Мигунов здесь», — догадался Арсен.

В правлении было прохладно и тихо. Ни табачного дыма, ни споров до хрипоты. Лишь пожилой однорукий счетовод с хрустом перебирал костяшки на счетах. Повернувшись на стук двери, он поднял на лоб очки, мельком глянул на Арсена и снова занялся своим делом.

— Добрый день, — сказал Арсен.

Торопливый кивок: только отвяжись.

— Не скажете, где председатель?

Кивок на дверь кабинета.

Арсен засмеялся. Счетовод медленно повернул голову.

— Чего смешного? — его голос звучал сипло, надтреснуто.

— Разговаривать молча не умею.

Лицо счетовода сморщилось.

— Тороплюсь я. Расчеты требуют для районного начальства. Ясно?..

Теперь Арсен молча кивнул.

— Вот так-то оно лучше,— счетовод миролюбиво улыбнулся.— Иди, иди, там он этот... из района. Не первый уж... Ездют тут... Са-ра-ко-тики.

Непонятное слово Арсен услышал, уже открыв дверь кабинета. Возвращаться, чтобы спросить, что оно означает, не стал. На него уже смотрели Мигунов и председатель Михаил Васильевич Антипин — грузный человек в черном кителе. Его лицо, землисто-красное, цвета остывающего железа, чуть раскосые глаза были самыми обычными для этих краев, где когда-то жили кочевники буряты. Он и родился здесь, но долгое время работал в городе. Арсен знал из газет, что Михаил Васильевич, недавний директор завода сельхозмашин, сам напросился в отсталый колхоз.

— Разрешите? — Арсен шагнул в кабинет.

— Входите, входите, — Антипин устало улыбнулся, протягивая руку. — Значит, из области? Из газеты?

— Да. Из молодежной.

Секретарь райкома, видимо, о чем-то спорил с председателем. Увидев Арсена, он обрадовался ему, как союзнику.

— Вот, говорю, из газеты товарищ приехал, в области известно о потерях зерна, но... — он глубоко и безнадежно вздохнул,— Антипина трудно пронять.

Худощавый, остролицый, с короткими русыми волосами Мигунов походил на школьника-старшеклассника. А оттого, что солидно морщил лоб, еще больше выглядел мальчишкой. Но председатель слушал его терпе-

ливо, выжидательно посматривая на Арсена. А потом сказал:

— Торопыга ты, Мигунов. Я понимаю, райком партии поручил тебе проверить наши дела. Так посмотри ты на эти дела не как человек, который должен подготовить разнос на бюро райкома. Ведь наша жатка без мотовила — это эксперимент, и его невозможно проводить на бумаге или на пальцах. Уж поверь мне, сам делал жатки.

— Верю, — Мигунов вскинул голову, — но потери, потери!..

Председатель остановил его, предостерегающе подняв руку.

— Погоди. Я совсем не говорю, что потерь нет. Но давайте рассуждать так, — он повернулся к Арсену, как бы приглашая его к разговору. — При скорости пять-шесть километров в час в колхозе не успевали убирать хлеб раздельным способом и наполовину. Переходили на прямое комбайнирование, чтобы спасти пшеницу. Осыпаться начинала.

— И потери были не такие, — вставил Мигунов.

— Гораздо больше, — продолжал Антипин. — На повышенной скорости мы уберем раздельно весь хлеб. Понимаете? Весь! А потому даже теперешние потери — ничто по сравнению с прежними.

— Выходит, все же потери — неизбежное зло? — невесело съязвил Мигунов.

Председатель тяжелым, неподвижным взглядом посмотрел на него. Арсен заметил, как криво шевельнулись его обветренные губы. С них чуть не сорвалось что-то злое и откровенное. Но Антипин удержал это «что-то». Может, он подумал: «Молокосос! Что ты понимаешь!» Может быть, удержал себя: «Но его не выгонишь из кабинета: член бюро райкома партии». Словно отгоняя эти мысли, Антипин мотнул головой и сказал спокойно:

— Не думайте, что я оправдываюсь.

— По сколько на круг вы думаете получить? — спросил Арсен.

— По пятнадцать центнеров с гектара.

— Не густо.

Антипин, оставив без внимания эту реплику, продолжал:

— Потери у меня самого поперек горла стоят. Согласен, их не должно быть. Но что делать, товарищи деятели?

Он посмотрел так, будто надеялся на ответ, будто ждал, что ему посоветуют что-то дельное. Мигунов молчал. Арсен тоже ничего не мог сказать. Его внимание привлекло последнее слово Антипина — «деятели». Оно прозвучало так, что Арсен сразу вспомнил, как счетовод бросил ему вдогонку: «Са-ра-ко-ти-ки!» Удивившись этому сходству, он спросил:

— Михаил Васильевич, а что такое «саракотики»?

Мигунов уставился на Арсена с опасливым изумлением. Видимо, вопрос, так не вяжущийся с темой серьезного разговора, показался ему более чем странным. Грузное тело Антипина затряслось в беззвучном смехе.

— Небось Труфанов вас просвещал, счетовод?

— Он.

— Ну, старина! Это он так ругается. Тут такая история, — Антипин засмеялся громко, до слез. — Такая история... Он же был в колхозе первейшим матершинником. На правлении пришлось его прорабатывать. Исправился. А потом слышу: «Саракотики». Что такое? — спрашиваю. А он мне: «Вы ж против нецензурных слов. А это какое? Не знаете? Ну и не мешайте душу отводить...»

В эту минуту распахнулась дверь. Счетовод, не глядя на приезжих, проковылял к столу и положил перед Антипиным мелко исписанный лист бумаги. Сам стал в сторонку, выжидательно поглаживая ладонью шершавую бороду.

— Можешь идти, — сказал председатель. Счетовод не тронулся с места.

— Иди, иди.

— А потом искать будете? Где ночевать-то этим... — счетовод пожевал губами, и Арсену показалось, что он хотел сказать: «...этим саракотикам».

— Верно, — Антипин протянул Мигунову бумагу. — Или, может, вы сегодня в район уедете?.. Нет?.. Тогда поговорим еще завтра. Мне сейчас в бригаду надо. Устрой, Митрич, людей.

— Ладно. Можно ко мне. Изба пустая, баба в бригаде ночует.

Из правления вышли все вместе. Антипин попрощался и сел за руль «победы». Вскоре дорожная пыль, поднятая машиной, улеглась на заплотах и стенах изб.

Труфанов отвязал меринка.

— Вон та моя изба, под железной крышей. Езжайте, а я отведу на конный двор эту тягловую силу.

Арсен и Мигунов сели на мотоцикл. Труфанов проводил их лукавой усмешкой, и Арсен вспомнил прилипчивое слово «саракотики». Что-то было в нем и насмешливое, и обидно пренебрежительное.

КРЕСТЫ И БУТЫЛКИ

Арсен и Мигунов задумчиво остановились возле чайной. На двери висел огромный амбарный замок и белела бумажка с корявой надписью: «Закрыта на учет». На этой же бумажке кто-то карандашом написал: «В. Мы работаем на току. М».

— Вот и пойми, то ли они учет делают, то ли на току работают, — Мигунов вздохнул.

— Зато ясно главное: закрыто, — отозвался Арсен. — Все равно придется с пустым брюхом ложиться спать.

Они пошли обратно к избе Труфанова. Во дворе их встретил визгливым лаем вислоухий рыжий щенок. Он уже видел этих гостей, но, видимо, не признавал быстрого знакомства. Арсен нагнулся, чтобы погладить щенка.

— Рыжик, не будем ругаться.

Но «рыжик», продолжая лаять, забился под крыльцо.

— Что тут за дискурсия разгорелась? — из дверей высунулась голова счетовода. На его лице сияла улыбка гостеприимного хозяина. — Как ты назвал моего кабыздоха? Рыжиком?

— А что? Как его звать?

— Так ить у него нет еще метрики. Так и зарегистрирую — Рыжик. Ласковое имя. Сам злее будет.

Мигунов хмыкнул.

— На кого ему злиться? Волки поблизости не водятся.

— Найдутся саракотики.

Счетовод произнес свое любимое слово по привычке, не придавая ему особого значения. Он уже распахнул перед гостями дверь и остановился на пороге, пропуская их в просторную комнату, отделенную от других русской печью и крашеными перегородками. Стол, покрытый клеенкой, был заставлен тарелками. Посредине зеленела бутылка «Московской».

Поняв, что хозяин сейчас позовет к столу, Арсен остановился в нерешительности: стоит сесть за стол, и он предложит выпить. А сейчас это совсем ни к чему.

Труфанов пригласил к столу.

— Садитесь, поужинаем. Видел я, как вы у столовки пробой целовали.

Мигунов оживился.

— Вот это кстати! Не откажемся. Верно, Фомин?

Счетовод придвинул к гостям тарелки с окрошкой и вареными яйцами. Забулькала в граненых стаканах водка.

— Давайте. С устатку.

Мигунов взял стакан, повертел в руке. Увидев, что Арсен не торопится — поставил.

— Не стесняйтесь, — подбадривал счетовод.

Арсен засмеялся.

— Ты почему поставил? Боишься, напишу: секретарь райкома комсомола пьет? А слюнки-то у тебя текут. Так что пей не пей — все равно можно писать.

Он взял свой стакан, чокнулся с обоими и выпил залпом.

— Так ее, проклятую! — крякнул Труфанов. — Окрошкой закусывай, окрошкой!

Выпил и Мигунов. Не отказался и от повторной. Его сдержанность растаяла. Он хлопнул Арсена по плечу и, смеясь, стал рассказывать:

— Это что! Вот я был на одной гулянке. Так, веришь, приходят запоздавшие гости и сами кричат с порога: «Наливай штрафную!»

Он поправил рукой взъерошенные волосы и удивленно уставился на бутылку.

— Уже выдохлась?.. А где здесь магазин?

— Хватит, — отмахнулся Арсен.

Труфанов нерешительно сказал, что вообще-то водки в сельпе нет (уборка же!), а у себя на дому Фенька-продавщица отпускает не каждому.

— Сбросимся, — предложил Мигунов. — Ладно, я схожу. Мне отпустит.

Арсен дал деньги.

Мигунов убежал. Арсен закурил и вышел на крыльцо. Вслед за ним потянулся и счетовод. Они сели на ступеньку. Молча курили.

Ночная тьма плотно окутала село. Пахло хлебом, горелым навозом и недалекими снегопадами. Запахи наносило порывами: то один, то другой. Зима уже была не за горами, а на самих саянских горах, которые днем белели среди таких же белых облаков над прозрачно-чистым горизонтом. Дыхание приближающейся зимы уже было густым и резким.

Труфанов, пыхнув папиросой-гвоздиком, сказал сиплым извиняющимся голосом:

— Я тебя, парень, поначалу за бродячего кузнеца принял.

— Разве похож?

— По комплекции. Гляжу, входит в правление кудлатый детина... Опосля услыхал, что ты из газеты... Надо понимать, человек грамотный?

— Мало-мало учился грамоте, — пошутил Арсен.

— Так вот ты скажи, пошто так получается, — счетовод подсел к нему ближе, тронул

за рукав. — Пятый десяток живем при своей кровной власти, а все недостатки.

— Какие?

— Всякие. Ну, хлебушка, ясное дело, едим вволю, сахар на веревочку не вешаем. А надо бы еще поболе хлеба и сахара, мяса и молока опять же. Раке об этом и разговору не было бы. А теперь народ стал культуру понимать. Знаешь, как жили в нашей деревне до революции? На избы заместо громоотводов кресты приколачивали. Гробы себе при жизни из лиственницы долбили.

— Неужто? — Арсен заулыбался недоверчиво, но в темноте счетовод этого не увидел.

— Верно говорю, — продолжал он горячо. — А нонче на крышах — антенны. Люди-то... Глядишь, сопли на кулаке, а уже читает Пушкина, — Труфанов значительно поднял палец. — Пу-шки-на! Вишь, как шагнули-то!.. Да-а-а! Шагнули одной ногой, а вот вторую приставить...

— Силенок не хватает?

— Я так думаю — хватит, ежели скинуть лишнюю тяжесть.

— Какую же?

— Ну, все эти кресты да гробы...

— Вы говорили...

— Говорил, что ноне не то? Верно. Да только кресты, парень, и в душах бывают. Там их срубить потяжельше. Вона, как бьется наш председатель, Михаил Васильевич-то. Уж чем не председатель, всего себя народу выкладывает, а иной, глядишь, норовит в кусты, урвать норовит от колхозного пирога поболе, поработать помене.

— Это, Митрич, даже не кресты, — Арсен придавил каблуком окурок. — Это мусор, который торопливая хозяйка в темном углу оставила. Торопимся мы. И не торопиться нельзя.

— И то верно. Ходим по этому мусору, ноги колем, а крепкие сапоги надеть не вдруг догадаемся... Да и некогда. Что верно, то верно. Но ты скажи мне вот что. Уж это не простой мусор. Саракотики всякие. Ну, которые Васильичу поперек дороги встают...

— А почему встают?

Счетовод хотел что-то сказать, но в этот момент грохнула калитка, и к избе, мурлыча какую-то мелодию, подошел Мигунов. Увидев на крыльце Арсена и счетовода, секретарь победным жестом выхватил из кармана бутылку и чуть не уронил ее: взвизгнул Рыжик, которому он наступил на ногу.

— А, бес тебя подери! — ругнулся Мигунов. — Не ходи босиком... Вот получайте. Едва упросил толстуху.

Труфанов тяжело вздохнул.

— Ишь ты, добился-таки. Я ведь больше и не хочу. Так угостил вас, чтоб поговорить по душам.

— Теперь ничего не поделаешь, — засмеялся Мигунов. Он силой затащил счетовода в избу, сам включил свет.

Арсен наотрез отказался пить.

— Ну и черт с тобой! — обиделся Мигунов. — Сиди на ветерке, раз такой слабак. А еще говорят: в здоровом теле — здоровый дух.

Арсен остался один. Слышно было, как секретарь и счетовод звенели стаканами, о чем-то спорили. Из-под крыльца вылез Рыжик и с опаской подошел к Арсену.

— Иди сюда, дурачок, — Арсен погладил щенка. — Что, брат, и тебе на ноги наступают?

Рыжик довольно заскулил.

Где-то за поскотиной звонко затарахтел трактор. Сквозь шум мотора послышалась песня. Высокие девичьи голоса выводили печальные слова о том, что «парней так много холостых, а я люблю женатого». Потом в песню вплелся заливчатый смех, и она рассыпалась на короткие задорные частушки. Радуясь и страдая, какая-то девушка запела:

У меня коса большая,
Лента алая до пят,
На мою на русу косу
Много зарится ребят.

Не дыша, слушал Арсен эти бесхитростные слова. Ему казалось, что он слышит Лилин голос. Что поет она только потому, что не видит его. Увидит — и замолчит. Он слушал жадно, как пьют из родника, который вот-вот иссякнет.

Шум за спиной заставил Арсена оглянуться. На крыльцо вышел нетвердыми шагами счетовод. Держась рукой за перила, он прислушался. Девушка продолжала петь. Счетовод захлебнулся дребезжащим смехом и вдруг запел сипло и тонко:

Девушки-красавицы,
Не будьте гордоватые.
Любите раненых солдат,
Они невиноватые.
Они за Родину свою
Отдали молодость в бою...

Дальше у Труфанова не получилось. Он закашлялся и ушел в избу.

Через минуту появился Мигунов. Он сел на ступеньку, вздохнул широко открытым ртом, будто хлебнул горячего. Прислушался.

— Тс-с-с! — Мигунов приложил палец к губам. — Слышишь, девушки поют!

— Правда, здорово? — Арсена всегда радовало, когда людям нравилось то, что нравилось ему. Такие люди становились Арсену ближе. — Ты прислушайся к голосу. Чувствуешь, какая сила?

— Хорошо! — воскликнул Мигунов мечтательно. — Когда слышишь красивый голос, кажется, что это ты сам поешь. И так легко, хорошо...

— Верно, верно...

— Эх! — Мигунов стукнул кулаком по ступеньке. — Дай закурить.

— Ты же, кажется, не куришь, — Арсен протянул ему портсигар.

— Когда выпью, тянет, — Мигунов закурил папиросу. — Ну что, достанется Антипину в газете?

— За что?

— Ясное дело, за потери зерна.

Арсен задумался. Он сам еще не знал, что напишет, но в Антипина и Терехова уже хотел, уже начинал верить. Ему казалось, что и Мигунов чувствует то же, а он... Своими словами Мигунов оттолкнулся от Арсена, стал дальше и меньше.

А может быть, он прав? Ведь разговор с Тереховым и Антипиным — это лишь первые впечатления. А первые — частенько обманчивы. Пусть будет даже по пятнадцать центнеров, но потери все-таки есть. Как же быть? Видеть только потери отказывалось сознание. И полной уверенности в своей правоте не было. В чем же причина? Доброе дело — скоростная уборка. Только отъявленный идиот может хаять ее. Но раз так, зачем же цепляться за эти потери, неизмеримо меньшие, чем были в прошлые годы?

— Зачем тебе понадобился Антипин? — спросил Арсен. — В других колхозах потери тоже есть.

— Потери везде остаются потерями, — холодно ответил Мигунов.

— Но здесь их меньше. Ты же слышал, что говорил Антипин. По-твоему, он неправ?

— Уверен.

— Почему?

— Почему, почему! — Мигунов начинал злиться. — Если он прав, тогда неправ я. А в чем моя неправота? Скажи, в чем? От меня райком партии и обком комсомола требуют конкретные выводы, к которым не приложишь гадания на кофейной гуще в исполнении Антипина. Много нынче таких гадателей в районе развелось.

— Так это хорошо!

— Хорошо? — секретарь даже подпрыгнул от возмущения. — Хорошо? Они гадают, а зерно летит в стерню. Это факт? Факт. А факты — упрямая вещь.

На миг Арсену показалось, что разговаривает он не с Мигуновым, а с Захаровым. Может быть, безоговорочная вера в силу фактов, непреклонность секретаря навели на эту мысль. Когда-то Захаров тоже был секретарем райкома комсомола. Вот таким же, наверное, любящим бить в одну точку, если на эту точку его нацелили факты. Кем он был бы сейчас, не сверни на газетную дорогу?

— Все это так, но по пятнадцать центнеров Антипин получит и при нынешних потерях, — сказал Арсен убежденно.

— А вот обязательство провалит. Подведет район. Эх, ничего ты не знаешь!.. И не получит он по пятнадцать!

— Получит.

Мигунов хмыкнул пренебрежительно.

— Какая это бабка-гадалка тебе шепнула?

— Земля говорит колосьями.

— По секрету? Только тебе? А мне может сказать?

— Ты не услышишь.

— Это почему же? Ты какой кончал?

— Сельхоз.

— А-а-а... Я — педагогический, — Мигунов притих на минуту, но потом распалился с еще большей силой. — Будь ты даже академиком по сельскохозяйственной части, на моем месте стал бы рассуждать, как я. Планы Антипина — одно, дело — другое.

— Но ты же слышал, Антипин сам все понимает, сам недоволен такой уборкой. По пятнадцать ему мало. Неужели это не дошло до тебя? — теперь Арсен начинал сердиться. — У тебя же есть голова на плечах?

— Есть, — подтвердил Мигунов. — И я не хочу, чтобы ее сняли. От меня требуют сводки, а не красивые грезы.

Мигунов молчал, частыми затяжками докуривая папиросу. Молчал и Арсен. Он понял, что переубедить Мигунова не сможет. Потому что еще мало знал, не имел фактов, которые можно было бы противопоставить тем, что были. Веселенькая жизнь! Да, Арсен так и подумал уже не в первый раз: «Веселенькая жизнь!» Но подумал без злобы и раздражения. Потому что любил беспокойные и трудные командировки, любил возиться вот с такими «труднопробиваемыми» людьми. Не представлял себя негазетчиком. Навсегда врезались в его память слова из книги Роберта Сильвестра «Вторая древнейшая профессия»: «После работы в газете всякая другая работа кажется пресной». Он знал, что это так.

Конечно, Арсену не приходилось заниматься такими грязными делами, какими жили герои Роберта Сильвестра. Но о хороших людях, о хороших поступках он писал с радостью. Подлость, нечестность сковывали его мысли. Вот и сейчас ему хотелось иметь такой материал, чтобы писать не о тех, кто против Антипина, а о его правоте. Хотелось доказать эту правоту с позиции агронома. Конечно, если в правоту сам поверит твердо.

Мигунов спал, навалившись на перила крыльца. Арсен заметил это, услышав смачный, с присвистом, храп секретаря. «Районное начальство, — с неприязнью подумал он. — Почему же ты не хочешь поверить, что Терехов и Антипин не хотят плохого своему колхозу? Почему?..»

ПОЧЕМУ ОН НЕ ВЕРИТ

Спать не хотелось. Разговаривать было не с кем. Спал Мигунов, из дома доносился булькающий храп счетовода. Над селом мигали глазастые звезды, и Арсену казалось, что вместе со звездными вспышками на Землю льются будоражливые, таинственные позывные. Где-то там космонавты прокладывают новые трассы к звездным мирам. Может быть, смотрят они сейчас на Землю и думают: «А ведь ты, матушка, не так уж велика. Шарик. Клубок страстей. Сгусток радостей и горя. Согласия и противоречий».

Как же все-таки велики те люди, которым посчастливилось взглянуть на свою Землю со стороны. Которые нашли в себе силы вырваться из ее цепких объятий ради великой цели познавания миров.

Обидно маленьким, беспомощным существом ощутил себя Арсен. Пылинкой вселенной. Тошно и стыдно стало перед самим собой. Там, в космосе — бесконечность и разгадка вековых тайн. Здесь — колхоз, маленькая точка на Земле, и его, Арсена, блуждание среди не таких уж сложных земных загадок, земных бед, радостей, страстей.

А вокруг дремала тихая ночь. И никому не было дела до Арсена. Неужто никому?

Он встал и вышел за калитку. Дома с закрытыми ставнями, с высокими заплотами казались старинными острогами. Безмолвные, черные, чернее ночи, они скрывали за своими толстыми стенами людские судьбы. Большие и малые заботы.

Арсен тихо пошел серединой улицы. Тишина. Но вот где-то хлопнула дверь. Запахло парным молоком. Чей-то легкий смех выплеснулся из распахнувшегося окна. Яростно взревел и сразу же заглох мотоцикл. Застучали быстрые детские шаги и вслед им громыхнуло зычное: «Семка, тудыть твою!.. Не трожь машину!..»

Остановившись, Арсен запрокинул голову. Звезды мерцали веселее, чем прежде.

Из переулка двумя ножами полоснули фары машины. Ослепленный Арсен отскочил к заплоту. «Победа» взвыла, набирая скорость, и затихла, затормозила возле Арсена. Шофер высунулся из машины.

— Что бродите, корреспондент? — Арсен узнал голос Антипина, подошел ближе. — Вдохновение ищете?

— Так, не спится.

— Садитесь, коли не спится. Прокатимся.

Когда Арсен сел в машину, председатель спросил:

— Где же Мигунов? Отдыхает уже?

— Спит.

Встреча с Антипиным обрадовала Арсена. Он не знал еще этого человека так, как хотелось знать. Разговор в правлении получился коротким. Он мало что открыл нового Арсену, а хотелось все знать, чтобы не оставалось в душе ни капли сомнения. Чтобы вера в этого человека стала твердой.

Машина въехала в настежь открытые ворота, и председатель выключил свет.

— Вот здесь я и живу. Отцовский дом, — он выбрался из машины, захлопнул дверку. — Пойдемте.

Окна председательского дома были без ставней, но уже не светились. Стекла тускло отражали звезды. В доме спят. Неприятно было беспокоить людей в такую пору. Следовало извиниться и уйти, но желание поговорить было так велико, что Арсен промолчал.

Антипин открыл сени своим ключом, наощупь нашел ручку другой двери и, переступив порог, включил свет. Войдя вслед за Антипиным к комнату, Арсен с удивлением заметил, как он преобразился. Перед ним стоял не усталый строгий председатель, а провинившийся мальчишка, который вернулся домой с улицы позже, чем следовало. С озорной улыбкой он прошел на цыпочках к буфету, достал две фарфоровые чашки и вазу с сахаром.

— Сейчас подогреем чай. Кажется, маманя сегодня не дождалась.

И вздрогнул, услышав шорох за стеной. Открылась дверь из другой комнаты. Седая старушка, морщась на свет, вышла к ним.

— Здравствуйте, гостенек... Ты пошто так поздно, Миша? — она взяла у него чашки и вазу. — Погодите, самовар у меня горячий.

— Зря вы, маманя, — Антипин сделал строгое лицо. — А если бы я до утра не вернулся? Вам надо спать.

— Э, ты столько не прожил еще, сколько я проспала. Хватит.

— Ну, в крайнем случае, Лена могла бы...

— Тоже, небось, наработалась. Пущай отдыхает.

— Вот старушка, — усмехнулся Антипин, когда мать ушла на кухню. — С тех пор, как я приехал из города, покоя не знает. Твердо ступить не дает ни мне, ни жене. Рада, что вернулись к ней... Да что это я! Садитесь.

Они пили чай и молчали. Арсен хотел расспросить о многом, но ждал, что Антипин заговорит сам. А он молчал. Тогда Арсен спросил так, будто его это не очень интересовало.

— А что, Мигунов готовит материал на бюро райкома?

Антипин загадочно прищурился.

— Готовит. Будут решать, стоит ли представлять наш колхоз на Всесоюзную выставку.

Арсен почувствовал в его словах иронию.

— Вы шутите?

Лицо Антипина построжало.

— Шучу. Дело в другом. Меня рекомендовал сюда райком. Колхозники избрали единогласно. И это меня удивило. Почему, думаю, так? Ну, жил я здесь, но это было давно. Никто теперь не знал, что я за человек и вдруг — единогласно. Стал допытываться у колхозников — не говорят откровенно. Чувствую, увиливают от прямого ответа. Проходили дни — и вовсе стали со мной разговаривать мало. Так только, по делам. А потом... Да, стыдно мне тогда было. Счетовод Труфанов меня отругал. По всем статьям. Зашел однажды ко мне в кабинет и говорит: «Перед вами, Михаил Васильевич, не только счетовод, но и полноправный член сельскохозяйственной артели. И заявляю вам со всей ответственностью, что мы надеялись на вас, думали, человек здесь вырос, прикипит к своей земле, будет добрым хозяином. А вы! Не видите, что обязательство у нас выше головы? Сам подсчитал: чтобы выполнить его и самим с семенами быть, надо взять по двадцать с гектара. А у нас, дай бог, по десять будет».

Председатель задумчиво смотрел в одну точку. Голос его звучал тихо и строго.

— Каюсь, накричал тогда на Труфанова. Какое, говорю, тебе дело! Но в хозяйство вник как следует. Объездил все поля, прикинул урожай. Уборку тогда еще не начинали. Вижу, верно говорил счетовод. Собрали партбюро, обсудили все дела. Решили просить райком уменьшить обязательство. Поехал я в райком, к первому секретарю Кострову. Так и так... А он мне: «Не для того тебя рекомендовали. Обязательство большое у всех колхозов района. Надо выполнять!» — и слушать не стал.

Арсен не сводил глаз с Антипина. Неожиданный холодок недоверия к этому человеку шевельнулся в сознании. Арсен встречал уже председателей, которые устраивали богатые трудодни, а хлеб государству за них сдавали другие колхозы. Таких председателей любят те, у кого мешок большой. Неужели он именно такой председатель?

Антипин продолжал:

— Еще раз побывал я у Кострова. Бесполезно. Но, на мое счастье, собрался районный актив. Там я с некоторыми председателями посоветовался. Все меня поддержали. Один только отговаривал: «Не выступай, Васильич. Слово — не воробей. Поймают — вылетишь». Я все-таки выступил. Такая буча поднялась на активе! Большинство было за меня. Костров видит, что разговор с нашего колхоза перекидывается на другие, замял этот вопрос. Выступил и сказал, что дискуссия ни к чему. Все решено. А раз решено, мы на общем колхозном собрании пересмотрели обязательство.

— Уменьшили?

— Да.

— И как Костров?

— Молчит. Но не успокоился. Потому и Мигунова прислал.

— Значит, прежнее обязательство совсем невыполнимо?

— Почему же, выполнить можно, но тогда подъема урожайности не жди ни через год, ни через два. Если всегда все сусеки выметать. Надо же, в конце концов, положить этому конец! Довольно страусиной политики!

В его словах была логика, против которой Арсен не мог возражать. На его долю оставалась только возможность задавать вопросы. И он спросил:

— Думаете, на будущий год повысится урожайность?

— Обязательно, — Антипин встал. Арсен тоже хотел подняться, думая, что председатель решил закончить на этом разговор, но он положил ему руку на плечо, заставил сидеть. Продолжал: — Расчет мой совсем прост. На одном массиве у нас посеяна Булаевская 61. Когда этот сорт выводили на Булаевской селекционной станции, он дал...

Антипин выжидательно посмотрел на Арсена.

— Неужели не слышали?

— По пятьдесяти одному центнеру с гектара получили на станции, — сказал Арсен. — Но это не характерно.

— Правильно, не характерно. Погодные условия были в тот год прекрасные. Площадь всего пять гектаров. Но все же, почему в колхозах этот сорт ни разу еще не дал выше двадцати? А? Вот это мне и подсказало, что все дело в уходе, в подготовке почвы. Конечно, нынче у нас Булаевской будет мало. Земли наши настолько запущены, что на них только чертополоху расти. И все же надеюсь я на Булаевскую, здорово надеюсь! Уверен, что это прекрасный сорт, подходящий для нас. Вот ее и оставим на семена, посеем по выровненной зяби...

Лицо председателя болезненно дрогнуло. Он снова сел к столу, сгреб в кулак подвернувшуюся чайную ложку.

— А ведь об этом можно было подумать раньше. Да, Аникеев жил спокойно, и колхоз спокойно топтался на месте. Верите, когда принимал дела от Аникеева, руки чесались. С таким бы удовольствием!.. Да что там! Его плохим не считали. Рекомендовали снова, да колхозники прокатили. Поголосовали, говорят, хватит такого единогласия, у каждого своя голова на плечах, — Антипин помолчал, заговорил другим голосом, спокойным, но жестким: — Странная вещь. Долго думал, с кем сравнить тех деятелей, которые много лет считаются неплохими, а на самом деле никуда не годятся. Долго думал. Однажды заночевал у трактористов в зимовье. Среди ночи просыпаюсь — слышу, ползет какая-то тварь по лицу. Сбросил на пол, чиркнул спичкой: мокрица убегает под нары. А трактористы не спят. Хохочут: «Вредитель сельского хозяйства! Лови ее!» Вот, точно. Мокрицы — вот кто эти деятели! Ничего им не надо, кроме тихой плесени укромного уголка. Поэтому их и разглядеть трудно. Откуда они берутся? Видели вы когда-нибудь, как рождается мокрица?

— Не приходилось. Видимо, этот процесс можно наблюдать только под микроскопом.

— Под микроскопом? — Антипин сощурил один глаз, словно собирался заглянуть в стеклышко прибора. — Это верно, хоть я не о той мокрице, что под нарами ползает. А микроскоп все равно нужен. Ох, как нужен вот здесь! — он ткнул себя кулаком в грудь. — Чтобы видеть мокриц не только при свете и отличать от людей...

Председатель вдруг круто переменил тему разговора.

— Так говорите, по пятнадцать — не густо?

«Ага, не забыл значит! Слышал!» — подумал Арсен. Вслух сказал:

— Вообще-то не рекорд.

— Да, рекорда не будет. Не будет... Но не забывайте, что для нашего колхоза всегда был предел десять центнеров с гектара. Приезжайте через год, будет двадцать пять. Руку отдаю на отсечение — будет.

Антипин говорил так, будто спорил с кем-то. Но кроме Арсена, в комнате никого не было. А он не спорил. Он радовался, что председатель заговорил так откровенно. И думал, думал... Прислушивался к себе. Хотелось верить, что Антипин прав, но противный холодок сдерживал это желание. Арсен спросил:

— Если был предел десять, то почему при нынешнем урожае вы не выполните обязательство?

— Почему? — переспросил Антипин. — Прежде всего, цифры чересчур завышены. Мой предшественник постарался. Знаете, небось, как это делалось. Председатель на собрании говорил: «И решили мы, товарищи, преподнести подарок нашей горячо любимой Родине, партии и правительству. Перекроем план хлебосдачи вдвое! Кто за?.. Единогласно!» Да, черт побери, после таких слов голосовали единогласно, хотя знали, что обирают себя! А теперь партия говорит: не нужны такие подарки. И я верю партии. Понимаете — партии, а не тем остаткам прежнего, которые сейчас брюзжат: «Аникеев-то не собирался пересматривать. И выполнил бы. У тебя потери, потому ты и тянешь колхозную телегу, как рак. Не вперед, а назад». За потери цепляются!

— Но план-то вы хоть чуть-чуть... — Арсен посмотрел на председателя с нетерпеливой надеждой. Он знал, что от того, что сейчас ответит Антипин, зависит его окончательное мнение о нем. — Хоть чуть-чуть вы перевыполните план?

— Для того и применили скоростную. Чтобы не по десять, а по пятнадцать собрать. План перекроем. Обязательство же нынче не выполним. Нельзя этого делать. Без семян останемся. Снимешь с себя последнюю рубаху, а потом сам клянчи у государства. Государство у нас доброе — и рубаху даст, и накормит. Но до каких же пор нам с сумой таскаться?

Все смешалось в голове Арсена: он вспомнил Мигунова. Казалось бы, не было больше

сомнений в правоте Антипина, но почему тогда Мигунов готовит материал на бюро райкома партии? Разве секретарь райкома не может понять то, что понял Арсен? Одно из двух: или здесь какое-то недоразумение, или он, Арсен, ничего не понял. Скорее последнее.

— Как же все-таки с бюро, Михаил Васильевич? — спросил он тревожно, только сейчас осознав, что его мнение об Антипине, каким бы оно ни было, ничего не будет значить, когда председателя вызовут на бюро.

Антипин нетерпеливо повел плечом.

— Мне проработка не страшна. Все равно меня поддержат. Не на этом бюро, так на следующем. Другое дело — механизаторы. Боюсь, кое-кто из них, чтобы на меня меньше нападали, снова нацепит мотовило и поползет черепашкой... Тогда зерна еще меньше получим. Потери увеличатся. Но — незаметные потери. За такие не ругают... Ну, поживем — увидим. А скоростную будем продвигать.

Он замолчал, и Арсен понял: все, больше ничего не скажет. Не стоило вспоминать о предстоящем бюро. Видимо, оно тревожит Антипина. Услышав о нем, он, наверное, подумал: «Зачем это я распространяюсь перед ним? Перед человеком, который вряд ли что изменит. Его дело выполнять то, что скажут. А есть ли у него свой голос?»

Восстанавливая в памяти все, что рассказал Антипин, Арсен чувствовал, как его слова встают перед ним непроходимым частоколом. Крепким, добротным. А в нем безуспешно ищет лазейку сомнение: может быть, на самом деле все не так. Но лазейки не было. Тогда пришла другая мысль: всякий человек ставит частокол там, где ему надо. Не будет же Антипин говорить о себе, что поступил неправильно. Почему не будет, если он честный человек? Черт побери, да все дело в том, что он, Арсен, еще не уверен в честности Антипина! Не знает его! Однодневного знакомства мало, а с другими людьми о нем почти не разговаривал. Терехов, Мигунов, Труфанов... От них узнал не так уж много.

Арсен поднялся: задумался, совсем забыл, что время позднее и хозяину хочется отдохнуть.

— Спасибо за чай и за беседу. Поздновато...

Председатель крепко провел ладонью по своему лицу, отгоняя усталость.

— Верно, поздновато. А дел, дел!..

Он снял с вешалки фуражку и вышел вслед за Арсеном.

После светлой комнаты ночь показалась Арсену еще чернее. Он споткнулся на крыльце о неровную половицу.

— Не паркет, — засмеялся Антипин. — Пока не до этого... Садитесь.

— Куда? — не понял Арсен.

— В машину.

— Не надо, спасибо. Пешком дойду.

— Садитесь, садитесь. По пути.

— Как, вы же отдыхать хотели!

— Кто вам сказал? Потом отдохну. Потом...

Они ехали молча. Арсен с любопытством следил за Антипиным. Это уже был не усталый председатель, не нашаливший мальчишка, а выпрямившийся, бодрый человек. Минутный отдых освежил его, да и дорога не давала дремать. То выбоина, то заплот, упрямо выпирающий в улицу, заставляли председателя крутить баранку с таким проворством, как будто он старался отвернуть ее начисто.

Председатель забыл о своей усталости. Но Арсен о ней не забыл. Когда машина остановилась возле избы Труфанова, ему стало неловко. Он подумал о том, что через минуту растянется на постели, а председатель будет долго еще гонять «победу» и решать какие-то очень важные для колхоза дела. Арсен осторожно сказал:

— А ведь я, Михаил Васильевич, тоже не хочу спать. — Он почувствовал, что его слова прозвучали неубедительно.

Антипин понимающе рассмеялся.

— Хотите проехать со мной?

— Да.

— Но ведь я не на поле. На току что-то с зернопогрузчиком не ладится.

— Все равно.

Машина снова рванулась в темноту. Они проехали бревенчатый мостик через ручей, и за пригорком показались огни, послышался разноголосый шум колхозного тока. Из-под навеса выбежал навстречу машине коротконогий мужичонка в стеганой фуфайке.

— Васильич! Васильич! — закричал он обрадованно. — Слава те, приехал. Нужон ты дуже. Подивись иди, сожгут антихристы зерно.

Забыв о корреспонденте, обеспокоенный Антипин ушел с мужичонкой к зерносушилке. Арсена это больно укололо, но он успокоил себя: «Все правильно. Я для него случайный пассажир и наблюдатель. А к наблюдателю и подход один: «Делай, как знаешь. Смотри, что хочешь. Но не мешай».

Когда Арсен вышел из машины и стал бродить возле грохочущих зерноочиститель-

ных машин, и тогда никто не обратил на него внимания. Люди совками подбирали зерно, просыпавшееся с решет, хлопотали у зернопогрузчика, который то хлестал тугой хлебной струей в кузов грузовика, то замолкал. Дородная, рослая женщина суетилась у автовесов, а шофер самосвала покрикивал:

— Шевелись, мамаша! Мильон больше, мильон меньше! Не лекарство отвешиваешь!

— Я те пропишу лекарство, — ворчала женщина. — В одночасье захвораешь.

Непричастность к этому единому трудовому ритму коробила Арсена. Растерянно оглянувшись, он заметил по-городскому одетых парней и девчат, которые загружали бункер зерносушилки. «Наверно, студенты», — подумал Арсен и подошел к ним. Горожане работали молча, сосредоточенно. Возле них смешивались запахи нагретого зерна и крепкого пота. Эти запахи будоражили Арсена. Ему хотелось что-то делать. Что угодно, только не стоять вот так, лишним человеком. Он схватил лопату, лежавшую на куче пшеницы. Девушка с волосами, туго завязанными пестрой косынкой (чтоб не пылились), недоуменно покосилась на него и, ничего не сказав, подвинулась.

Лопата легко, без нажима, окунулась в зерно. Арсен встряхнул ее и опрокинул в бункер. Его руки замелькали с такой же ловкостью, как у остальных. Это было несложно: поддел, встряхнул, повернулся, сбросил, опять повернулся... Это было легко: пока с пустой лопатой повернешься к зерну, мускулы отдыхают. Но потом этого отдыха мускулам не стало хватать. Руки начали тяжелеть. Несколько раз лопата, чуть не выскользнув на землю, крутнулась, рассыпая зерно. А вокруг Арсена с прежней быстротой работали парни с распахнутыми рубахами, девушки, укутанные до глаз косынками.

Усталость... Если она не обязательна, можно отдохнуть. Арсен мог бросить лопату и отойти в сторону. Мог и не мог. С упорством, наперекор усталости, он бросал и бросал зерно в ненасытную утробу бункера. И, странно, усталость стала отступать. Он перестал чувствовать свои мускулы. Горячий пот залил глаза и осел на губах едкой солью, но это уже был пустяк. Арсен сплюнул в сторону и снова воткнул в зерно лопату.

Бункер наполнялся медленно. Но вот над ним выросла горка, и какой-то парень крикнул:

— Наелся!

И в тот же миг со звоном полетели на землю лопаты. Девушки бросились врассыпную: кто со стоном облегчения плюхнулся на теплое, пахучее зерно, кто отошел в сторону, торопясь досказать подруге что-то «страшно интересное». Парни потянулись к бочке с песком, чтобы покурить.

Вытерев платком лицо, Арсен пошел к автовесам. Там уже взвешивали очередную машину и по-прежнему весовщица переругивалась с шофером. Послушав их, Арсен подумал одобрительно: «Ишь, начальница! Кроет шофера за большую перегрузку». Но вот машина съехала с весов. Женщина, положив на свои могучие бедра полные, большие руки, с горделивым видом осмотрела весь ток.

— Мать честная, что деется! — воскликнула она. — Отродясь такого не было.

— Чего не было? — спросил Арсен.

Увидев его, женщина, не меняя позы, строго спросила:

— А вы, здрасте, кто будете?

— Да так... Из города, — Арсен не знал, как ей ответить. Не хотелось говорить, что он корреспондент. Иногда такое признание только вредит. Из уважения к печатному слову люди становятся осторожными, говорят не так, как всегда, делают не то, что им хочется делать. Поэтому Арсен добавил неопределенно: — С председателем вашим приехал.

— А, с Васильичем, — женщина заговорила мягче. — То-то я смотрю, откуда бы это незнакомый? От шефов мы нонче вроде отказались.

— Отказались? А вот эти? — Арсен кивнул на горожан. — Студенты?

— Верно, студенты, — женщина вытерла губы кончиком косынки. — Наши собственные. Вон тот крайний-то, с цигаркой, мой сынок. Ладно ворочает лопатой. Да и все-то, глянь-кось, такого не бывало.

— Чего не бывало? — снова спросил Арсен. — Не работали так?

Женщина посмотрела на него, как на несмышленое дитя.

— Нешто непонятно? Ясное дело, так, до седьмого поту, никогда не работали.

— Почему?

— Э, милок, — женщина присела на весы. — Коли бы знали ране, что поработаешь ладно — и толк будет, так и тогда не лежали бы на печи.

— Сейчас знаете, что будет толк?

— Как же! Васильич, он, небось, не обманет.

«Ага, его уже любят», — подумал Арсен.

— Мы и сами не слепые. Видим, что к чему, — добавила женщина.

Подъехала машина с зерном. С легкостью, необычайно для ее фигуры, весовщица вскочила и занялась своими делами.

Оставшись один, Арсен пошел к бочке с песком. Долго сидел на скамейке, не отводя глаз от пепельно-красного огонька кем-то брошенного окурка. Он отдыхал. От физической усталости, но не от мыслей. Они тревожили, угнетали. Особенно одна: «Неужели у меня нет того микроскопа души, о котором говорил Антипин?»

ГОРЬКАЯ СЛАВА

Услышав за спиной частые торопливые шаги, Арсен оглянулся. К бочке шел с цигаркой в зубах тот самый мужичонка в фуфайке, который так обрадовался приезду Антипина. Сев на скамейку, он облегченно ругнулся неизвестно по чьему адресу.

— Что, сожгли зерно антихристы? — шутливо спросил Арсен.

— А? — он круто повернулся. — Не, не успели. Васильич дал им ладу. Это вы с ним приихалы?

Голос у него был сильный, не по росту. Говорил он с заметным украинским акцентом.

— Да, с Антипиным приехал, — ответил Арсен.

— Редактор?

— Корреспондент.

Мужичонка захохотал громко, откровенно.

— Угадал-таки! Я вашего брата без ренгена вижу.

— Почему?

— Нюх у меня такой. Надрессированный.

— Кто ж это вас надрессировал?

— Та вы ж, корреспонденты.

Арсен посмотрел на него внимательно. Где-то он видел этого человека. Это веселое лицо с продольными морщинами на щеках. Слышал этот голос с украинским акцентом. Почему-то вспомнились газеты. Да, да! В областной партийной газете был его портрет. Он выступал по радио.

— Ваша фамилия Баревич? — спросил Арсен.

— Ага.

— Бригадир? Свекловод?

— Ну, — Баревич нахмурился. Его глаза, минуту назад сверкавшие озорно, весело, спрятались в тени густых бровей.

— А почему вы здесь, на току?

— Делать нечего. Буряк еще не начинали копать.

— Прикидывали, сколько будет нынче? Больше прошлогоднего?

— Ха, прошлогоднего! — Баревич сплюнул и стал заворачивать новую цигарку.

Он что-то не договаривал. Арсен почувствовал это и страшно захотел узнать, что. Он знал, что иногда наталкивают на откровенный разговор не расспросы, а молчание. Арсен молчал. Не спеша раскурил папиросу. Нетерпеливыми вспышками она сгорела наполовину, когда Баревич притронулся к руке Арсена.

— Вот ты, хлопец, прошлый год вспомнил. Слушай меня. Все изложу, не боюсь, потому что камня за пазухой у меня уже нема. А для вашего брата поучительно.

И Арсен услышал от свекловода историю, которая его и возмутила, и обрадовала. Рассказывая о себе, Баревич говорил о других людях, с которыми был связан. О председателях — прежнем и новом. Для Арсена это было очень важно, потому что он продолжал искать лазейку в «антипинском частоколе».

Председатель колхоза Аникеев был из той, теперь резко идущей на убыль породы председателей, которые живут тихо, не спеша и в то же время не отстают от других. Как они сами любят говорить: «Находятся на уровне современных задач». Когда некоторые колхозы начали сеять сахарную свеклу, Аникеев, узнав об этом, покачал головой и ничего не сказал. Сеять не стал. Но вот пришло распоряжение свыше: «Сеять!» И он не стал качать головой. Даже сказал: «Стало быть, и Сибирь для нее подходяща».

Бригадиром свекловодов поставили Баревича, из украинских переселенцев, мужика беззаботного и веселого. Не особенно веря в свеклу, Аникеев не хотел отрывать на гиблое дело хорошего бригадира. Думал, не вырастет ничего во всех колхозах, и начальство забудет эту затею. А если выйдет у него, Аникеева, заминка какая, проще всего свалить на Баревича.

И вдруг весельчак и балагур, получив бригадирскую власть, преобразился. Вспомнил Баревич Украину, поля, на которых негде двум тракторам разминуться, и богатые урожаи свеклы. Здесь, в сибирском колхозе, в его полное распоряжение отдавали целых пятьдесят гектаров. Пятьдесят гектаров! Баревич, узнав, какой массив ему выделили, в тот же день поехал туда на своей «персональной коняке».

День был осенний, один из тех последних осенних дней, что надолго запоминаются свежим, прозрачным ветром и шелестом крыльев улетающих гусей. Баревичу ка-

залось, что он вернулся на Украину. Так напоминало все это о родине. Но здесь было еще лучше. Здесь была необычная, просторная Украина. С необозримыми полями, бесконечно высоким небом, широкими, большими мыслями. Баревич мечтал о том, как его пятьдесят гектаров, на удивление всем, дадут гору свеклы. Кто тогда скажет, что он, Баревич, умеет только зубы скалить? Он покажет, на что способен человек, когда ему доверяют ответственное дело! Он обгонит украинских рекордистов!

Баревич торопил коня. Он спешил увидеть свои пятьдесят гектаров, как спешит полководец на поле предстоящей битвы. С первого знакомства, первого взгляда командира иногда начинается победа или поражение. Так случилось и с Баревичем. От его радостного ожидания встречи с полем не осталось и следа, когда он увидел лысые, высушенные ветрами пригорки. Земля здесь была истощенная, полуживая. Баревич понял, что никакого рекорда он не добьется.

Назад в село конь бригадира несся галопом, роняя клочья пены. Баревич искал Аникеева. В правлении его не было. Тогда, переполошив на улице кур, блаженно дремавших в пыльных гнездах, он поскакал к председателю домой.

Аникеев обедал. Увидев Баревича на пороге своей просторной избы, насмешливо хохотнул.

— А, бурячное начальство! Об чем разговор имеешь?

Бригадир не заметил, что ему не только не предложили сесть за стол, но вообще сесть. Он был слишком взволнован и прямо с порога начал говорить.

— Шо ж это получается, товарищ председатель? Для насмешки меня в бригадирство выдвинули?

Только сейчас Аникеев заметил озабоченность на его лице. Он отодвинул тарелку и сердито шикнул на жену, выглянувшую из дверей.

— О какой такой насмешке ты говоришь?

— А то как же! Хотите, чтоб я на лысой голове волосья стриг?

— Ну, ты это... того... — Аникеев провел ладонью по своему голому черепу.— Смешки тут не того...

— Какие смешки! Разве ж будет буряк на той земле, что мне выделили?

— А, вон чего! Ну, земля у нас везде не золото, — председатель снова взял ложку.

— Но есть получше этой, — не унимался Баревич.

Аникеев посмотрел на него с укоризной.

— Имею я право спокойно пообедать?

Баревич от злости так хлопнул дверью, что в сенях что-то упало и с жестяным звоном покатилось по полу. Он вернулся в правление, написал официальное заявление, чтобы ему дали другой массив, и стал ждать председателя. Дождался. Аникеев прочитал заявление и, ни слова не говоря, в углу бумажки написал: «Ерунда. Земля везде одинаковая».

Пошли с того дня гулять бумажка за бумажкой от Баревича к Аникееву и в обратном порядке. Заявления, накладные, выписки из решений правления. Бумажки ходили, а дело стояло. Не добившись другого массива, Баревич решил спасать землю удобрениями. Но и тут получилась заминка. Попросит он у председателя трактор с тележкой для вывозки навоза на три дня, а получит на один. Люди, попавшие в бригаду, понятия не имели о свекле. Хотел Баревич почитать с ними «грамотные» книжки — не получилось. То одного, то сразу несколько человек из бригады председатель посылал на разные работы как раз в то время, на которое назначались занятия.

Отсеялись с грехом пополам. Появились всходы свеклы. Потом их обогнали сорняки. Снова заволновался Баревич. Со слезами на глазах приходил каждое утро в правление, к Аникееву, и начинал один и тот же разговор.

— Товарищ председатель, вы шо думаете иметь, буряк или цветочки полевые!

Аникеев поднимал от стола свирепый взгляд.

— Ты сызнова?

— А то как же! Дайте машины на обработку.

Вышел председатель из терпения. Когда приехали шефы, послал их на ручную прополку свеклы. За три дня пропололи. Только время уже было упущено. Свекла чахла. Ничего уже не могло ее спасти.

Копали осенью свеклу — вздыхали. Не свекла — морковка. По сорок центнеров с гектара вышло. Курам на смех, коровам на зубок.

И вдруг... Разворачивает однажды Баревич районную газету. Увидел под одной заметкой: «Колхоз «Знамя труда». Стал читать и задохнулся от обиды: «Большим трудовым подарком порадовал страну знатный свекловод Баревич. Под руководством партийной организации и правления колхоза его бригада вырастила по 400 центнеров сахарной свеклы с гектара». Строчки газетные скривились перед глазами. Смеются, негодники! Прочитал заметку до конца, до подписи Аникеева, и кинулся к нему в правление.

— Опозорил!— закричал Баревич, вбегая в кабинет.

А председатель, только глянул на газету, встал из-за стола, прикрыл поплотнее дверь и самолично под руку провел бригадира к потрепанному, но солидно огромному креслу.

— Садись, Максимыч. Кто смел опозорить знатного свекловода?

— Знатного!— вскинулся Баревич и протянул ему газету.— Это что? Завтра будет опровержение, пропечатают: «читайте не по четыреста, а по сорок».

Аникеев успокоительно похлопал его по плечу.

— Не будет никакого опровержения.

— Не будет? Но это ж брехня написана!

— Не брехня, а политика,— председатель значительно поднял редкие седые брови.— По-ли-ти-ка!

Волком хотелось взвыть от такой политики Баревичу. Тем волком, что в капкане застрял. Но Аникеев не давал ему опомниться. Сев за стол, он продолжал говорить.

— Ошибочка вышла. Но теперь поздно оглобли воротить. Тяни дальше. На днях жди гостей из областной газеты. Не оплошай.

— Не оплошаю!— закричал Баревич.— Всю правду изложу.

Председатель стукнул кулаком по столу.

— Дурак! По всей отчетности твои четыреста центнеров уже прошли.

— Признаемся, — плачуще проговорил Баревич. — Признаемся, а? Ошибка, мол...

— Дурак!— повторил Аникеев.— В общесоюзном масштабе эта ошибка — пустяк. А ежели тебе орден дадут, всему колхозу слава. Ты же не единоличник, чтобы думать только о своей шубе.

От председателя Баревич побежал к агроному. И тот сказал: «Молчи». Снова вернулся к председателю. Так и так, говорит, откроюсь я. А тот ему:

— Попробуй. Судить будем. За то, что погубил урожай.

Не больно охота судиться. Ничего не сказал Баревич, и с тех пор стал ходить в героях. Корреспонденты пошли к нему гужом. Фотографии его замелькали в газетах, на плакатах — в районе и в области. Куда ни сунется Баревич, везде себя видит. Видеть себя стало противно. Бриться перестал, чтобы в зеркало не заглядывать.

Зацепила та слава рикошетом и председателя. Поначалу она открывала перед ним двери в президиумы всяких совещаний, а потом... схватила за горло. Позвонил как-то секретарь райкома Костров и сказал:

— Такое дело, Аникеев. У твоих соседей, в «Заре», с кормами худо. Ты бы поделился с ними...

Только хотел Аникеев поплакаться — и прикусил язык. Потому что секретарь говорил дальше:

— Думаю, тебе это не будет обременительно. С большого урожая свеклы.

Нечего делать, все до последнего грамма отдал Аникеев соседям, а своим колхозникам велел заготовлять «березовый силос», как называли веточный корм. Услышал это Баревич и на другой день чуть свет поехал в район. Чтобы дойти до секретаря райкома партии. Да не доехал.

Баревич лежал в повозке, которая бесшумно покачивалась на ухабах, и думал, как он войдет в кабинет Кострова и скажет:

— Хоть голову рубите, хоть милуйте, потому как я есть тварина последняя.

А он спросит:

— Что это ты так казнишься?

— Вот, почитайте,— и выложит ему Баревич все бумажки, какими переписывался с председателем. И расскажет все.

Ясное дело, поначалу секретарь разгневается. Закричит...

И тут Баревич вздрогнул, потому что рядом кто-то наяву закричал:

— Поехал жаловаться, шкура?

Баревич пружиной подскочил на повозке. На дорогу спрыгнул. Глянул, а по другую сторону повозки гарцует на гнедом жеребце Аникеев. Злой. Лицо потное, в пыльных разводах.

— Ты шо ж это голова? — сказал Баревич. — Как куркуль с обрезом на дороге ловишь.

— Я те дам куркуля! — потряс плетью председатель. — Куда едешь?

— На базар. Купить кой-чего.

— Брешешь! Жаловаться?

— Не... Та не грози своей нагайкой. Не очень-то боюсь.

— Забоишься! — председатель снова занес руку и хлестанул себя плетью по голенищу сапога. — Я те!..

Баревич совсем осмелел.

— Не тронешь. Спробуй тронь, за повреждения в суд на тебя подам.

Аникеев усмехнулся.

— В свидетели возьмешь моего жеребца да свою клячу.

Повозка по-прежнему катилась по ухабам. Председатель и бригадир продолжали пылить по дороге. Один на жеребце, другой пешком.

— Ну ладно,— сказал председатель.— Заворачивай назад.

Баревич мотнул головой.

— Не.
— Заворачивай!— закричал председатель.— Кто тебя послушает? Ты подумай о том, что если все откроется, так и райкому перед областью отвечать. А как райком не пожелает отвечать? Ты же и пострадаешь.
Подумал бригадир и, прыгнув в повозку, дернул вожжу. Они вернулись в село, не спеша, мирно беседуя, будто ездили куда-то вместе по обыкновенным делам. Баревич немного успокоился: председатель пообещал дать ему весной лучший участок, создать все условия, чтобы он оправдал славу, полученную авансом.
Баревич с нетерпением ждал весну. Он был уверен, что добьется большого урожая, а пока что ему стыдно было смотреть людям в глаза. Многие знали уже его историю, молчали, как и он, побаиваясь председателя, а в их глазах всегда была такая насмешка, что хоть в омут головой. Не было больше Баревича — весельчака и балагура. Раньше он любил потолкаться там, где было побольше народа, а теперь бежал туда, где поменьше. Затевается какое-нибудь собрание в клубе — он, чтоб его не нашли, хватает удочку и бежит на речку. Клюет, не клюет — все равно стегает воду и час, и два, и три. И от корреспондентов стал бегать. Только увидит незнакомого с фотоаппаратом — шасть во двор и запрется в чулане. Целый день его ищут, а он сидит голодный и злой, но не показывается.
«Только бы мне перезимовать»,— думал Баревич. Перезимовал. Подошла весна. Свеклу на хорошей земле посеял. И тут все планы бригадира рухнули. Получил Аникеев отставку, а вместе с ним ушли и его обещания. Но не в том главное. Новый председатель вызвал как-то Баревича и говорит:
— Звонили сегодня из райкома. Нам за свеклу — переходящее знамя. А вас направляют на зональное совещание передовиков.
— Спасибо,— сказал бригадир.— Позвольте идти?
— Сядьте на минуту.
Председатель встал, походил по кабинету, остановился перед бригадиром.
— Иван Максимович,— говорит.— Помогите мне разобраться. Никак не пойму, почему так получилось. Если учесть, что колхоз отдал соседям двести тонн свеклы, то осталось ее, значит, тысяча восемьсот тонн. Где же она?
При первых словах о свекле Баревич сжался. Послышался ему колючий свист плети. Показалось, что сидит он не у председателя, а у следователя. Глаза Антипина смотрели строго и нетерпеливо. Они ждали ответа. Баревич растерялся от этого взгляда и пробормотал то, что повторял про себя в те минуты, когда обдумывал, что рано или поздно будет держать ответ за свой обман. Он сказал Антипину:
— Зимой скормили свеклу.
— Скормили? Всю?— председатель повел плечом.— А скот на ладан дышит! Значит, вы не знаете... Ну, идите.
Баревич ушел, удивляясь, что новый председатель не стал расспрашивать, что отпустил его так легко. Зашел он в свою избу, накричал на жену без всякой причины, послал дочку за водой, хотя бочка была полная до краев, включил свет в горнице.
— Ты сказився, старый,— удивилась жена.— День на дворе, а тебе темно?
Бригадиру было темно. Не глазам — душе. Не говоря ни слова, он отыскал в тумбочке всю свою «переписку» с Аникеевым, взял удочку с оторванным крючком и пошел на речку. Заросли тальника подходили к самому берегу, где Баревич облюбовал себе место. Заметить его здесь было трудно.
Положив рядом с собой удочку, Баревич сидел, не сводя глаз с воды до тех пор, пока она из светло-синей не стала мутной, потом — черной. Время двигалось быстрее, чем его мысли. Он успел только вспомнить свою жизнь до приезда в Сибирь, а на небе уже проклюнулись звезды. «Так и жизнь,— подумал Баревич.— Пока подумаешь ухватить ее за бока, а она тебе хвост уже показывает. Половчее надо быть. Быстрее думать».
Он встал и, забыв удочку, пошел в село. Возле дома председателя остановился и постучал в калитку. Скрипнула дверь.
— Мне бы Васильича!
— Нету еще,— ответила мать председателя.
Бригадир пошел к правлению. Два окна ярко светились, бросая на улицу две светлые полосы. При Аникееве эти окна зажигались редко. Баревич подошел ближе и увидел Антипина. Председатель сидел за столом, задумчиво глядя на какие-то бумаги. Баревич поднялся на крыльцо.
— Сейчас!— услышал он голос председателя.— Скоро уйду.
«Думает, что сторож».
Увидев Баревича, Антипин удивился и, кажется, обрадовался. Он отодвинул бумаги, с хрустом потянулся.
— Ага, не только у меня сон пропал!
— А я давно забыл про него,— сказал Баревич, садясь на стул.
— По какой же это причине?
Его глаза снова ждали. Только на этот раз в них было больше любопытства, чем строгости. И Баревич решился.
— Так что, Михаил Васильич, вы про буряк

пытали. Так вот... Что «Заре» отдали, только того и было.

Председатель встал.

— Как это понимать?

— Ну, выходит, не по четыреста собрали, а по сорок.

— Постойте! Не понимаю. Но ведь... — Антипин подошел ближе. — Как же отчетность?.. Везде писали...

Баревич опустил голову.

— Брехали.

Снова сев за стол, Антипин впился в бригадира презрительным взглядом.

— Как же вы могли?.. Почему молчали?

— Заставили молчать.

— Да разве можно заставить?

И у бригадира зашумело в голове. Не хотел он больше молчать да бегать от людей в тальниковые заросли. Потому и выложил председателю все, что душило его целый год. И про угрозы, и про обещания, которые так и остались обещаниями.

Антипин выслушал его и осторожно спросил:

— Может, он, Аникеев, хотел вас выручить?

— Как же! Не возьмись начальство так прытко за буряк, он и на сорока центнерах прожил бы. А тут требовать с него начали. Где брать еще центнеры? На бумаге и выросли. А меня что выручать? Ось я, весь тут,— и Баревич вытащил из кармана «переписку».

Председатель внимательно прочитал все бумажки.

— Мда, вот, оказывается, какую свеклу коровы ели! Газеты почитывали да березовыми вениками парились... Ах ты, Аника-воин, мокрица бесцветная!— Помолчав, Антипин спросил:— Как же нам быть теперь с переходящим знаменем и зональным совещанием?

— Никуда я не поеду!— сердито ответил Баревич.— Хватит! А знамя переходящее перейдет к нам. Не сейчас, понятно.

— Правильно,— Антипин убрал со стола бумаги. — Придется в райкоме говорить по этим делам... Ну ничего.

— Может, мне это... — Баревич встал, —... бригаду сдавать?

— Нет, нет,— Антипин надел фуражку.— Нынче у вас земля хорошая. Все остальное будет. Обещаю. Вот тогда и совещание новое состоится. Никуда оно от вас не уйдет.

Не поехал Баревич на совещание. Слышал он, у Антипина были какие-то неприятности в райкоме, но и торжественное вручение знамени не состоялось. Все обещанное председатель Баревичу дал. В машинах и людях никогда отказа не было. Потому и свекла уродилась — не чета прошлогодней. Центнеров по четыреста пятьдесят с гектара будет. Не бумажных!

Баревич закончил свой рассказ. Арсен, не промолвивший ни слова, пока говорил бригадир, молчал. Он думал о «микроскопе», который ощутил в своей душе. О том, что каждое стеклышко этого микроскопа для него — люди. Только через эти стеклышки увидишь и других людей, и всю жизнь. Если стеклышки светлые. А если мутные, с кривизной? Ох, и трудно тогда быть зрячим! Не только журналисту. Каждому, кто хочет видеть.

— Знаете,— тихо сказал Арсен.— Ваш рассказ, действительно, поучительная история для нас, газетчиков. Но, главное, он помог мне лучше узнать Антипина.

Баревич довольно засмеялся.

— Когда так, то не задарма я с вами тут сидел. Нашего председателя стоит знать. От с кого портрет надо на самую высокую доску вывесить! На правый фланг поставить!

Из-за зерноочистительной машины вышел Антипин. С остервенением мотнув головой, он вытряхнул из волос зерно, надел фуражку и направился к своей машине.

— До свиданья,— Арсен протянул руку Баревичу.

— Бывайте,— усмехнулся свекловод, крепко пожимая широкую ладонь Арсена.— Первого корреспондента встречаю, который фотоаппаратом в меня не целится. Это добре. Можно уже в чулан не ховаться.

Неумолчный шум колхозного тока остался позади. Машина сонно катилась к селу. Антипин повернулся на миг к Арсену.

— Вздремнули?

— Нет. С Баревичем проговорил.

— О чем?

— Да о его прошлогоднем рекорде.

Председатель помолчал.

— Чем все это кончилось?— спросил Арсен.

— Что?

— Свекольная липа.

— Ничем. Фальшивая монета в одну и ту же копилку.

— Не понимаю.

— Не трудно понять. Кострову как и следовало ожидать, очень не по нутру пришлась эта штука. Лучше бы и не знать ему, что рекорд был липовый. Обкому он, по-моему, доложил. Вынужден был доложить,— Антипин высунулся из машины, подставив лицо прохладному ветру. — С прошлыми заслугами, товарищ корреспондент, расставаться трудно. Особенно тем, кто на новые неспособен. А без заслуг они — ничто. То самое ничто, которое, как мы уже с вами выяснили, сразу не разглядишь.

Антипин неожиданно рассмеялся.

— Мрачная картина, правда? Это на первый взгляд. К счастью, Костровы уходят. Кончилось!..

Машина остановилась возле избы Труфанова.

— Шагайте спать,— сказал председатель дружеским тоном.

— А вы?

— Тоже. Что, думаете, я железный?— Антипин помахал рукой.— Счастливо.

Красные огоньки удаляющейся машины горели ярко, бодро. Арсену не верилось, что ими управляет не железный человек. Не может он быть слабее этих маленьких огоньков.

ДОБРОЕ ЗЛО

Кто первый назвал осень золотой? Пушкин? Может быть, он. Но поэт не видел золотых рек. Это — дороги. Осенние дороги, шумливые, быстрые. Машины с зерном запруживают их так тесно, что кажется, это сами дороги текут пшеничным золотом, бурлят круговоротами, рвутся из берегов.

Арсен был на стрежне этой необычной реки. Машина с зерном, на которой он ехал, то обгоняла других, то прижималась к кювету, пропуская встречных. И ее обгоняли. И она обгоняла...

— Елки-палки!— воскликнул с восхищением шофер.— Сколь их прет! А? И ведь так сейчас по всей стране. Везде уборка.

— Хорошо!— довольно произнес Арсен.

— Н-да, сейчас хорошо. Зимой хуже.

Курносое молодое лицо шофера застыло. Глаза из-под прищуренных век зорко следили за дорогой. Его ЗИЛ мчался так, словно хотел взлететь.

— Конечно,— согласился с ним Арсен.— Зимой так не погонишь.

— Ни в том дело. Обратно возить зерно душа не лежит.

— Откуда?

— С элеватора. Видишь, сколь везут из колхозов? Отрапортуют и обратно повезут.

— Не повезут.

— Что?— шофер, забыв про дорогу, на которой в десяти метрах впереди тащился тяжело груженный МАЗ, повернулся к Арсену.— Не повезут? А весной что сеять будут?

С трудом отвернув от МАЗа, он снова спросил:

— Что будут сеять?

— Свои семена.

— Эх, коли бы так! Три года тут шоферю, и все три на рапорт.

Он замолчал: показался элеватор. Возле него выстроилась длинная колонна машин с зерном.

— Позагораем, — мрачно пошутил шофер, пристраиваясь в хвост колонны. Когда Арсен вышел из машины, он на прощанье сказал:

— Твои бы слова, парень, да райкому в уши.

— Ладно,— ответил Арсен.— Услышит.

Арсен узнал здание райкома. Двухэтажное, типовое. Светлое и внушительное. Рядом поникло старое бревенчатое строение. Раньше в нем, видимо, помещался райком партии. Арсен представил, как когда-то возле этого дома пофыркивали кони, пахло овсом и навозом. На серых от времени бревнах алели лозунги. Люди приезжали сюда из дальних сел за помощью и советом. И получали их от всеми уважаемого человека — Кострова. Но время шло, люди изменялись и менялись, а Костров оставался прежним. Пустяшных советов у него больше не спрашивали. Серьезных он и сам уже дать не мог. Вместо советов он стал давать приказы. Иногда дельные, иногда — ошибочные. Так не стало **уважаемого** человека.

Коридор в райкоме гулкий, пустой. Никаких совещаний, активов, пленумов. Некогда. Мягкой скороговоркой стучала машинка в приемной первого секретаря. Арсен открыл дверь.

— Костров здесь?

Секретарша ответила, не отрывая взгляда от машинки.

— Еще здесь.

— Почему еще?

— По колхозам поедет.

В кабинете за массивной верхней чертой буквы «Т» сидел широкоплечий человек. Арсен сразу одним взглядом увидел и седую голову, и крупное лицо, и глубоко посаженные глаза. Этот человек казался значительнее, привлекательнее Антипина, Баревича, Терехова и многих других, с кем довелось встречаться в последние дни.

Арсен остановился на пороге. Костров смотрел на него с любопытством.

— Входите, — сказал он, втыкая остроконечную автоматическую ручку в подставку, напоминавшую первую ступень космической ракеты.

Поздоровавшись, Арсен сел на один из стульев, стоявших вдоль стены. А секретарь, кивнув ему, схватил телефонную трубку.

— Свяжите меня с «Победой»... Занято? Разъедините... Архипов? Костров говорит. Почему зерно не сдаешь? — в голосе Кострова послышалась угроза. — Слушать не хочу! У тебя есть обязательство? Есть!.. Слушать не хочу!.. Да что ты!!! Сукин ты сын, Архипов, вот что! Подводишь? Мы с тобой вмес-

те... А? Что Антипин? Ты на него не равняйся. Он — сопляк в наших делах. А? Вот так, другое дело. Действуй!

Костров бросил трубку.

— Простите, — Арсен положил на соседний стул свой плащ и фотоаппарат. — Вы об Антипине сейчас сказали... Я слышал...

В уголках крупных губ секретаря прорвалась усмешка.

— Вижу, что вы из газеты. Притом не из районной. Своих я знаю.

— Да, я из молодежной.

— Когда в Краснореченск приехали?

— Сегодня,— Арсен хотел добавить, что сегодня он приехал в районный центр, а вообще уже побывал у Антипина, но Костров перебил его.

— Сегодня? И уже слышали об Антипине? Здорово!

В этот момент открылась дверь. Твердым хозяйским шагом вошел среднего роста человек с толстыми очками на добродушном лице. Каким-то привычным, традиционным жестом школьного учителя он поправил черный галстук и спросил:

— Борис Иванович, я с вами еду или один?

Костров мельком глянул на него.

— Я вас не держу, — спохватившись, он добавил: — Впрочем, посидите, здесь товарищ из областной газеты. Товарищ... Извините, не знаю... Будьте добры, удостоверение...

Арсен почувствовал, что краснеет. Удостоверение у него требовали очень редко. В основном там, где требовалось оформить пропуск — на заводах. Но и там ему было стыдно за недоверчивых людей. А здесь, в сельском районе!.. Почему Антипин не потребовал удостоверения? Видимо, не задумывается он, с кем каким языком говорить.

Заглянув в красную книжечку, Костров прочитал вслух:

— Фомин. Заведующий отделом рабочей и сельской молодежи. Хорошо... А это Петелин, наш второй секретарь. Знакомьтесь.

Пожав руку Арсену, Петелин сел напротив. Учтивая внешность интеллигента и колючие, внимательные глаза. Даже очки не могли скрыть их остроту. Арсен смотрел на него с искренним вниманием. Казалось, гдето видел его.

— Вы здешний? — спросил Арсен.

— Да, тутошний, — пошутил Петелин, и Арсен понял, что нигде он его не видел. Просто очень походил этот второй секретарь с острым взглядом на других секретарей. Таких же молодых, грамотных, с интеллигентной внешностью и в то же время «тутошних», доморощенных. Теперь уже были редкостью секретари, которых отличали бессменный френч военного покроя, начальственный вид и грамматические пробелы в знаниях.

— Так об Антипине...— начал Арсен, отводя взгляд от Петелина.

— Да, да! — Костров виновато посмотрел на Арсена. — Вы, журналисты, вправе меня ругать. Вы это умеете. Каюсь, допустил ошибку. Сам рекомендовал Антипина и вот, — он огорченно развел руками.— Сколько лет на партийной работе, а такого не было. Старею, что ли? А? У меня же никогда не было, чтобы колхоз отказывался выполнять свое обязательство.

— А если невозможно выполнить?

— Что? — Костров глянул на Арсена с насмешливым удивлением, потом перевел взгляд на второго секретаря. — Петелин, ты слышал? Радуйся, не ты один такой!— и снова к Арсену: — Как это невозможно? Это только поначалу боязно, как через канаву перепрыгнуть. А прыгнешь раз — другой — и во вкус войдешь. Антипин еще не прыгал. Боязно ему.

Вспыхнув, Арсен хотел было вступить в спор с Костровым, но сдержался. Костров начал рассказывать, что колхоз «Знамя труда» всегда выполнял обязательства и считался лучшим, а вот теперь неизвестно, до чего доведет его новый председатель. Но Арсен не слушал его. В его ушах еще звучало с неимоверной легкостью произнесенное сравнение обязательства с прыжками через канаву. Можно ли было после этого еще сомневаться, что председатель колхоза лучше секретаря райкома понимает, что доверие людей и собственная совесть — это не канава, что через них нельзя прыгать?

Дальнейший разговор не интересовал Арсена. Ему страшно захотелось уйти, но Костров продолжал:

— Он, видишь ли, о семенах беспокоится. Да никогда колхозы без семян не оставались! Ему ли об этом думать?

— А кому же! — не удержался все-таки Арсен. — Вы, конечно, дадите Антипину семена, но какие! А у него свои, ему подходящие.

Замолчав, Арсен ожидал возражений Кострова. Но и Костров молчал. В его взгляде, который он бросал то на Арсена, то на второго секретаря, была растерянность. Наконец он сказал тяжелым, глухим голосом:

— Вы говорите так, будто знаете колхоз «Знамя труда».

— Конечно, знаю. Я же был там.

— Сколько?

— Что?

— Сколько времени там были?

— День с лишним.

Голос Кострова стал насмешливо пренебрежительным. Он заговорил, четко разделяя слова, как нерадивому школьнику втолковывают прописные истины.

— Вы были день. А я в районе работаю двадцать лет. Двадцать лет! Есть разница?

— Есть, — вступил вдруг в разговор Петелин. Он говорил тихо, словно нехотя, но Арсен видел его горящие нетерпением глаза. — Можно всю жизнь быть слепым и не видеть того, что зрячий узнает в одно мгновение.

— Что? — губы Кострова скривились. — Для прозрения мне надо надеть очки?

Краска залила лицо Петелина, но он усмехнулся:

— Бросьте, Борис Иванович...

— Что бросать! — Костров привстал. — Что для нас может быть важнее стремления всегда и во всем быть впереди? Сдай все! Отдай все! Если ты коммунист.

— Сделай все, чтобы было все, чтобы завтра было еще больше, если ты настоящий коммунист, — Петелин тоже привстал. — Нам с вами, Борис Иванович, надо поучиться у Антипина. Правильный мужик!

— Что? — Костров стоял за своим столом высокий, внушительный. Седая прядь упала на его загорелый выпуклый лоб. — Учиться у выскочки? Помнишь Баревича?.. Мы не хотим чужой славы! Нам не надо знамени!

— Антипин не выскочка, — Петелин говорил тихо, но твердо. — Это обыкновенный честный человек, которому претит заевшее нас стремление всегда быть лучше всех. Вопреки здравому смыслу, но лучше. Ведь, открыв обман, Антипин не стал просить кормов. Знал, что с ними плохо везде. И вывернулся сам. Нет, Борис Иванович, не выйдет у вас нынче с рапортом...

За дверью громко заверещал звонок. Это Костров вцепился руками в стол и нажал кнопку. Заглянула секретарша.

— Маша! Вызывай машину. Я уезжаю.

Он больше не обращал внимания ни на Арсена, ни на второго секретаря. Петелин пошел к двери. Арсен тоже. На крыльце они остановились. Петелин глянул на Арсена весело, с довольной лукавинкой в глазах и протянул руку.

— Ну, попало старику! Так с ним никогда еще не разговаривали. Спасибо, помогли мне выговориться. А за Антипина стойте. Правильный мужик!

Подкатил легковой газик с брезентовым верхом.

— Ага, моя «Антилопа-гну», — пошутил Петелин.

— Вы куда сейчас?

— Куда? — второй секретарь на секунду задумался. — Прежде всего к врачу.

— Болеете? — Арсен спросил с недоверием, подумав, что это тоже шутка.

— Нет, я-то не болею, а вот Борис Иванович... Надо удержать старика на день-два от поездки по колхозам. Тем более после нашей атаки.

Он уехал. Арсен долго еще стоял на крыльце. Ему вдруг стало стыдно за себя. Вот он готов был сейчас кинуться к автобусу, чтобы побыстрее приехать в редакцию и настрочить корреспонденцию, которая убьет если не в полном смысле, то хотя бы морально, которая развенчает Кострова. А Петелин поехал к врачу... Удивительные люди!

Арсен чуть было не вернулся в райком, чтобы извиниться перед секретарем. Он удержал себя. Ведь Петелин не побоялся говорить Кострову злые слова, зная о его болезни. Значит, надо быть злым и человечным. Надо и можно быть таким.

ДВЕ ПРАВДЫ

Автобус покачивало на выбоинах асфальта. Мотор урчал колыбельной песней, убаюкивая пассажиров. Арсен то дремал, то поглядывал в окно. По-настоящему чувствовалась усталость, которая приходит к журналисту, когда весь его блокнот исписан и сделано все, что можно было сделать. Арсен сделал все. Он представлял, какими словами начнет корреспонденцию. Она будет убедительной, интересной, громкой. Многих заставит задуматься. Называться она должна так, чтобы сразу привлечь внимание читателей. Где-то рядом бродил хороший, теплый заголовок. Тот самый, единственный, что должен стать в песне словом, которое не выкинешь. Он еще не оформился в сознании четкими словами, но уже жил в чувствах Арсена.

Редактор, конечно, обрадуется, когда узнает обо всем. Сверкнет своими быстрыми глазами и воскликнет: «Вот как! Удивил!.. Ну, хорошо, что разобрался в этом деле, а то обругали бы человека ни за что!»

За окном автобуса проплывали сосновые перелески. Дорога шла по вершинам сопок. Внизу петляла река и видны были скалы противоположного берега. Там голыми сиротами стояли поникшие березы. Не унывающие сосны то тянулись бесконечной стеной, то сбивались в тесный круг, толпились над обрывом, любуясь своей смелой сестрой, шаг-

нувшей на самый краешек скалы. Иногда неприступная стена берега распахивалась широкой падью. Искристый ручей стекал по ней в реку. В пади темнели сочной зеленью ели. Пологими скатами они уходили куда-то в непроглядную чащу.

Автобус перевалил самую большую сопку и облегченно побежал вниз. За сопкой в котловине неподвижно висела сизая дымка. Возвращаясь из командировки, Арсен всегда удивлялся этой дымке. В городе она не замечалась, хотя висела над ним. Она наползала с реки и зимой и летом. Реке помогали трубы заводов. Сколько раз молодежная газета возмущалась этими дымящими трубами! Но что поделаешь: заводы на атомную энергию еще не перевели. Это дело будущего. Обязательного будущего. Ведь не зря же на картинах, нарисованных фантазией художников, на тех, где изображены коммунистические города, нет ни одного дымка. Даже у людей не увидишь там в зубах папиросы. Ради того, чтобы жить в таком городе, Арсен безоговорочно согласился бы упразднить табак.

А пока что он в полудреме поглядывал на приближающийся город и думал о том, с каким удовольствием закурит, когда выйдет из автобуса. Потом отнесет домой чемоданчик и помчится в редакцию. Как там ребята? Санька Пепелев, наверное, строчит очередной репортаж с зернозаготовительного пункта. Лиля Цыганкова — на строительстве лесопромышленного комплекса. Борис Мануйлов должен уже приехать с трассы Тайшет-Абакан. Интересные и разные люди. Арсен был уверен, что знает ребят, как свои пять пальцев. У Саньки и Бориса резко противоположные характеры. Санька — журналист хороший. Любит пошуметь, пофорсить обновой, с шиком прокутить гонорар за столиком «Арктики». Борис — всегда задумчивый мешковатый парень. Сварливая жена и забота о хлебе насущном заставляют его работать не покладая рук. С неба звезд не хватает, но положиться на него всегда можно. В общем-то хорошие ребята.

Иное дело — Лиля. Лиля... После неудачного приглашения в театр Арсен разговаривал с ней редко. Молчал, когда она затягивала сдачу материала. Молча удивлялся, видя, как она по-настоящему загоралась, описывая самые прозаические события.

Трудно было понять Лилю. Арсен чувствовал, что эта немного взбалмошная девчонка ищет что-то, старается, но не может увидеть то, что видят другие, что видит, может быть, он. Иногда Арсену хотелось положить руку на ее плечо, сказать по-дружески:

— Чего, Лилька, опять надулась? Расскажи. Глядишь, вместе решим твою проблему.

Но он не делал этого, всякий раз вспоминая ее насмешку.

Автобус подкатил к остановке, к разноголосице и сутолоке пассажиров. Арсен подхватил свой чемоданчик. Выйдя на тротуар, он закурил и лишь после этого зашагал по широкой улице, залитой красноватыми, нежаркими лучами солнца. Возле киоска он выпил стакан воды с двойным сиропом. У мороженщицы купил пломбир. Все же по этим привычным мелочам соскучишься, пока мотаешься в командировке.

Он шел быстро, сосредоточив все свое внимание на мороженом. Знакомый голос дошел до его сознания, скользнул мимо и вновь возник уже воспоминанием. Не только голос, но и такие знакомые слова: «А, наплевать!» Так мог сказать только Санька Пепелев. И Арсен увидел его. Он шел впереди, метрах в десяти, и вел под руку... Лилю. Это были они. Его, Санькина, черная кудрявая шевелюра, клетчатая рубаха навыпуск. Это ее, Лили, короткая золотистая прическа. Ее узкие плечи и стройные крепкие ноги. «Значит, она вернулась из командировки»,— подумал Арсен, словно это было для него сейчас самым главным. Он обманывал себя, прятался от мысли: «С тобой она так не пойдет».

Хотелось окликнуть их. Хотелось молча пойти за ними, послушать, о чем они говорят. Устыдившись этого желания, Арсен круто повернул в обратную сторону. На первом же перекрестке свернул на другую улицу.

Пусть себе идут. Пусть разговаривают. Ему-то, Арсену, что до этого? Но все же Арсен чувствовал, что эта встреча ему неприятна. С ним Лиля так не пойдет. Он не умеет вот так, в душе отмахнувшись от всего земного, сказать: «А, наплевать!»— и этим разрешить все сомнения. Санька и он — разные люди. Ей нравится Санька... Вот тебе и рыжая кукла!

Арсен остановился. Можно возвращаться. Они ушли. Но стоит ли возвращаться? Швырнув в урну растаявшее мороженое, он перешел улицу. Вот и редакция. Как всегда, едва переступив порог, он услышал голос машинистки Нины. Увидев его, она обрадованно затараторила:

— Арсен, миленький, здравствуй! Наконец-то ты приехал! Твои литсотрудники ничего не сдают, сидим без работы, а потом все сразу принесут, сиди до полуночи...

Из комнаты машинного бюро выскочила вторая машинистка Валя.

— Арсен, хочешь, когда ты в командировке, мы тебе что-нибудь свяжем. Или платок вышьем. Время есть.

Пообещав им приструнить литсотрудников и шутя заказав шерстяной свитер, Арсен пошел дальше... Несколько сотрудников попались навстречу. Здоровались, спрашивали, как съездил. Молоденькая заведующая отделом писем, щуря близорукие глаза, сказала глубокомысленно:

— Критикуй, Арсен, этих бракоделов поострее. Посмотри, что творится везде: за мясом очередь, за картошкой очередь...

— Каких бракоделов?— не понял Арсен.

— Ну, которые зерно теряют. Тут без тебя летучка была. Захаров нам говорил, что ты привезешь интересный материал.

— А-а-а. Только мяса и картошки, к сожалению, не прибавится сразу в тот день, как будет опубликован мой материал.

Приняв эти слова за шутку, заведующая отделом писем рассмеялась и хотела что-то сказать, но, испуганно округлив глаза, прошептала: «Редактор». Арсен оглянулся. По коридору шел Захаров. Высокий и плотный, с широкой улыбкой.

— Ждем, ждем тебя,— энергично, бодро сказал редактор. — Заходи в кабинет, рассказывай.

Оставив свои походные вещи в приемной, Арсен зашел в редакторский кабинет, сел возле стола. Захаров надел очки, словно хотел рассмотреть Арсена внимательнее.

— Как командировка? Удачная?

— По-моему, удачная. Только материал будет не совсем такой, какой вы ждали.

— То есть?— редактор снял очки и снова надел.— Что ты имеешь в виду?

Арсен коротко рассказал о командировке. Редактор зачем-то пошарил руками по столу, воскликнул:

— Вот как! Удивил!

Арсен знал, что он произнесет эти слова.

Но то, что произошло дальше, он не предвидел. Захаров открыл стол и достал копию докладной Краснореченского райкома комсомола обкому.

— А это что?— спросил он.— Свежая. И опять колхоз «Знамя труда» фигурирует. Это что? Вранье?

— Формально здесь все верно, но, Николай Ильич...

— Так что же ты карусель крутишь!— редактор вскочил и зашагал по кабинету. Он продолжал говорить, разрубая воздух кулаком:

— С заданием ты не справился. С положением дел не разобрался. Пошел на поводу у самого Антипина, поддался его влиянию...

Арсен нетерпеливо повернулся на стуле.

— Неправда! Разобрался! И причем здесь чье-то влияние?

— Неправда?— Захаров остановился, посмотрел на него удивленно.— Утром мне звонил Колесов, спрашивал о твоей статье. Что ему теперь отвечать? Может быть, он, секретарь обкома комсомола, знает обстановку хуже тебя?

— Может быть.

Это ошеломило редактора. Он сел за стол, не сводя глаз с Арсена, который не давал ему теперь произнести ни слова. Арсен говорил и говорил. Он рассказал, как мог, о встречах с Мигуновым, Антипиным, Тереховым, Баревичем, с женщиной-весовщицей, с Костровым и Петелиным. Правда, рассказывать красочно он не умел, но все же старался вложить в слова все свое убеждение в правоте Антипина.

Захаров внимательно слушал. Когда Арсен умолк, он снял очки, протер их носовым платком, надел. Взял с чернильного прибора ручку и снова положил на место. Наконец сказал:

— Все это похоже на правду. На две правды: формальную и истинную. Заманчивая обстановка... Но, извини, Фомин, я не верю, что секретарь райкома может учитывать только формальную правду. Не верю потому, что знаю твою склонность видеть в людях одни хорошие стороны. Знаю, как ты неохотно пишешь критические статьи. А надо, Фомин, смело с отрицательным бороться. Бороться зло, с гневом. У Ленина есть слова, что писать о вредном без гнева, значит, скучно писать. Вдумайся в эти слова. Тот, кто пишет скучно, не журналист.

Хотелось спорить, доказывать, но Арсен молчал. Он боялся, что сорвется и наговорит Захарову грубостей. В споре грубят только те, чья позиция слаба. Это положение формальной логики Арсен усвоил давно.

Захаров достал из стола какую-то бумажку, что-то написал и поставил печать.

— Вот, Фомин, возьми.

Арсен взял бумажку.

— Что это? Командировочное удостоверение?.. Снова в Краснореченск?— он недоуменно вертел удостоверение в руке.

— Да, снова. Разберись еще раз. Колесову я скажу, что продлил тебе командировку. О Баревиче забудь. Это, понимаешь, дело не проверенное.

— Но, Николай Ильич...

— Извини, брат, твои доводы не убеждают. Райком, обком, редколлегия наша не разделяют твое мнение... Поезжай только не автобусом. Садись на электричку до Булаева, а оттуда речным трамваем. Так быстрее.

В кабинет заглянула девушка-курьер, принесшая редактору оттиски полос на читку. Захаров протянул руку, давая понять, что разговор закончен.

— Поезжай, поезжай... Может быть, ты и прав, но разобраться лишний раз не мешает. Поезжай, а там посмотрим...

Не заглянув в свой отдел, Арсен вышел из редакции. В душе росла, разбухала злость. Он злился на себя, на Захарова, на Лилю, на Саньку. Что делать теперь? Что делать? Хорошо, он снова поедет в Краснореченск. Еще раз побывает в колхозе «Знамя труда». А потом? Захаров теперь уперся окончательно. Мнение обкома для него закон. Что делать? Поговорить с секретарем обкома?

Он доехал на автобусе до обкома. Вошел в приемную секретаря и чуть не столкнулся со знакомым инструктором. Тот приветственно вскинул руку и сказал:

— Ты к Александру Ивановичу? Нет его. В командировку уехал.

— Надолго?

— Дня на три.

Вот и поговорил.

Домой Арсен шел пешком. На улице было тихо. Только машины иногда взвывали моторами, подгоняя пешеходов: сигналить запрещалось. Впереди Арсена в двух шагах покачивалась чья-то авоська с хлебом. Это вернуло мысли Арсена к разговору с Захаровым.

Если в магазине всегда есть хлеб, это еще не значит, что зерновая проблема решена. Надо искать выход. Вы знаете об этом, товарищ Захаров. Да, вам известно, что у нас есть нерешенные проблемы. Но мало знать, надо понимать это, чувствовать душой и сердцем.

Невесело улыбнулся Арсен, вспомнив поговорку: «Хорошие мысли приходят на лестнице». Ведь Захаров не слышит этот безмолвный монолог. Все это надо было ему сказать. Но зато теперь Арсену стало спокойнее. Он знал, что если и побывает еще раз в колхозе «Знамя труда», так только для того, чтобы найти еще более убедительные доказательства правоты Антипина. Сделать иначе не позволит совесть.

Но какие еще доказательства нужны? Зачем же ехать?

Увидев будку телефона-автомата, Арсен вошел в нее и набрал номер Захарова.

— Николай Ильич?

— Да. Кто это?

— Фомин. Вот что... Понимаете, я все обдумал...

— Правильно.

— Короче, я не поеду в Краснореченск.

— Что?— в трубке что-то звякнуло.— Вы думаете, что говорите, товарищ Фомин? Прекратите свои анархические выходки и поезжайте!

— Нет!

— Тогда разговор продолжим в обкоме. Все!

Домой Арсен шел, весело посвистывая. Он знал, что впереди — куча неприятностей, но они отступали перед радостью за себя, за то, что совесть его осталась чистой.

НЕ СДАВАЙСЯ!

За стеной плакал ребенок хозяйки, у которой Арсен снимал комнату. Где-то скреблась мышь. У соседей магнитофон крутил итальянскую «Маруцеллу».

Все эти звуки поначалу раздражали Арсена. Потом он к ним привык. Он знал, что ребенок в конце концов уснет, мышь устанет, а в магнитофоне кончится пленка. После этого и начиналось у него рабочее время. Сегодня вечером он тоже сел за стол. Статья была почти написана. Арсен чувствовал, что получилась она интересной, убедительной. Одно дело — разговор с Захаровым. Но когда он прочитает статью, возможно, заговорит по-другому. Арсен перечитывал ее, словно слушал хорошую музыку. В его сознании рождался заключительный аккорд. Перо заскользило по бумаге, набрасывая фразу за фразой. Нет, не то. Арсен перечеркнул написанное и задумался. Он вспомнил всех, с кем встречался в командировке. Представил, как они уже читают о себе в газете и что говорят. Нет, они не упрекнут его, не посмеются над статьей. Потому что у него вошло в привычку писать о людях, видя их перед собой. Незримо присутствуя рядом, они всегда удерживали от мимолетных соблазнов написать лишнее слово. Красивое, веселое, но все-таки лишнее, какого не было в жизни.

Арсен открыл форточку. В комнату хлынул холодный вечерний воздух. Темень была густой, как пересохшая тушь. Тишина. Только скрежетал где-то трамвай да дрожали с ледяным звоном озябшие звезды. Арсен закурил. Дым папиросы закружился перед форточкой, серым шлейфом выскользнул наружу.

«Ладно,— подумал Арсен,— допишу потом». Он стал собирать бумаги.

Звякнуло кольцо калитки. Ленивый Жулька брехнул из своей конуры два-три раза. По

двору торопливой дробью простучали чьи-то шаги и затихли у двери. Кто бы это мог быть? Почему не стучится?

Арсен рывком открыл дверь.

— Кто здесь?

Перед ним стояла Лиля. Она тяжело дышала. Волосы ее были в беспорядке. Губная помада размазана по щекам.

— Что с тобой?— испугался Арсен.— Что случилось?

Она молча вошла в комнату и села на табуретку. Глаза ее неподвижно смотрели в одну точку, быстро наполняясь слезами.

Арсен не знал, что делать. В замешательстве он пнул под кровать пыльные ботинки, поправил постель.

Лиля покачала головой.

— Не суетись и не красней. Все это пустяки,— она улыбнулась сквозь слезы.— Дай лучше мне расческу и покажи, где умывальник.

Пока она умывалась, Арсен не сводил с нее глаз, ожидая, что она начнет рассказывать. Наконец Лиля снова села на табуретку.

— Я на минутку... Отдохну и пойду.

— Что случилось, если не секрет? Почему ты здесь? Ведь ты живешь в центре. Когда из командировки вернулась?

Она вздохнула.

— Глупо получилось. У знакомой была. Пошла обратно, и вдруг какой-то пьяный из-за угла... Схватил меня... Ну, я вырвалась, побежала. Я не знала, что ты приехал. Хотела во дворе переждать. Только, Арсен, в редакции никому...

— Конечно,— Арсен облегченно улыбнулся: ничего страшного не случилось.— Знать бы, кто этот пьяный.

— Зачем?

— Поблагодарил бы за такую гостью.

Глаза Лили стали обычными — насмешливыми и задорными. Она засмеялась и встала.

— До завтра. Спасибо за помощь.

— Пойдешь одна?— Арсен тоже встал.— Я провожу тебя.

— Не стоит.

Но Арсен не слушал ее. Он быстро оделся.

Они шли по выщербленному тротуару, сталкиваясь плечами. Осмелившись, он взял ее под руку. Она не противилась.

— Что нового в редакции?— спросил Арсен.

— Ты разве не был там?

— Был, но только у Захарова. И сразу ушел домой.

— Почему?

— Поругался с ним.

Лиля теснее прижалась к нему.

— Не знала, что ты можешь ругаться. Расскажи, как было.

Рядом — ее теплое женское плечо, ее дыхание. Арсен задохнулся. Ему стало хорошо до дрожи в сердце. Сбиваясь с одной мысли на другую, он стал рассказывать. О своих мыслях, радостях, сомнениях. Он не забыл ни землю после дождя, ни крепкую махорку, ни песни девчат.

Он умолк. Молчала и Лиля. Потом она крепче сжала его руку и спросила:

— А почему тебе казалось, что это я пела?

Как хорошо, что была ночь! Что не могла Лиля видеть, как Арсен покраснел. Он смутился и наперекор своему смущению сказал:

— Почему казалось? Потому, что так мне хотелось. Можешь теперь смеяться и называть меня последним остолопом.

— Не надо,— произнесла она тихо и миролюбиво.— Не стоит сейчас ругаться. Ведь я почти дома. Шагайте, Арсений Павлович, назад.

Эти полушутливые слова он воспринял как амнистию его откровению. Он запротестовал.

— Что ты! Рыцарь не может покинуть даму посреди улицы.

— Эх ты, рыцарь!— засмеялась она.— Ладно, вот мой дом. Ты выполнил свой рыцарский долг.

Они едва остановились возле серого многоэтажного здания, как сверху послышался хриплый мужской голос.

— Лиля, это ты?

— Я, папа! — она засмеялась, обращаясь к Арсену:— Старик только ушел на пенсию. Скучает.

— А кто с тобой?— снова послышался голос с балкона.

— Знакомый.

— Спроси, он имеет хоть какое-нибудь представление о шахматах?

— Имеет. Сама знаю.

— Тогда без него не приходи.

Лиля, смеясь, потащила за руку упиравшегося Арсена.

— Иди, иди... Не то мне попадет.

— Но, Лиля... Неудобно. Поздно уже.

— У, дикарь,— она смеялась и сердилась.— Учти, если не пойдешь, после этого, после этого...

— Что после этого?— Арсен остановился.

— Ничего.

Они поднялись на третий этаж. Им открыл невысокого роста старичок в вельветовой куртке.

— Какой такой знакомый?— улыбнулся он густыми морщинами.

— Не просто знакомый, а мое начальство. Завотделом Арсений Павлович Фомин.

Старик смотрел на Арсена с изумлением.

— Ишь ты, вымахал! А я-то, грешным делом, думал, что все щелкоперы хиленькие или вертихвостки вроде моей дочки...

— Папа!— строго прикрикнула Лиля.— Знакомься, Арсен, персональный пенсионер Андрей Никитич Цыганков. Бывший красный партизан, депутат и все такое...

— Лилька!— прикрикнул теперь старик.— А ремнем!

— Поздно, папа.

— Учить никогда не поздно.

Они прошли в просторную, хорошо обставленную комнату. На круглом столе, покрытом тяжелой скатерью, уже лежала шахматная доска

Лиля ушла на кухню.

— Итак, молодой человек, предоставляю вам право играть белыми.— Андрей Никитич сел к столу, довольно потирая руки.

Арсен, не думая, сделал несколько ходов. Старик заерзал на стуле от удовольствия.

— Хе-хе, молодой человек, представление о шахматах у вас довольно смутное. Ваша ладья приказала долго жить.

Арсен посмотрел на доску внимательнее. Вскоре старик снова заерзал на стуле. Но уже не от удовольствия.

— Курите?— спросил он, доставая из кармана папиросы.

Они закурили. Сизый дымок поплыл к потолку, огибая рожки пластмассовой люстры. Кто-то поставил перед Арсеном стеклянную пепельницу. Он оглянулся. Это была Лиля. Она ободряюще улыбнулась.

— Смотри, не сдавайся. Папа не любит тех, кто не любит шахматы.

Она не ушла. Ее рука легла на его плечо. Арсен застыл. Ему очень хотелось, чтобы Лиля подольше не убирала руку.

— М-да,— произнес Андрей Никитич неопределенно и сделал ход.

Арсен тоже передвинул фигуру.

— Вы с родителями живете?— спросил Андрей Никитич.

— Нет, они в совхозе живут. В Харатском районе.

— Гм, а почему вы на село не поехали после института?

— Папа, что за допрос?— Лиля нахмурила узкие брови.— Арсен еще студентом в газете сотрудничал. Ему предложили идти в штат.

— И он сразу согласился?

— Не сразу. Сельхозник был очень нужен редакции. Настояли... Вопросов больше нет?

Арсен только смущенно улыбался во время этого разговора.

— И то верно,— продолжал старик.— Жизнь, молодой человек, не сапог. Ее не наденешь только на одну ногу. И вторую обуть надо. А как получается?

— Средне.

— Ах ты, скромняга!— с неподдельным возмущением воскликнула Лиля.— Не верь ему, папа. У всех бы так было, как у него!

Она подсела к столу и, не глядя на краснеющего Арсена, рассказала, какой он хороший журналист и вообще замечательный завотделом. Арсен даже не узнавал себя в этом рассказе. Он пытался остановить Лилю, но она отмахнулась и продолжала говорить. Даже о конфликте с Захаровым не забыла.

— Дельно,— одобрительно сказал Андрей Никитич. — Если все так, как ты рассказала, надо добиваться своего. А что он за человек, этот Антипин?

— Это настоящий председатель!— воскликнул Арсен, страстно желая передать Андрею Никитичу свою симпатию к Антипину.— Вы знаете, как раньше называли колхоз «Знамя труда»? «Мы пахали» или «Знамя без труда». Первое название за то, что основную работу выполняли не колхозники, а их городские шефы. Второе за то, что жили бедно и работали лениво. Сейчас совсем не то. Поднимаются!

— Что ж, драться за хороших людей надо обязательно,— сказал Андрей Никитич.— Так же, как за плохих. Я вот с плохими дело имею. Мы, пенсионеры, организовали свой совет, суд ветеранов. И кто только не проходит перед моими глазами! Стиляги, пьяницы, гулящие девки. Мразь! А родители у них, в основном — заслуженные люди.

— Персональные пенсионеры,— задиристо вскинула голову Лиля.

— Да!— гневно сверкнул глазами Андрей Никитич.— И такое бывает. А почему? Скажите, почему?!! Для кого мы воевали в гражданскую? Для кого ногти на пальцах срывали, когда строили мосты? Те мосты, на которые теперь всякая шваль идет «прошвырнуться»! Это нас, стариков, тревожит: кто будет пользоваться плодами наших трудов! Стоющие люди или оболтусы?

— Стоющие.

— А?— Андрей Никитич внимательно глянул на Арсена.— Стоющие? Где гарантия? Где она, если даже для родной дочери слова «красный партизан» и «депутат»— это только лишь «все такое». Черт те что!

— Так ведь не так уж много у нас оболтусов. И в ваши годы они были. Еще больше,— Арсен деликатно пропустил мимо ушей замечание о Лиле.

— Да, эти годы — ваши,— печально покачал головой Андрей Никитич.— И опять же правильно, что в наши годы оболтусов было больше. Только другой масти. Но мы им спуску не давали!

— И мы не дадим,— убежденно сказал Арсен.

— Может быть,— вздохнул Андрей Никитич.— Сложная штука жизнь.

— Как эти ваши шахматы,— Лиля нарочно это сказала, чтобы отвлечь отца от серьезного разговора. И старик поддался несложной хитрости.

— Жизнь, как шахматы,— согласился он.— Сделаешь неправильный ход, и она тебе сразу — шах и мат.

Они продолжали игру. Арсен зазевался, и Андрей Никитич ловко снял его ладью.

Арсен развел руками.

— Теперь явная ничья.

Старик подумал.

— Верно, ничья. Ты смотри!.. Куда, куда?..

Последние слова относились к Арсену, который встал.

— Куда это вы? Раз ничья, будем играть еще раз.

Лиля одними глазами сказала: «Играй».

Они снова расставили фигуры. В это время Арсен увидел Лилину мать. Она остановилась в двери, не переступая порог комнаты. С безмятежным лицом верной жены и доброй матери, полная и вся какая-то чистая, она поздоровалась с Арсеном и сказала:

— Вы молодцом. Не давайте спуску нашему деду. А то все ему нынче не так. На коня бы ему да шашку наголо.

Андрей Никитич поморщился.

— Будет тебе. Не мешай нам играть.

— Играйте поживее. Ужинать будем. Гостя-то голодом заморишь.

Арсен запротестовал.

— Что вы! Я ужинал, спасибо.

— Не видели. Не знаем. А так не отпустим,— она, не слушая больше возражений, вышла.

Лиля торжествующе улыбнулась: «Что, попался?» — и убежала на кухню помогать матери.

Вторая партия развивалась быстрее. Противники усиленно курили и строили друг другу козни на шахматной доске.

— Вот так,— сказал наконец Арсен,— будет шах и мат.

Сердито нахмурив брови, Андрей Никитич повертел в руке своего короля. Ни одного спасительного хода не было.

— Эх ты, коронованный,— засмеялся он.— Кончилось твое владычество.

Снова появилась хозяйка. Видя, что Арсен поглядывает на дверь, она погрозила ему пальцем.

— Не вздумайте, если не хотите, чтобы мы рассердились.

— Да, да,— поддержал ее Андрей Никитич.— Мне сердиться, например, нет смысла. Надо же отыграть этот мат.

Пришлось Арсену остаться. Вскоре он, смущенно опустив глаза, орудовал ножом и вилкой. Если бы он мог, то сказал бы сейчас с чувством: «Проголодался же я — чертовски!» Но он смущался и молчал. Заметив это, Лиля рассмеялась.

— Чего ты притворяешься? Небось в командировках не так приходится.

— Нет, я ничего,— Арсен попытался есть непринужденно, сбросить с себя скованность. Кажется, в некоторой степени ему это удалось.

Андрей Никитич, подзакусив немного, разговорился. Обстановка сблизила его с Арсеном, и он перешел на «ты».

— Играешь ты, Арсений Павлович, здорово. Вот приходил к нам Пепелев, ваш же работник, тот не так...

Лиля покраснела. Арсен снова уткнулся в тарелку. А старик, ничего не замечая, продолжал:

— Правда, играет он хорошо, но не любит думать над ходами как следует. Иной раз так сходит, что и сам потом удивляется.

После ужина Арсен распрощался со всеми. Лиля вышла вместе с ним. Они спустились в неосвещенный подъезд. Остановились. Арсену хотелось спросить о Саньке. Зачем он здесь бывал? Почему она сегодня шла с ним?

— До свидания,— сказала Лиля.— Иди, а то уже поздно.

Немного помедлив, он крепко пожал ее руку.

— До завтра.

— Да. Смотри... не сдавайся. Теперь уходи. Не говори больше ни слова. Я чувствую, что ты хочешь что-то спросить. Не надо. Может быть, я сама расскажу. Только не сейчас. Не обещаю твердо, но, может быть, расскажу. Иди...

Отойдя немного, Арсен остановился, прислушался. В подъезде было тихо. Он хотел уже вернуться, но вдруг услышал Лилин голос.

— Иди же, Арсен... Иди!

Вслед за этими словами по лестнице застучали ее быстрые шаги.



Н. В. Шабалин. После дождя. Памятник В. И. Ленину.



В. В. Тетенькин. Десятиклассник Миша Голубев.

* *
*

В машинное бюро, где Арсен просматривал материалы сотрудников отдела, заглянула ответственный секретарь, маленькая, полная девушка в годах. «Пожилая девушка», как ее называли ребята. Она запыхалась от волнения и быстрой ходьбы.

— Фомин... Я тебя ищу, ищу...

— В чем дело?

— Захаров вызывает. Ну, друг, не завидую тебе. Злой, как бык. Ух, и характерец у тебя! Любишь дразнить его красным.

В кабинет редактора Арсен входил подобранный, готовый к схватке. Он напряженным, почти строевым шагом подошел к его столу.

— Николай Ильич, я заявляю...— Арсен умолк, встретив спокойный, миролюбивый взгляд.

— Сядь,— сказал Захаров отеческим тоном.— Ерш ты, Арсен, настоящий Ерш Ершович. И это хорошо... Вот что. Мы здесь посовещались и решили, что, пожалуй, посылать тебя во второй раз в Краснореченск не стоит. Действительно, неудобно тебе появляться там снова по тому же вопросу. Но что делать? Обком ждет статью.

Не ожидавший такого разговора, Арсен выпалил первое, что пришло на ум:

— Помещайте мою статью. Почитайте хоть ее...

— Перестань, — Захаров закрыл припухшие веки. — Кто нам это разрешит? Надо искать выход.

— О выходах я не думал. Он один...

— Вот видишь, не думал. Может быть, лучше вообще помолчать пока о колхозе «Знамя труда»?

Это единственное, очевидно, чего хочет Антипин. Черт с ней, со статьей! Лучше ничего людям не делать, чем делать гадости.

— Выход не из лучших,— сказал Арсен,— но на худой конец можно помолчать.

Захаров заговорил строже, с официальными нотками в голосе.

— Хорошо. Время покажет. А ты сейчас же, на редакционной машине, поезжай в колхоз Дзержинского. На птицеферме там интересные дела...

Несколько дней Арсен прожил в колхозе имени Дзержинского. Там, действительно, были интересные дела. Но, радуясь рекордам куриц-несушек, Арсен никак не мог забыть последний разговор с Захаровым. Что-то он недоговаривал. Но что? Догадаться Арсен не мог. От разговора, обрадовавшего сначала, остался тревожный осадок. Ни в каких заботах не удавалось растворить этот осадок. Никакие удачи не помогали избавиться от него.

Так, тревожась о чем-то неясном, Арсен прожил несколько дней.

ЧТО ТАКОЕ СВИНСТВО

В редакции еще никого не было. Пахло вымытыми полами. Арсен отомкнул дверь своего отдела. Здесь все было, как вчера, как месяц назад. Столы походили на ящики с макулатурой: уборщице запретили трогать бумаги после того, как она выбросила очень важную рукопись. А вот новое. На стене появился плакат. Арсен подошел к нему. Мужская рука держала сберегательную книжку. Над стихотворным текстом кто-то приклеил портрет Бориса Мануйлова. Арсен прочитал стихи.

Открыл себе в сберкассе счет.
Мой вклад лежит на этой книжке!
Теперь надежно, без хлопот,
Храню на ней свои излишки.

Арсен невольно улыбнулся и глупости стихов, и тому, что над ними портрет Бориса. Того самого, который обладает удивительной способностью не иметь денег уже на следующий день после выдачи зарплаты и гонорара.

В коридоре послышались шаги. В редакции начинался рабочий день. Обычный день. У Арсена было такое чувство, что и в его жизни все так, как было месяц назад. История с потерями прошумела и затихла. Теперь она мало касалась газеты. Пусть даже пропадет статья, но об Антипине он, Арсен, забывать не собирается. Надо подождать решения бюро райкома и, если оно будет не в пользу Антипина, идти в сельхозотдел обкома партии. Теперь это уже долг коммуниста, а не только газетчика.

Арсен сел за статью о птичницах.

Вошла Лиля. Арсен поздоровался с ней и почувствовал, что краснеет. Он склонился над столом.

— Арсен,— Лиля села за соседний стол напротив.— Захаров посылал в Краснореченск Пепелева. Как только ты уехал. Вчера Пепелев вернулся. Говорит, что будет критиковать Антипина.

Вот оно! Вот что недоговаривал Захаров! Он отослал меня, чтобы я не мешал Пепелеву. Дешевый прием. И низкий. Но причем здесь она, Лиля? С непонятным для самого себя раздражением Арсен посмотрел на нее.

— Что же ты?— Лилю беспокоило его молчание. Пугал сердитый взгляд.

— Зачем ты говоришь мне об этом?

— Думала, эта новость разбудит тебя. Ты же, я вижу, успокоился. Но если тебя это больше не волнует...

Что же вызвало раздражение? Это явное и неуловимое сходство ее с Пепелевым? Глупости. Просто новость оглушила. А раздражение... Нет, не она, а эта новость всему причиной.

Удивленная его молчанием, Лиля отошла к своему столу.

— Ты права,— тихо произнес Арсен.— Ты на меня не обижайся. Меня все это очень волнует, но пороть горячку я больше не буду. Подожду статью Пепелева.

В коридоре послышались голоса Саньки и Захарова. Они оба зашли в отдел. Впереди Захаров, за ним Санька.

— Вернулся?— поднял белесые брови Захаров.— Так. Хорошо.

«Сейчас пригласит в кабинет. Все объяснит». Но Захаров ушел, не сказав больше ни слова. В тот день он так и не вызывал к себе Арсена.

Санька, когда Захаров ушел, шумно поздоровался с Лилей и Арсеном, со смехом спросил:

— Что, паря, будет яичко золотое?

— А у тебя? Золотое?

— Еще бы. Материал уже на машинке.

— Ну-ну, посмотрим.

Насмешливо хмыкнув, Санька вышел из отдела. Через минуту дверь снова распахнулась. На пороге стоял с чемоданчиком в руке Борис Мануйлов.

— Ты откуда?— спросил Арсен дружелюбно.— Какие ветры тебя гоняли?

— Ангарско-енисейские... Здравствуй, друг.

Подойдя к Лиле, Борис протянул руку с шутливо-умильной улыбкой.

— Здравствуй, Лилия, о цветок нашего здорового коллектива, о заря моего сердца!

Хмурая Лиля попыталась улыбнуться.

Повесив плащ и бросив в угол чемоданчик, Борис начал было весело рассказывать о своих дорожных приключениях, но потом вдруг замолчал. Он увидел плакат.

— Остряки!— воскликнул Борис смущенно, срывая фотокарточку, а потом весь плакат.

«Надо было сорвать до его прихода»,— подумал Арсен, а вслух сказал:

— К четвергу подготовьте наметки плана на будущий месяц.

— Ладно,— буркнул Борис.

Лиля кивнула.

И снова в комнате тишина. Только слышно было, как шуршали перья по бумаге да за стеной кто-то из отдела пропаганды и агитации надрывался, вызывая по телефону дальний район.

Осторожно открылась дверь, и в комнату робко, боком, вошел верзила лет двадцати. Начинающий внештатный корреспондент. Юнкор. Тихонько пробравшись к столу Арсена, он с могучим вздохом сказал:

— Не выполнил я ваше задание.

— Какое?

— По автоматам-то.

— А-а-а,— Арсен вспомнил, как поручал парню для проверки его способностей написать заметку о том, что автоматы газированной воды в городе зачастую не работают.— В чем же дело? Почему не выполнил?

Голос юнкора стал плачущим.

— Так ведь я несколько дней обходил все улицы, сады и скверы. И везде автоматы работали.

— Надо же!— удивился Арсен, строго глянув на улыбавшихся сотрудников отдела: он сам с трудом сдерживал улыбку.— Вот не повезло! Ну, ничего, сходи тогда на завод...

Дав юнкору новое задание, Арсен склонился над статьей. Но его внимание снова отвлекли: за стеной послышались громкие нестройные голоса. Можно было подумать, что там какие-то люди стараются перекричать друг друга.

В комнату вбежал Санька с отпечатанной статьей в руке.

— Слышите?— с восторженной улыбкой кивнул он в сторону шума.— Умора! Пятнадцать штук богомольных старух атакуют нашего Мишу за фельетон о попе Амвросие. Неправда, говорят, что он спекулировал свечками. Бог покарал бы его...

Видя, что его сообщение особого интереса не вызвало, Санька сел за стол. Весело посвистывая, он стал вычитывать статью.

Арсен с безотчетной завистью следил за ним. Он завидовал Санькиному умению работать при любом шуме, в любой обстановке. Вот у него беззвучно зашевелились красивые полные губы: пересчитывает строчки. Склеил листы. Расписался.

— Почитаешь?— спросил он, подавая статью небрежным жестом.

Молча взяв статью, Арсен заметил, что Лиля и Борис не спускают с него глаз. Спокойно! Главное, спокойно прочитать от первой до последней строчки. Санька не должен видеть, что я злюсь.

Корреспонденция называлась «Упрямые тезки». Какие еще тезки? «Есть в колхозе «Знамя труда» два Михаила — Антипин и Терехов. Один председатель, другой бригадир...» Ах, вот в чем дело!

Вчитываясь в статью, Арсен все яснее видел «белые нитки», которыми она была сшита. Формально все верно. Действительно, Терехов теряет зерно. Но этот факт подан без сравнений с результатами жатвы старым спосо-

бом. Без упоминания новшеств, введенных в этом колхозе. Никаких расчетов, доказательств.

— Это, Саня, сырое яйцо без скорлупы. Расплывчато. Туманно,— сказал Арсен, возвращая статью.

В черных глазах Саньки сверкнул насмешливый огонек. Пожав плечами, он сказал:

— Бывает. Небезызвестный тебе товарищ Гете говорил, что когда кто-нибудь жалуется на непонятность, туманность вещи, следует еще посмотреть, в чьей голове туман: у автора или читателя.

— Вот ты и начни просмотр со своей головы.

Глаза Саньки зло сощурились. Взяв свою статью, он криво усмехнулся.

— Тебе досадно, что твой материал забраковали? Понимаю, и я бы на твоем месте грыз ногти. Все-таки лишняя десятка...

— Дурак!— пренебрежительно усмехнулся Арсен.

Став одной ногой на стул, Санька картинно облокотился на колено, зачастил:

— Знаю, знаю! Ты пишешь во имя великих идей. Во имя справедливости на земле. Тобою движет не материальный стимул, а моральный. Так же как и этим товарищем,— он протянул руку в сторону Мануйлова.

— Что ты этим хочешь сказать?— посмотрел на него исподлобья Борис.

— Да то, что садясь за материал, ты прежде всего думаешь, сколько за него дадут, будет ли довольна жена. Думаешь, как все.

— Врешь!— воскликнул Борис. Добавил с горечью:— Пакостная душа у тебя, Санька.

— Может, будешь отрицать, что жена караулит тебя в день зарплаты и забирает деньги?

— Тебе-то что!— вскинулся Борис.— Это мое личное дело.

Санька распалился еще больше.

— Ах, личное! И мое мнение — личное дело! Как я написал статью — мое личное дело. Что я думаю о тебе — мое личное дело.

— Хватит!— сказал Арсен резко.— Хватит, Санька, заглядывать в чужие кастрюли и замочные скважины!

— Хватит!— крикнул и Санька.— Хватит меня поучать, как мальчишку! Материал ты можешь не подписывать. Это и не нужно. Редактор сказал, чтобы я сразу нес ему. Он подпишет.

Схватив свою статью, Санька выбежал из комнаты, так и не услышав брошенное ему вдогонку Арсеном: «Са-ра-ко-тик!»

Снова тишина. Но теперь не шуршали перья. Все напряженно думали. Арсен отвернулся к окну. Борис уткнулся в газету. Лиля прикрыла глаза ладонью.

Услышав всхлипывание, Арсен обернулся.

— Лиля, ты что?

— В чем дело?— спросил Борис.— Из-за каждого гада расстраиваться...

— Молчите вы!— с отчаянием выкрикнула Лиля и метнулась к двери.

Выбежать ей не удалось. Дорогу преградил Санька. Войдя в комнату, он обвел ребят осуждающим взглядом.

— Ну вот, человека до слез довели. Успокойся, Лили, это же черт знает что!

Лиля отстранила его рукой. Открывая дверь, она оглянулась, посмотрела на Саньку и сказала:

— Это не черт знает что. Это свинство!

И выбежала.

Недоуменно пожав плечами, Санька пошел к своему месту, полистал блокнот и набрал на диске телефона какой-то номер.

— Вера?— спросил он.— Привет, крошка... Ну как? В пятницу? В семь?.. Идет. Да, там же. Пока.

Положив трубку, он отыскал на перекидном календаре пятницу и что-то записал.

— Боишься забыть, которой назначил свидание?— хмуро спросил Борис.

— Мое личное дело,— ответил Санька с презрительной улыбкой.

Значит, статью он уже отнес редактору. И она появится в газете.

Арсен решительно встал. Ни на кого не глядя, вышел из комнаты. Не замечая, что за ним напряженно следят сотрудники других отделов, он крепко сжал ручку двери с табличкой «РЕДАКТОР» и рванул на себя.

Захаров глянул на него из-за стола с недоумением.

— Ты что?

— Николай Ильич...— От волнения Арсену трудно было говорить.— ...Николай Ильич, верните Пепелеву статью.

— Что?— Захаров вскочил и подался вперед, опершись руками о стол.— Да вы что! Вы, Фомин, вы...

Не договорив, он схватил ручку и размашисто, крупно подписал статью.

— Все! Митинговать нечего. Все!

— Нет, не все!— крикнул Арсен.

Вернувшись в отдел, он заказал срочный разговор с Антипиным. Вскоре раздался настойчивый звонок междугородной.

— Колхоз?— закричал Арсен в трубку.— Правление?

— Ну,— ответил чей-то флегматичный голос.— Чего кричишь-то? Не глухие, поди.

— Кто это?

— Счетовод правления.
— Труфанов?
— Он самый. А кто спрашивает?
— Фомин. Из газеты... Ну, приезжал к вам на днях...
— А-а-а,— голос счетовода потеплел.— Не забываете нас?
— Не забываю... Я с Антипиным хотел поговорить.
Трубка закашлялась. В голосе Труфанова снова пропала теплота.
— Нету Васильича. В поле. С жаткой возится.
— Потери?
— Ну. Леший бы их побрал!..
— Ладно, тогда все.
Зло отодвинув телефонный аппарат, Арсен оглянулся. Что это? Почти вся редакция собралась в комнате.
— Ну?— произнес кто-то.
Арсен отвернулся.
— Плохо.
Виновато пряча глаза, медленно расходились сотрудники по своим комнатам.

НОВАЯ БЕДА

На следующее утро Арсен пришел в редакцию за два часа до начала рабочего дня. Хотел поработать в тишине до прихода сотрудников. Он прошел в приемную, где висели ключи от комнат. Его внимание привлек непонятный шум в редакторском кабинете. Арсен замер. Кто-то с грохотом передвигал стулья, надрывно кашлял. Уборщица? Но кашляет мужчина. Редактор! Вот это кстати. Сейчас, без лишних свидетелей, высказать ему все, что накипело на душе.

Открыв дверь, Арсен хотел было спросить разрешения войти, и застыл в такой позе. Редактора в кабинете не было. У стола стоял, сладко потягиваясь, Борис Мануйлов. Без пиджака, с растрепанной шевелюрой, он походил на только что проснувшегося человека. Его коричневый пиджак лежал на диване, поблескивая университетским значком. В углу, на телевизоре, бодро тикал будильник. «Откуда здесь будильник?»— подумал Арсен мимоходом, но спросил о другом.
— Ты что так рано пришел?
— А ты?— безмятежно улыбнулся Борис.
— Ночевал здесь, что ли?
Борис помялся, закурил, ответил нерешительно.
— Ночевал. Материал вчера долго писал. Мне же, сам знаешь, домой далеко ехать,— он надел пиджак и сунул будильник в карман.
— Карманные? Всегда с собой носишь?
Борис не ответил.
— Что же ты молчишь?.. Ладно, иди умойся. Поговорим в отделе.
«Что-то у него дома стряслось»,— подумал Арсен.
Борис, умытый и причесанный, пришел в отдел. Он даже улыбнулся, увидев, что Арсен следит за ним с недоверчивым вниманием. От этой улыбки Арсену стало не по себе. Она была робкой, так не идущей этому сильному парню. Сутулясь и пряча глаза, Борис снова закурил.
— Брось папиросу! — властно сказал Арсен.— Черт ты этакий! Голодный, наверное, как волк, а дымишь. Пойдем завтракать!
Он взял его за руку. Борис не тронулся с места.
— У меня, понимаешь...
— Знаю. Все деньги на сберкнижке.
— И ты?..
— Нет, Боря, я не смеюсь. Шучу. Пойдем, у меня есть деньги.
Обреченно пожав плечами —что поделаешь!— Борис поплелся за Арсеном. Они зашли в ближайшее кафе, взяли завтрак и, стоя, принялись опустошать тарелки.
— А ты тоже на волка смахиваешь,— улыбнулся Борис, увидев, что у заведующего отделом аппетит отличный.
— Угу. Мне простительно: холостяк.
Борис нахмурился и больше не сказал ни слова. Позавтракав, они прошлись по центральной улице, свернули к скверу.
— Посидим,— предложил Арсен.
Сели на скамейку. Закурили.
— Ну, Боря, рассказывай откровенно. Я же не детектив.
Нахмуренный лоб Бориса бороздили морщинки. Сбив пальцем пепел с папиросы, он кашлянул.
— Ничего интересного я не могу рассказать.
— Почему ночевал в редакции?
— Не нашел еще квартиру. Везде отказывают. Часто в отъезде, не будет от меня никакого проку по хозяйству.
— Постой, постой... А жена как же?
— Нет у меня жены.
От этих слов Арсен поперхнулся дымом. С трудом произнес:
— Брось... шутить... Тебя серьезно... спрашивают.
— Я и отвечаю серьезно.
— Но ты ведь был женат. Все знают об этом.
— Да, был. Целый год.
— Разошелся?
— Ушел. Несколько дней назад.
— Почему?

Борис швырнул окурок в урну.

— Трудно, Арсен, это объяснить. То, что сам знаешь сердцем, не всегда передашь словами. Как тебе объяснить... Не броский я, обычный... Такие не в ее вкусе. Она любит жить весело. Ну, терпела, а потом плюнула на меня. Я в командировку, а ее знакомые — к ней, и — гулянки до утра. И я терпел, терпел — и тоже плюнул. Да, я ревновал ее к друзьям! Ты еще не испытывал настоящего чувства ревности. Мужья в этом отношении особенно злостные эгоисты. Читай мне тысячу лекций на тему: «Ревность — пережиток». Прощать предательство не могу. Ведь это предательство, когда человек свою любовь превращает в ложь. Нет любви — не надо лгать. Надо сказать честно. А кроме того, друзья ее... Посмотрел бы ты — пижоны безмозглые. Гнусность! Но, по ее мнению, я по сравнению с этими пижонами — серятина. Обыкновенный петит на низкосортной бумаге. Так она сказала, когда я уходил.

Борис отвернулся. Арсен досадовал на себя. Не стоило, может быть, допытываться. Он понял, как трудно было Борису рассказывать о своем несчастье. Очень трудно, даже если и жгла необходимость поделиться с кем-то гнетущей тяжестью.

Электрические часы над сквером показывали без десяти девять. Скамейки все гуще заселялись отдыхающими. Вокруг отцветшей клумбы бегали дети, гремя игрушечными грузовиками. По улице бесконечным потоком шли люди: спешили на работу. Они только что вышли из квартир, попрощавшись с родными: муж с женой, жена с мужем. Вечером они снова встретятся и никто из них не будет знать, что живет рядом с ними человек, которому не с кем прощаться по утрам и вечером никто его не встретит. На всех свою беду не поделишь. Так, видимо, думал Борис и поэтому молчал до сих пор.

— Ах, Боря-молчальник!— вздохнул Арсен.— Где она работает?

— В ювелирном магазине.

— А живет?..

— Зачем тебе? Сходить хочешь?

— Может быть.

Оторвав листок из блокнота, Борис написал адрес.

— Только, Арсен, вряд ли из этого что получится. С ней разговаривать трудно.

— Посмотрим... Что, фамилия у нее не твоя?

— Не захотела менять. Да, ты сегодня не ходи. По четным числам она не работает. А домой... не стоит.

До обеденного перерыва Арсен сидел над корреспонденцией. Писалась она с трудом. Из головы не выходил разговор с Борисом. Хотелось поскорее отправиться к его жене. Поскорее все уладить. Убедить ее, что менять хорошего парня на каких-то гуляк — дурость, о которой она потом будет жалеть.

Дописав статью, Арсен встал.

— Обедай без меня, — сказал он, незаметно сунув Борису в руку деньги. — Молчи, молчи...

Склонившись к Лиле, он прошептал:

— Выйди, поговорить надо.

Она вышла в коридор.

— Во-первых, — начал Арсен с напускной строгостью, — поклянись сохранить в тайне то, что я сейчас скажу.

— Клянусь.

И Арсен рассказал все, что узнал от Бориса. Лиля не поперхнулась так, как Арсен, когда услышала поразительную новость. Зато ее голубые глаза потемнели, сузились, как от яркой вспышки, крепко сжались сочные пунцовые губы.

— Боже мой! — прошептала она. — И Пепелев смел насмехаться над ним! Как же мы не знали ничего до сих пор?

Она горестно поникла, прислонившись к стене.

— Что же делать, Арсен? Надо ему как-то помочь.

— Я и хотел тебя просить...

— Говори, я все сделаю.

— Пойдешь к ней? Со мной? Одному мне разговаривать с ней будет трудно.

— Я сделаю все для Бориса.

— Спасибо, Лили.

Она посмотрела строго.

— Не называй меня так.

— Спасибо, Лиля.

— Это другое дело... Так когда пойдем?

— Сейчас. Минут через пятнадцать.

Арсен вернулся в отдел и спешно стал читать новые письма, делая на них пометки: «Мануйлову», «Пепелеву», «Цыганковой». Некоторые откладывал для себя.

Борис ушел обедать. Пепелев дежурил по номеру в корректорской. Захаров почему-то не вызывал. «Странный бойкот, — недоумевал Арсен. — Хотя бы отругал или пригласил в обком».

Перечитав письма, Арсен бросил их в стол.

— Все!

— Пойдем? — Лиля тоже стала складывать бумаги.

На автобусной остановке было столько народу, что Арсен махнул рукой и остановил свободное такси. Когда белая «волга», мягко

шелестя шинами, помчалась по асфальту, Лиля придвинулась к Арсену. Ее глаза смеялись.

— Вот ты какой! — прошептала она. — Я и не знала, что ты умеешь катать девушек на такси.

— Служебная необходимость, — ответил он с легкой улыбкой.

Но эта улыбка далась ему нелегко. Его обожгло близкое дыхание Лили, и страшно захотелось не по «служебной необходимости», а просто так ехать с ней в бесшумной машине далеко-далеко. Чтобы, кроме них, никого не было. Чтобы они не боялись друг друга и дыхание у них было одно.

Арсен подумал об этом, как о счастье, и даже сжал зубы от мысли, что эта мечта так несбыточна.

Словно угадав, что волнует его, Лиля погасила улыбку и отодвинулась. Мимо мелькали дома и домишки. Улица Байкальская ровной лентой асфальта резала старые кварталы.

— Вот здесь, налево, — сказал Арсен шоферу.

Машина подкатила к одноэтажному каменному дому с закрытыми ставнями. На массивных лиственничных воротах белела металлическая дощечка с нарисованной мордой овчарки и надписью: «Осторожно, здесь злая собака».

— Ставни закрыты, — сказал Арсен с сожалением. — Видимо, ее нет дома.

— Постучим на всякий случай, — предложила Лиля.

Осторожно приоткрыв калитку, Арсен заглянул во двор. Собаки не было видно. Он постучал кулаком по калитке, надеясь, что собака все-таки услышит их и поднимет шум. Нет, не лает. Тогда Арсен смелее шагнул во двор и огляделся.

— Вот гады!— воскликнул он в сердцах.— Нет у них никакой собаки!

Они поднялись на крыльцо и постучали. Тишина. Арсен со злостью пнул носком ботинка дверь и повернулся, чтобы уйти. За дверью послышались шаги и лязг засова. Выглянула, прикрывая грудь пестрым халатом, молодая миловидная женщина. Ее заспанные глаза недоуменно остановились на Арсене. Она. Арсен сразу узнал жену Бориса, хотя видел ее давно.

— Вам кого? — спросила она.

— Суворину Веру Андреевну. Это вы?

— Да, это я... Проходите, то есть... подождите минутку, я оденусь.

Она скрылась. Снова лязгнул засов.

Арсен обернулся к Лиле и осекся от изумления. Лиля стояла, обессиленно прислонившись к перилам. Ее лицо побелело до неузнаваемости. Посеревшие губы пытались что-то шептать.

— Ты что? — испугался Арсен. — В чем дело, Лиля?

Она замотала головой, с трудом произнесла:

— Она знает меня. Я за углом... подожду, — и опрометью кинулась к воротам.

Ничего не понимая, Арсен потоптался на крыльце. Конечно, он и сам может поговорить с Сувориной, но почему Лиля так взволновалась, увидев ее? Может быть, догнать ее, вернуть? Сделать это он не успел. Суворина снова выглянула. На этот раз напудренная и причесанная, в узком голубом платье.

— Прошу вас.

У нее была приятная улыбка. Это Арсен сразу заметил и подумал: «Ее улыбку, наверное, любил Борис».

Через кухню они прошли в просторную комнату с темными окнами. Горел электрический свет.

— Прошу прощения. Посидите еще минутку. Я открою ставни, — и снова очаровательная улыбка.

Оставшись один, Арсен стал разглядывать комнату. Она была чисто прибрана, но сразу бросалось в глаза обилие всяких вещей. Комод, шифоньер, диван, тумбочка, зеркало на комоде, зеркало во всю высоту шифоньера, пестрые дорожки на полу, густые тюлевые шторы на окнах, шелковый абажур под потолком — все разноцветное, разностильное. Дорогое и дешевое. Как в комиссионном магазине.

В довершение всего, когда были открыты ставни, Арсен увидел на комоде груду безделушек, семейство слонов, серьги со стеклянными вставками, статуэтки полумужчин-полуженщин и многое другое. На столе лежала пачка сигарет. О вкусах и интересах Сувориной Арсен мог теперь судить совершенно твердо.

Он прислушался. Показалось? Нет, вот снова кто-то в спальне чиркнул спичкой. За тонкой перегородкой скрипнула кровать.

Когда вошла хозяйка, он глянул на нее с неприязнью. Видимо, заметив это, она перестала улыбаться и сжала тонкие накрашенные губы. Села с противоположной стороны стола.

— С вами была какая-то девушка?

— Ваш дом показала. Она ушла.

— А-а-а... Слушаю вас. Где-то я вас видела? Вы...

— Да, я работаю вместе с вашим мужем.

— Слушаю вас.

— Помните, я узнал, что он... То есть, что вы...

Ее брови высокомерно дернулись.

— Понимаю. Жаловался?

— Нет, наоборот, скрывал. Случай мне помог...

Она нервным движением схватила сигареты, с трудом, ломая спички, прикурила.

— Так чего же вы хотите?

Черт побери, и зачем Лиле понадобилось убегать? Отдувайся теперь один, а эта особа настроена, кажется, вовсе не миролюбиво.

— Чего я хочу? — Арсен повертел в руке сигареты. На коробке была нарисована морда овчарки, такая же, как на воротах. — Понимаете, я часто задумываюсь над таким вопросом. Вот собака. Друг человека. На ваших сигаретах так и написано: «Друг». Почему у людей иногда так бывает: для себя они хотят иметь друга, для других — злую собаку?

— Детский вопрос,— Суворина насмешливо пыхнула дымом. — Потерпите чуток, самую малость. При коммунизме не будет злых собак.

— Это верно, — Арсен заметил иронию в ее голосе, но продолжал говорить спокойно. — При коммунизме и злых людей не будет. Придет такой день...

— Слава богу, до этого дня еще далеко!

Что это, поза или она смеется над ним?

— Почему же слава богу?

Суворина стряхнула пепел с сигареты в разинутую пасть фарфоровой рыбы. Сказала отчужденно:

— Скука будет. А поэтому никогда не будет того, чего вы ждете.

— Скука? Ну уж, позвольте!..

Арсен начал горячиться и хотел было выложить кучу доказательств своей правоты, но Суворина охладила его одной фразой:

— Вы такой же фанатик, как и Борис.

— Разве это фанатизм? — Арсен откровенно рассмеялся, представив себя фанатиком. — Это убежденность. Разве стремление к лучшему?..

— О, Борис мне много обещал! Я буду все иметь, я не буду, высунув язык, бегать по магазинам, чтобы достать туфли на «гвоздиках». Я не буду ходить в потертой шубе, потому что можно будет бесплатно взять новую. Я не буду стоять в очереди за продуктами... И все это через двадцать — тридцать лет!

Суворина расхохоталась злобным, сухим смехом.

— Через двадцать лет, когда мне будет пятьдесят! Когда мне нужны будут другие гвоздики — для гроба. А я сейчас хочу иметь все! Сейчас! За это желание Борис называл меня мещанкой, обывательницей. И вы, может быть, так назовете. Но почему? Почему стремление к человеческим благам мещанство? Ведь, по существу, самые красивые идеи, самые лучшие планы — это обещание каких-то благ. Почему же тогда откровенное желание благ — мещанство?

Внимательно, молча слушал ее Арсен. И она, не встречая ни отпора, ни поддержки, говорила с возрастающим раздражением, с крепнущей уверенностью в своей правоте. И чем больше она верила себе, тем яснее становилась Арсену.

— Действительно, — тихо произнес он, когда Суворина замолчала. — Вы, действительно, мещанка, потому что хотите получить не по заслугам. Хотите только для себя. Вам наплевать на других.

Она вызывающе тряхнула короткими кудрями.

— Да, наплевать! И что же?

— И, значит, никогда не будете иметь то, чего хотите — радости. Вы можете развеселиться от доброй дозы коньяка, но настоящей радости вы никогда не узнаете.

— Ерунда! — она снова расхохоталась. — Ну, насмешили! Я знаю, по-вашему, радость в том, чтобы гнуть горб на других. Благодарю покорно!

Арсен встал. Суворина забеспокоилась.

— Куда же вы? — только что зло кривившиеся губы растянулись в очаровательной улыбке. — Мы, кажется, отвлеклись. Ну их, эти споры! Так о чем вы хотели говорить со мной?

— Мы уже поговорили. Прощайте!

Он вышел из дома, не услышав больше ни одного слова от Сувориной. Она так и осталась сидеть за столом с погасшей сигаретой в руке.

Выйдя на улицу, Арсен остановился, внимательно посмотрел на только что оставленный дом. Богатый, самоуверенно пяливший окна на весь мир. Он походил на свою хозяйку, жаждущую материальных благ и не замечающую своей душевной нищеты.

Шагая к перекрестку, Арсен вспоминал все, что говорила Суворина, чтобы передать Лиле.

Но за углом Лили не было.

Доехав на автобусе до редакции, встревоженный Арсен кинулся в свой отдел. Там сидел один Борис. Он сказал, что после обеда

Лиля не приходила и вообще он не знает, кто за нее будет давать «шапку» к полосе.

— Ты или я, — задумчиво буркнул Арсен.

Борис развел руками.

— Ясное дело. Секретариат с нас все равно не слезет. Ладно, подумаю.

Арсен осторожно тронул его за плечо.

— Боря, я был у твоей... У Суворинной.

Борис вскочил.

— Что? Говори!

Арсен отвернулся.

— Знаешь, Боря, в моей комнате поместится еще одна кровать. Приходи.

Борис сел. Несколько минут он молчал, глядя в окно. Потом сказал жестко:

— Так. Все ясно... Спасибо, Арсен, я приду к тебе.

Он вышел из отдела.

СО ЩИТОМ И НА ЩИТЕ

Когда Борис ушел, Арсен отыскал в справочнике номер Лилиного квартирного телефона и позвонил. Протяжные гудки следовали один за другим. Никто не отвечал. Еще несколько раз он пытался дозвониться, но по-прежнему безрезультатно.

Из редакции Арсен ушел поздно. Он не заметил, сидя в помещении, как здания города укутались густыми тенями, как эти тени растворились в сумерках. Выйдя на улицу, он поежился от холода. С реки хрипло, с присвистом дышал осенний ветер. По тротуару желтыми лоскутками ошалело метались последние листья тополей. Арсен уныло шел, ничего не видя перед собой. Ни веселых прохожих, ни магазинов (закрытых, но сияющих в угоду моде световой рекламой), ни потока машин.

Он подошел к дому Лили, постоял на том месте, где они останавливались в последний раз. Зайти в дом? Но зачем он нужен там? Лиля, конечно, дома. Иначе родители пришли бы в редакцию.

Арсен повернул к автобусной остановке...

Не появилась Лиля и на следующий день. Арсен решил все-таки сходить к ней, но в это время случилось происшествие, которое заставило его забыть обо всем. Курьерша занесла в отдел для контрольного просмотра оттиски полос завтрашнего номера газеты. Арсен мимоходом пробежал глазами первую полосу, взялся за вторую. Вот он, набранный крупным жирным шрифтом заголовок: «Упрямые тезки».

Арсен зло глянул на Саньку.

— Колхозники тебя растерзали бы за эту статью.

— Почему «бы»? — сложив руки на затылке, Санька смачно потянулся. — И вообще, наплевать!.. Кстати, ты не знаешь, где Рыжая Кукла?

— Почему «бы»! Да потому, что статьи не будет! — Арсен схватил полосу и выбежал из комнаты. В коридоре его остановил Юра, шустрый фотокорреспондент редакции. Он заикался и пока сказал два слова: «Знаешь... с-с-старик...» — у Арсена уже лопнуло терпение. Он побежал дальше, к редактору.

Захаров был не один. На диване сидела «пожилая девушка». У стола, закинув ногу на ногу, примостился заместитель редактора, щуплый, близорукий, в очках.

— Что у тебя, Фомин? — Захаров оборвал разговор на полуслове. — Пожар, что ли?

— Хуже, — Арсен бросил на стол полосу. — Снимите статью Пепелева.

Устало закрыв глаза, Захаров тихо, подчеркнуто спокойно произнес:

— Фомин, не пора ли прекратить этот разговор? Ведь ты не подписывал статью. Я подписал. Я и отвечать буду. Скажи спасибо, что ты не имел разговора с Колесовым за невыполнение задания.

Арсен бешено сверкнул глазами.

— Как вы можете это говорить! Я коммунист, член редколлегии и заведующий отделом. Я тоже отвечаю... В конце концов, дело не только в ответственности, а в совести, в партийной совести!

Ответственный секретарь, поглядывавшая на Арсена округлившимися от удивления глазами, вступила в разговор.

— Ты помягче выражайся. Зачем громкие слова?..

— А мне шептать незачем! — оборвал Арсен. — Здесь как будто никто не спит.

— Какой хам! — прошипела «пожилая девушка».

Заместитель редактора поморщился.

— Бросьте вы! Надо разобраться. Может быть, действительно...

Захаров хлопнул ладонью по столу.

— Все! Никаких изменений вносить не будем.

— В таком случае, — сказал Арсен, четко разделяя слова. — Я требую созвать редколлегию.

Не то с сожалением, не то с радостью Захаров развел руками.

— Увы, это невозможно. По заданию обкома через пять минут уезжаю на строительство целлюлозного комбината.

Круто повернувшись, Арсен вышел из кабинета. Придя в отдел, он схватил ручку и написал заявление: «Прошу освободить ме-

ня...» Не дописав, бросил бумажку в мусорную корзину. Нет, так не годится. Сам же говорил о партийной совести. Совесть — это значит, не только самому поступать так, как она велит. Это значит, кроме того, не умывать руки, когда видишь промахи других.

Арсен на минуту задумался. Он не считал, что Захаров допускает случайные промахи. Для Захарова его поступки — закон жизни. Люди его характера спокойно спят и не видят дурных снов. Отравляя жизнь другим, они непоколебимо уверены, что делают им добро. Они могут делать глупости, вредящие партии, именем партии. Авторитетом партии они прикрываются как надежным щитом. Они прячут за ним свое лицо. Свое нутро. Их можно увидеть такими, какие они есть, лишь отобрав этот щит.

Таким был Захаров — редактор. Но что такое просто Захаров? Задав себе этот вопрос, Арсен с удивлением почувствовал, что ответить на него не может. Просто Захарова, вне редакции, он не знал. У Захарова была семья, были дети. Но они никогда не приходили в редакцию, как приходят дети сотрудников. Никогда Захаров не вспоминает о них вслух. Никогда он не говорит на свои, личные темы.

Кто же он? Неужели так высоко ставит общественное, что забывает о личном? Ну, а личное других людей? Об этом тоже Захаров не любит говорить. Он может и не говорить, но газета... Арсен любил свою газету, жить без нее не мог. Знал, что она многим помогла сохранить или вернуть радость, улыбку, счастье. Но он знал также, что кое-кому она навредила. Вспомнился случай с матерью двоих детей. Муж бросил ее. Свекровь выгоняла даже из подвального помещения. Газета заступилась за молодую женщину. И только по вине Захарова, из-за его слепой веры в непогрешимость начальства бессердечная старуха получила новую квартиру, а ее невестка осталась с детьми в подвале. Захаров узнал об этом, но критиковать городские власти не разрешил.

Неужели и эту историю «тезок» ждет подобная участь?

Решительно схватив трубку, Арсен набрал номер Колесова.

— Да, — послышался мягкий баритон.

— Александр Иванович?

— Да.

— Здравствуй. Фомин тебя беспокоит.

— А, здоров, здоров. Как живешь, Арсен? Давно тебя не видел.

— Плохо живу.

— Что так?

— Надо бы поговорить. Срочно надо.

— Гм... срочно? Ну, вот что. Если так спешишь, беги сюда. Времени у меня в обрез.

— Бегу! — обрадованный Арсен схватил полосу, свою статью и выбежал, не замечая напряженных взглядов Саньки и Бориса.

Первого секретаря обкома комсомола Колесова Арсен знал давно. Впервые познакомились, когда тот работал инженером на одной из угольных шахт. Арсен, еще начинающий журналист, тогда ездил в разные командировки, не только на село. Однажды ему пришлось сопровождать группу читинских горняков, которые направлялись к соседям для обмена опытом. Там Арсен и встретил Колесова.

Потом инженера избрали секретарем Булаевского горкома комсомола. Через два года — вторым секретарем обкома, еще через два — первым. Пленумы обкома, совещания, совместные командировки — все это сближало секретаря и журналиста. Когда редакция была в одном здании с обкомом, нередко Колесов приходил вечерком поиграть в настольный теннис.

И вот к этому человеку Арсен пришел с необычным делом. Колесов, коренастый, с крупными чертами лица, встретил его приветливой улыбкой.

— Садись и давай с места в карьер.

— Ты знаешь, — начал Арсен, — что я ездил в Краснореченск, в колхоз «Знамя труда».

— По потерям?

— Да. Побывал я там и понял, что ругать их не стоит.

— Не стоит?

Арсен рассказал все от начала до конца. Он так и закончил:

— Вот и все. От начала до конца, — подумав, добавил: — Только не должно быть такого конца. Вот, читай.

Заинтересовавшись, Колесов впился взглядом в печатные строчки.

— Покури пока, — сказал он, не поднимая головы.

Чтобы скрыть волнение, Арсен встал и начал рассматривать подарки, выставленные в кабинете. Здесь была искусно сделанная из черной породы статуэтка работающего шахтера — от китайской молодежи. Макет линкора — от моряков-тихоокеанцев. Красное бархатное знамя — от корейских друзей. Все подарки трудно даже перечислить. Арсен видел их уже не раз.

— Все ясно! — воскликнул Колесов, дочитав статью. — Вот что. Сейчас я иду к Зер-

чанинову. Заберу твои бумаги. И ты шагай за мной.

Арсен знал Зерчанинова, секретаря обкома партии по агитации и пропаганде. Разговаривать с ним не приходилось.

Они в лифте поднялись на третий этаж. В приемной Зерчанинова их встретила секретарша.

— Александр Иванович! — обрадовалась она. — А я только что звонила вам. Идите — ждет.

В небольшом, просто обставленном кабинете сидел немолодой, по-военному подтянутый человек. Это и был Зерчанинов.

— Я не один, Антон Михайлович, — Колесов кивнул на Арсена. — Заведующий отделом нашей газеты. Очень срочное дело.

Зерчанинов поздоровался с ними.

— Что там у вас?

— Возникли разногласия в редакции.

Секретарь нахмурился.

— И что, сами не можете разобраться? Няньку вам надо?

— Нет, но... дело-то очень серьезное.

И Колесов рассказал все, что услышал от Арсена, а потом подал ему бумаги. Зерчанинов читал, все больше и больше хмурясь.

— Я думаю, Антон Михайлович, создать комиссию и проверить все на месте, — решительно произнес Колесов.

— Не ты один так думаешь. Комиссию создадим. Совместную... обкома партии и обкома комсомола. Чувствую, что-то красноречинцы мудрят. Обязательство у них большое. Выходит, собираются вытрясти из колхозов семена. Надо проверить. Но прежде я должен ознакомить с этими документами первого секретаря. Оставьте мне их. А пока что, Александр Иванович, позвони Захарову и скажи, чтобы немедленно снял эту заметку, — Зерчанинов ткнул пальцем в корреспонденцию Пепелева. — Немедленно! До решения комиссии!

Окрыленный Арсен возвращался в редакцию бегом.

В отделе никого не было. Арсен заглянул в соседнюю комнату — и там никого. Только в конце коридора, где кабинеты редактора и его заместителя, слышен какой-то шум. Арсен пошел туда. Кабинет Захарова заполнили работники редакции: заведующие отделами, литературные работники, ответсекретарь, заместитель редактора. Здесь были даже машинистки, самый пассивный народ в отношении всяких собраний. Все о чем-то громко говорили. За столом, багровый и злой, стоял Захаров.

Арсен услышал голос «пожилой девушки».

— Стыдно, товарищи! — кричала она. — Вместо того, чтобы работать, вы напрасно теряете время... И не говорите все сразу.

Нестройные голоса затихли. И тогда Мануйлов сказал твердым, требовательным голосом:

— Перенесите статью Пепелева на следующий номер. Ее должны почитать в обкоме.

— Да, должны, — подтвердила заведующая отделом писем.

Заместитель редактора почесал мизинцем макушку.

— Может, Николай Ильич, снять пока? До уточнения фактов.

Умоляюще приложив руки к груди, Захаров сказал тихо, с плохо скрытой досадой в голосе:

— Товарищи, все факты правильны. Снимать статью нет никакой надобности. Обком одобряет...

Снова зашумели. Арсен увидел Саньку. Он стоял в углу, мрачно насупившись. Тронув за плечо высокого худощавого парня, литработника отдела учащейся молодежи, Арсен спросил:

— Кто все это придумал?

Тот усмехнулся.

— Все вместе думали. Восстание литрабов!..

В разноголосицу вдруг ворвался громкий звонок. Захаров схватился за трубку, как за спасательный круг. Хоть минуту он мог не слушать разгоряченных работников редакции. Все притихли. Лицо редактора расплылось в любезной улыбке.

— Да. Нет, еще не уехал. Дела задержали.

После некоторого молчания его лицо вытянулось. Голос стал тихим и робким.

— Хорошо, сделаю.

Закончив разговор, он долго стоял в оцепенении. Арсен догадывался, что звонил Колесов. Знал, зачем звонил. С интересом, жадным интересом наблюдал он за редактором. Он видел, зримо ощущал, как дрожит все существо Захарова, как ежится, оказавшись без надежного щита.

— Товарищи, — упавшим голосом произнес Захаров. — Можете идти по своим местам. Я снимаю статью Пепелева.

«Ах, ты черт! — крякнул Арсен. — Даже в эту минуту кривишь душой, не договариваешь до конца». Он не видел, как сотрудники редакции расходились, весело переговариваясь. Не слышал возгласы: «Правильно сделал. Надо проверить все до конца». «Нет,

что ни говори, редактор прислушивается к нашему мнению». Арсен стоял неподвижно, не спуская глаз с Захарова.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Арсена вывел из оцепенения чей-то настойчивый голос.

— А? Что? — он растерянно оглянулся. Перед ним стоял Борис, улыбаясь во весь рот.

— Ты что, оглох на радостях?

— Видимо...

Они вышли из кабинета. Борис сказал вполголоса:

— Звонила Лиля. Она болеет.

— Что же ты молчал! — накинулся на него Арсен. — Митинги здесь устраивают, а об этом молчат. Что она еще говорила?

— Чтобы ты позвонил ей.

Арсен побежал в отдел, набрал номер, который уже запомнил.

— Ты, Лиля?

— Я, — послышался слабый голос.

— Что случилось?

— Потом расскажу.

— Все потом?

— Потом... Вот что, папа просил тебя прийти сегодня. Обязательно.

— Шахматы?

— Не только. Хочет поговорить о чем-то.

— О чем?

— Не знаю. Не говорит. Придешь?

— Обязательно. Сейчас же.

— Хорошо. Жду.

Арсен долго не отнимал от уха трубку, хотя с другого конца провода уже слышались короткие гудки. Он с ожесточением разлохматил свою шевелюру растопыренными пальцами. Как она сказала? Или послышалось? Папа просил прийти, а она: «Жду».

День был субботний, нехлопотный. Уставшая за неделю редакция притихла. И авторы притихли, отложив все свои вопросы до понедельника. Особо важных и срочных дел не было, и Арсен пошел к Лиле. На улице он ничего не замечал вокруг себя и чуть не сбил с ног какую-то женщину. С трудом увернувшийся от него парень угрожающе зарычал: «У, пьянчуги! Милуют вас!» Прохожие с удивлением оглядывались на стройного здоровяка в сером костюме. Девушки перемигивались, пораженные блаженно отсутствующей улыбкой, которая блуждала по его загорелому лицу.

Сегодня Арсен имел право радоваться. Его поддержали в обкоме комсомола и в обкоме партии. Только сейчас он по-настоящему осознал, как необходима была ему эта победа. Обрадовался и за себя, и за колхозников, от которых отвел незаслуженный удар. А в редакции! Как поднялись все! В довершение всего он идет к Лиле — это тоже радость.

Позвонив, Арсен с замирающим сердцем слушал шаги за дверью. Открыл, как и в первый раз, Андрей Никитич.

— А, шахматист, — хохотнул он. — Проходи, ждем.

На столе уже были расставлены шахматы. Мать Лили, поздоровавшись, шепнула: «Не расстраивайте ее». Арсен увидел Лилю. Она сидела в углу дивана, поджав под себя ноги. Плечи ее были закрыты теплым шерстяным платком. Арсен подошел к ней.

— Ну, как ты?

— Ничего не говорит, — проворчал Андрей Никитич. — Вчера прибежала со слезами. Температура поднялась, а она все ревет. Я уж никого к ней не пускал, телефон отключил...

— Папа! — с укором воскликнула Лиля. — Ну зачем ты... Заболела и все. Простыла, наверное.

— И глотай теперь таблетки, — продолжал ворчать старик.

— И буду.

Андрей Никитич махнул рукой.

— Ладно, садись, Арсений, сыграем.

Мать принесла Лиле горячий чай и ушла в другую комнату. Сделав несколько ходов, Андрей Никитич нерешительно оглянулся на дочь.

— Может, выйдешь?

Она обиженно поджала губы.

— Ну, сиди, сиди! Слушай, тебе это полезно... — он отвернулся от нее. — Так вот, Арсений, в наш совет, ну... в совет ветеранов поступило письмо от жителей улицы Цимлянской. Жалуются на группу молодежи.

— Ханжи какие-нибудь, — усмехнулся Арсен.

— Э, нет! Эти молокососы что вытворяют! Чуть ни каждый день устраивают в одном доме такую свистопляску, что вся улица ходуном ходит. Пьют до потери сознания... Тьфу, срам говорить!..

Старик еще раз сплюнул.

— Вы хотите, чтобы наша газета написала об этом? — догадался Арсен.

— Это само собой, — он помедлил, словно раздумывая, говорить или не говорить. Еще раз оглянувшись на Лилю, сказал: — В письме есть фамилии тех, кто участвует в этих оргиях. В их числе Пепелев. Ваш Пепелев.

Арсен глянул на него недоверчиво.

— Не может быть! Это клевета. Вы проверяли?

— Нет еще. Но письмо не анонимное.

— Все равно — клевета. Не поверю, чтобы Пепелев... — Арсен задумался. — Нет, не может быть. Хорошо, Андрей Никитич, что сказали мне об этом письме. Я сам проверю, пока эта история не дошла до редактора.

— Потому тебе и сказал, что он в твоем отделе.

— Спасибо. Нет, так я это не оставлю. Пойду к авторам письма...

Но Андрей Никитич его не слушал. Он удивленно и растерянно смотрел на дочь. Арсен тоже оглянулся. Лиля, уткнувшись лицом в платок, плакала.

— Ты чего размокропогодилась? — прикрикнул отец. — Слышишь, перестань сейчас же, а то температура поднимется.

Пересев на диван, Арсен пытался успокоить девушку, но она не обращала на него никакого внимания. Андрей Никитич, досадливо морщась, закурил и пошел из комнаты.

— Перестанет — позови, — сказал он, останавливаясь на пороге. — Будем доигрывать.

— Лиль, почему ты такая? Что с тобой вообще творится?

Она посмотрела на него пристальным немигающим взглядом. Чуть заметная улыбка тронула ее губы.

— Добрый ты, Арсен.

— Причем здесь моя доброта? И совсем я не добрый.

— Добрый. Только зря ты защищаешь Пепелева. Все, что говорил папа, правда.

— Ты откуда знаешь?

— Помнишь, как я прибежала к тебе домой?

— Еще бы.

— Никакой пьяный тогда за мной не гнался. Вернее, гнался, но не случайный...

— Как это — не случайный?

— В тот день я приехала из командировки. В аэропорту меня встретил Пепелев. Он знал, когда я прилечу. Встретил и предложил пойти с ним к друзьям на вечеринку. Я отказывалась долго, но потом все же согласилась. Ладно, думала, хоть повеселюсь вволю. Мы доехали на трамвае до конечной остановки и пошли пешком. Было уже темно. Я плохо понимала, где мы находимся, но Пепелев уверенно шел по разбитым тротуарам. Чувствовалось, что бывал он здесь не раз. Тогда я не придала этому особого значения. Мы вошли в чей-то дом. Там уже было полно гостей. Парни, одетые по одному образцу — последней моде. Девушки в платьях-колоколах. Молодая хозяйка встретила нас очаровательной улыбкой, усадила за стол. Пили все страшно много...

— А ты?

— Меня заставляли, но я все же почти не пила — в тарелку выливала. Когда все захмелели, моя соседка, какая-то лохматая, черная, будто сажей посыпанная, шепнула, кивая на хозяйку: «Сашка отдал ее другому не зря. Знал, на кого менять». Мне стало противно. Хотелось убежать из этого дома. В это время начались танцы. Ты, Арсен, пожалуй, не видел таких танцев.

— Так уж и не видел?

— Уверена. Музыка — грохот разбиваемой посуды. Танцы — что-то ужасное. Они вертелись с исступлением дикарей. Я видела рок-н-ролл в Москве, во время шестого фестиваля. Но то был настоящий танец. Да, танец сильных и ловких, и он мне нравился. Как хочешь, но нравился. А тут... Словами передать трудно. Это надо видеть. Я не могла так танцевать и не хотела. Тогда Пепелев пошел с хозяйкой. Его было не узнать. Я не видела еще у него таких бессмысленных, таких сумасшедших глаз...

Она замолчала, задумалась.

Пораженный откровенностью Лили, Арсен нервно мял в руках спичечную коробку. На пол сыпались спички, но он не замечал этого.

— Зачем же ты пошла туда? — спросил он строго.

— Откуда я знала, что там соберутся такие... Не хотела обидеть отказом Пепелева. Мне казалось... Он мне... нравился.

— А сейчас?

Она сдвинула брови.

— Не перебивай. Слушай, что было дальше. К Пепелеву подошел какой-то парень и оттер от него хозяйку. Тогда Пепелев кинулся ко мне. Я хотела убежать, но не успела... Бр-р-р! — Лиля поежилась. — Он схватил меня за руки и полез целоваться. Все вокруг хохотали, хлопали в ладоши. Кричали: «Крещение! Крещение!» Я вырвалась и выбежала на улицу. Пепелев гнался за мной. Я где-то сворачивала, пробегала через какие-то дворы. Потом узнала твою улицу... Дальше ты знаешь.

— А вчера?

— Дом Суворинной — это и есть тот самый дом.

Арсен невесело рассмеялся.

— А сама Суворина, значит, та самая...

— Та самая хозяйка. И ты не смейся. Плакать хочется. Как подумаю... Милый, добрый Борис!.. — ее глаза снова наполнились слезами. — Уйду из редакции!

— Что? — Арсен схватил ее за руку. — Ты соображаешь, что говоришь?

— Уйду, — повторила она упрямо. — Пока Пепелев в редакции, ноги моей там не будет.

— Ему недолго осталось быть в редакции.

— Думаешь, за эти дела?..

— И за эти. А главное — за краснореченский материал. Нет, не имеет он права учить молодежь. Добьюсь...

Он в нескольких словах рассказал о событиях, которые произошли в этот день. Лиля жадно слушала его. Сказала задумчиво:

— А я-то думала о нем... — она не сказала, что думала. — Знаешь, Арсен, однажды мы разговаривали с Пепелевым о тебе. Я рассказала ему, как ты приглашал меня в театр. Он смеялся и говорил о тебе всякую ерунду. Пепелев не любит тебя.

— И что же? Это не новость.

— Не любит и... завидует тебе.

— Вот это вряд ли.

— Это так. Я подумала об этом, когда увидела его холодные, тусклые глаза. Он говорил насмешливые слова, а глаза его были холодными, — помолчав немного, она сказала: — Очень рада, что ты добился пересмотра дела Антипина. Так рада, что ты не представляешь себе. И спасибо...

— За что спасибо?

— За это. За то, что помог мне не ошибиться в тебе. Для меня это последняя капля. Теперь я все понимаю. Все тебе рассказала. Суди обо мне, как хочешь.

На губах Арсена робко вздрогнула, погасла, снова, еще ярче, вспыхнула радостная улыбка. Он взял Лилину руку, крепко сжал в своей.

— Ты молодчина, Лилия.

В комнату вошел Андрей Никитич.

— Все? Слезы кончились? — он лукаво подмигнул Арсену. — Ишь, врач какой! Давай, садись за шахматы. Сейчас ты определенно продуешься.

И Арсен, действительно, проиграл. Он делал неверные ходы, с легким сердцем смотрел, как противник уничтожает его фигуры. А когда Андрей Никитич объявил решающий шах, с радостью поднял руки.

— Сдаюсь.

От Цыганковых он ушел поздно. Спать не хотелось. Охваченный бездумно-радостным настроением, он дошел до набережной и спустился по откосу к реке. Здесь прохаживались пары. Какой-то парень с девушкой бросали на воду гальку, смеясь и считая вслух «блинчики». Быстрая река играла отблесками звезд и огнями города, перебрасывала их с волны на волну, отпускала по течению и снова возвращала.

«А ведь когда-то этой реки не было, — подумал Арсен. — Облака замерзали на вершинах гор и таяли весной. Таяли, наполняя котловину застывшего вулкана. Поднимали ее уровень до тех пор, пока какая-то последняя капля не переполнила чашу, пока не сломала ее кромку. И теперь никакие силы не смогут остановить этот поток, потому что каждой весной тают замерзшие облака».

ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Присев на гальку, Арсен загреб в горсть гладкие холодные камешки и швырнул их в воду. Они прострочили звонкой пулеметной очередью, и набежавшая волна расправила пенистую рябь.

Он заставлял себя ни о чем не думать, но мысли сами лезли в голову. Сначала радостные. Потом тоскливые и тревожные. Завтра воскресенье. Пропащий день. В театр не сходишь, надо было заранее взять билет. В кино ничего хорошего. Лиля!.. Что Лиля?.. Не приглашала. Она лишь рада, что добился пересмотра. Пе-ре-смот-ра!.. Постой, постой, откуда же появился телячий восторг? Чему радовался? Пе-ре-смотр! Это значит, что комиссия будет проверять и увидит... зерно, втоптанное в стерню. Потери! И статья Пепелева окажется правильной. За потерями трудно будет разглядеть главное. Болван, последний болван! Надо было остаться в районе еще на день-два, помочь Антипину. Тоже герой, посеял бурю в чайной ложке! А если?..

Лихорадочно выворачивая карманы, Арсен подсчитал свои деньги. Хватит! Он вскочил и, скользя подошвами по гальке, побежал через сквер к набережной, широкому светлому проспекту. Только что политый, он походил на спокойную реку. С мокрым шипением приближался зеленый огонек такси. Арсен поднял руку.

— Вокзал!

На проходящий поезд «Владивосток—Москва» были билеты только в мягкий вагон. Но об этом раздумывать Арсен не стал. Поезд прибывал через несколько минут. Он взял билет и вышел на перрон. По первому пути бесшумно и мощно, расталкивая покатыми плечами встречные ветры, мчался зеленый электровоз. За ним бежали такие же зеленые вагоны с подслеповатыми окнами: пассажиры укладывались спать.

Пятый вагон... Пятый вагон... Увидев мелькнувшую мимо пятерку, Арсен пошел

вслед за ней, догнал, когда поезд остановился. Из вагона посыпались пассажиры. Молодой моряк спрыгнул со ступенек с отчаянным воплем: «Цветы! Есть здесь цветы?» Две девушки выскочили на перрон и защебетали, наперебой стали рассказывать друг другу что-то, покатываясь со смеху. Полная солидная женщина с достоинством, не спеша спустилась вниз и закурила длинную тонкую папиросу. Пожилой усатый проводник сунул под мышку сигнальные флажки и взял у Арсена билет.

— Добро,—сказал он.— Ваше купе третье. Не проспите. Через два часа Краснореченск.

В третьем купе еще не спали. За столиком сидели два одинаковых пассажира. По крайней мере Арсену показалось на первый взгляд, что они одинаковы. Оба маленькие, круглые, с лоснящимися лысинами. Перед ними стояли водка и вино с изысканным названием «Улыбка». Приятели встретили Арсена торжествующими возгласами.

— Нашего полку прибыло!

— Вы, юноша, кстати. Мы уж думали, что до конца пути многострадального будем сидеть тет-а-тет.

Поздоровавшись, Арсен только после этого увидел еще одного пассажира, молодую чернобровую женщину. Она лежала на верхней полке, читая книгу.

— Что же вы, — с шутливой укоризной сказал Арсен, — позволяете вашим соседям скучать?

Женщина посмотрела на него вприщур, оценивающим взглядом и, ничего не ответив, закрылась книгой.

Один из приятелей красноречиво покрутил пальцем у виска.

— Ясно?

— Присаживайтесь к нам, — сказал другой, подвигаясь. — Вам что больше по вкусу, горькие морщины или сладкие улыбки?

— Благодарю, — ответил Арсен. — Ни того, ни другого сейчас не хочу.

Приятели переглянулись.

— Как знаете, — сказал один.

— А вообще-то зря, — добавил другой.

И они, чокнувшись стаканами, возобновили прерванный разговор. Арсен сел возле самой двери, прислонился спиной к стене и устало закрыл глаза.

Каких только людей не встретишь в пути! Кто они, эти пассажиры? Куда едут? Зачем?

Арсен прислушался. Он уловил в разговоре приятелей что-то, заставившее его насторожиться.

— В прошлом году я, Семеныч, помотался, — говорил один вполголоса. — Обязательство — три тысячи центнеров мяса, а в наличии, как ни крути, тысяча. И так, и эдак... Три раза пришлось сдавать. Два раза — бумажки, а на третий — скот.

— И ничего?

— Выкрутился! Вот где была потеха! — рассказчик прыснул в кулак. — Две тысячи сдал, а мясо-то в живом виде стоит на своем рабочем месте. Третью, настоящую, сдал — и будьте любезны. Я мотаюсь, и корреспонденты тоже. Расхвалили!..

Они захлебнулись хохотом. Они смеялись навзрыд, плача от смеха.

— Знаю, — проговорил второй толстяк Семеныч. — Слышал про такую систему. Хитро!

Открыв глаза, Арсен спросил, чувствуя, как сами собой сжимаются его кулаки:

— Значит, всех вокруг пальца?.. И корреспондентов? Кто же это выдумал такую систему?

Толстяки испуганно умолкли, поняв, что новый пассажир прислушивался к их разговору. Чтобы отвязаться от него, Семеныч сказал с беспечно деланным смешком:

— Кто выдумал? Разве узнаешь! Народное творчество.

Что он сказал? Народное творчество? Злостью закипел Арсен.

— Вы бросьте называть всякую грязь этим именем. Народ сам себя обманывать не станет.

— А мы кто, короли? — строго спросил другой.

— Принцы! — послышался дрожащий от волнения насмешливый женский голос, и все повернулись на него.

— Молчи ты! — прикрикнул Семеныч. — Чего ты кумекаешь, несчастная!..

— Не шумите, — оборвал его Арсен. — Принцы из темного угла!

Толстяки смотрели на него оторопело. Разговаривать с ними Арсен больше не мог. Тошно было смотреть на них. Разве таким докажет что-нибудь попутчик на два часа? Обидно только, что где-то у себя дома они будут продолжать грязные дела. И об этих делах, может быть, долго еще никто не узнает. Кто они? Откуда? Надо узнать. Но как? Если бы кто помог! Но он один. Опять один! Только сейчас Арсен заметил, что поезд уже идет, часто постукивая колесами. Загадочные одинокие огоньки проплывали за темным окном. Арсен забрался на свою полку и прильнул к окну. Огоньки!.. Где огонь, там люди. И казалось, что за окном голая, безмолвная степь. Ни звука. Лишь холодный светлячок горит в ночи, а возле

него дежурит человек. Один. Он устал и не может уйти, потому что тогда погаснет светлячок. Но вот рядом с крохотным огоньком полыхнуло широкое пламя, бросило в окно вагона неуклюжие тени террикона и шахтного копра. Нет, там не одинокий человек. Так и ты, Арсен, почувствовал себя минуту назад одиноким. Показалось тебе, что везде одни захаровы и толстяки. А ты оглянись. Ты же чувствуешь на себе чей-то взгляд, оглянись!

Арсен повернулся. На него в упор смотрели черные не мигающие глаза женщины. Встретившись с глазами Арсена, они потеплели.

— Не сердитесь на меня. Вы далеко едете?

— Нет, скоро сходить.

— Жаль... Надоели мне эти «принцы», — она отбросила за спину тугую длинную косу. — Всю дорогу винище хлещут, а ведь больные. Путевки выхлопотали в разгар уборочной. На курорт едут.

— Кто они? Председатели колхозов?

— Один. Семеныч — канцелярист.

— И вы... на курорт? — Арсен смотрел на женщину со строгим любопытством.

На ее щеках дрогнули ямочки. Она понимающе засмеялась.

— Нет, на экзамены в Москву. Заочница.

— Из какой вы области?

— Ваша соседка.

— Ну, а... — Арсен с трудом подыскивал нужные слова. Ему не хотелось обижать женщину. — Дальше что?

Она поняла.

— Насчет этих?

— Да.

— Я ведь их не знала. Недавно работаю в райкоме комсомола. Жалко, что не знала их раньше. Но теперь они от меня не уйдут. Выведу на чистую воду...

Ее глаза, угольно-черные, в эту минуту подернулись огневой рыжинкой. Казалось, еще секунда — и они вспыхнут.

— А вы? — Арсен встретил знакомый уже ему оценивающий взгляд. — Деретесь с такими?

— Дерусь.

Женщина протянула руку.

— Галя.

— Арсен.

...Поезд умчался в ночь. Последний раз мелькнули его огни. Рельсы-струны затихли. Кончилась дорожная музыка, любимая музыка вечных бродяг журналистов. Перешагивая через рельсы, Арсен пошел к элеватору, чтобы поймать машину до колхоза «Знамя труда».

Он поймал машину. Быстрая езда, перемигивания с встречными машинами, молчаливый шофер, кусты, шарахающиеся от яркого света. Потом было поле. Темное и светлое. Безмолвное и шумное. На земле лежала такая темнота, что Арсен спотыкался о кочки, а над землей пеленой растекался лунный туман. В ушах звенело от тишины, а где-то басовито рычал трактор и завывали автомашины.

С теплой грустью Арсен вспоминал Галю. Где только не встретишь хороших людей! Встретились — расстались. А с хорошим воспоминанием не расстанешься никогда. Это же здорово — знать, что где-то есть человек, который, как и ты, любит драться за правду. И этот человек навсегда останется в твоей памяти таким, каким ты его видел однажды, непримиримым, строгим. Таким и вспомнишь. После этого ты не сможешь быть хуже этого человека.

Узнав перелесок, возле которого Мигунов оставлял его несколько дней назад, Арсен пошел напрямик, через кусты. Под ним с треском ломались сухие прутья. Невидимые коряжины хватали вдруг за ноги, силясь повалить. Потревоженные пичуги вспархивали перед самым лицом, обдавая зябким ветром.

Трактор Терехова Арсен увидел сразу же за перелеском. Его мотор ворковал едва слышно. Над жаткой раскачивалась ярко горящая переноска, швыряя во все стороны длинные тени двух людей. Они стучали ключами и негромко переговаривались. Подойдя ближе, Арсен узнал в одном из них Терехова.

— Вот ведь чертовщина, — говорил он. — Кажется, все перепробовали, а на тебе...

— Спокойно, Миша, еще не все.

Услышав второго человека, Арсен понял, что это не мальчишка-прицепщик. И в то же время его голос показался знакомым.

Под ногами Арсена шуршала стерня. Но его не слышали. В руках Терехова уже взвизгивал напильник, а его напарник залез под жатку и стал подколачивать что-то молотком.

— Привет полуночникам! — громко произнес Арсен, подойдя к ним вплотную.

Терехов вздрогнул от неожиданности. Увидев Арсена, он, сдерживая смех, протянул руку.

— Здорово. Это что такое, второй леший сегодня из лесу выходит. Вы что, сговорились?

— С кем?

— Вылазь, брат, все в сборе, — он обращался к напарнику, но тот почему-то не торопился показываться, хотя его молоток перестал стучать.

— Кто это? — Арсен присел на корточки. На него смотрел ярко освещенный переноской смущенно нахмурившийся Борис Мануйлов.

— Боря? — воскликнул пораженный Арсен. — Ты откуда?

— Не падай в обморок, здесь врачей нет, — сказал Борис, выбираясь из-под жатки.

— Ты как здесь оказался?

— Да так, — Борис с присущим ему хладнокровием закурил, а уж потом ответил: — Зашел посмотреть.

— Мимо прохаживался и завернул на огонек?

— Вроде.

Арсен вспылил.

— Брось ты меня разыгрывать!

— А ты кто, следователь? У меня свободное время. Использую, как хочу. Личное дело, понимаешь?

Нет, от этого человека ничего не добьешься! Раздосадованный Арсен повернулся к Терехову.

— Михаил, скажи хоть ты.

— Чего уж там, — Терехов говорил, стараясь не смотреть на Мануйлова. — Рассказал он мне про твои хождения по мукам. Про статью и комиссию. Вот и помогать остался.

Борис снова нырнул под жатку. Погрозив ему кулаком, Арсен отвел Терехова в сторону.

— Получается?

— Не совсем.

— А что?

— Все перепробовали, а потери есть.

Арсен задумался. Из головы не выходили пшеничная волна и звеняще тугая проволока, которая отбрасывала колосья.

— Послушай, Михаил, — сказал он, снова подходя к жатке. — Ты пробовал регулировать проволоку?

— Нет. Хотел, но она же намертво приварена.

— Эх, если бы можно было ее опускать и поднимать. А? Есть кронштейны?

Поколебавшись мгновение, Михаил кинулся к трактору, вытащил на землю сидение и начал выкладывать на него все инструменты, болты, гайки. Борис, сидя на земле возле жатки, с интересом наблюдал за ним. Арсен осматривал крепления проволоки.

— Руби! — крикнул Михаил, бросая Борису зубило. — А я с этой стороны. — В руки Арсену он без лишних слов всунул дрель и два кронштейна.

— А болты? — спросил Арсен.

— Подбери сам.

Работали с остервенением. Звон и скрежет металла заставили забыть, что вокруг темная, глубокая ночь и скоро начнется рассвет. Никто из них не заметил, как восток, просыпаясь, глянул на них узкой полоской зари.

Когда проволока была опущена к ножам, ночь посерела и откуда-то подул холодный ветерок. Михаил схватился за голову.

— Братцы, скоро роса упадет! По местам!

На жатку сел Арсен. Михаил развернул трактор и врезался ножами жатки в пшеницу. Густым бесконечным валом колосья падали на хедер. Падали круче, быстрее, чем раньше.

— Порядок! — восторженно закричал Арсен. — Порядок, ребята!

— Стой! — послышалось сзади. Там, за жаткой, шел Борис. — Стой, опять летит!

Трактор остановился, но ни Арсен, ни Михаил не спускались на землю. Арсен не сводил глаз с остановившейся пшеничной волны. Борис подошел к нему.

— Что ты? Это уже пустяки. Летит самая малость. Надо проволоку еще подтянуть и опустить до самых ножей.

На это ушло всего несколько минут, хотя теперь уже никто не торопился. Они оттягивали, боясь признаться себе в этом, тот момент, когда надо будет сказать: «Точка. Наконец-то». Или: «Точка. Больше ничего не сделаешь».

Проволока звенела струной. Жатка дрожала от скорости. Борис молчал. Но вот он обогнал трактор, замахал руками. Затормозив, Михаил выскочил к нему.

— Что?

Арсен тоже кинулся к Борису.

— Опять?

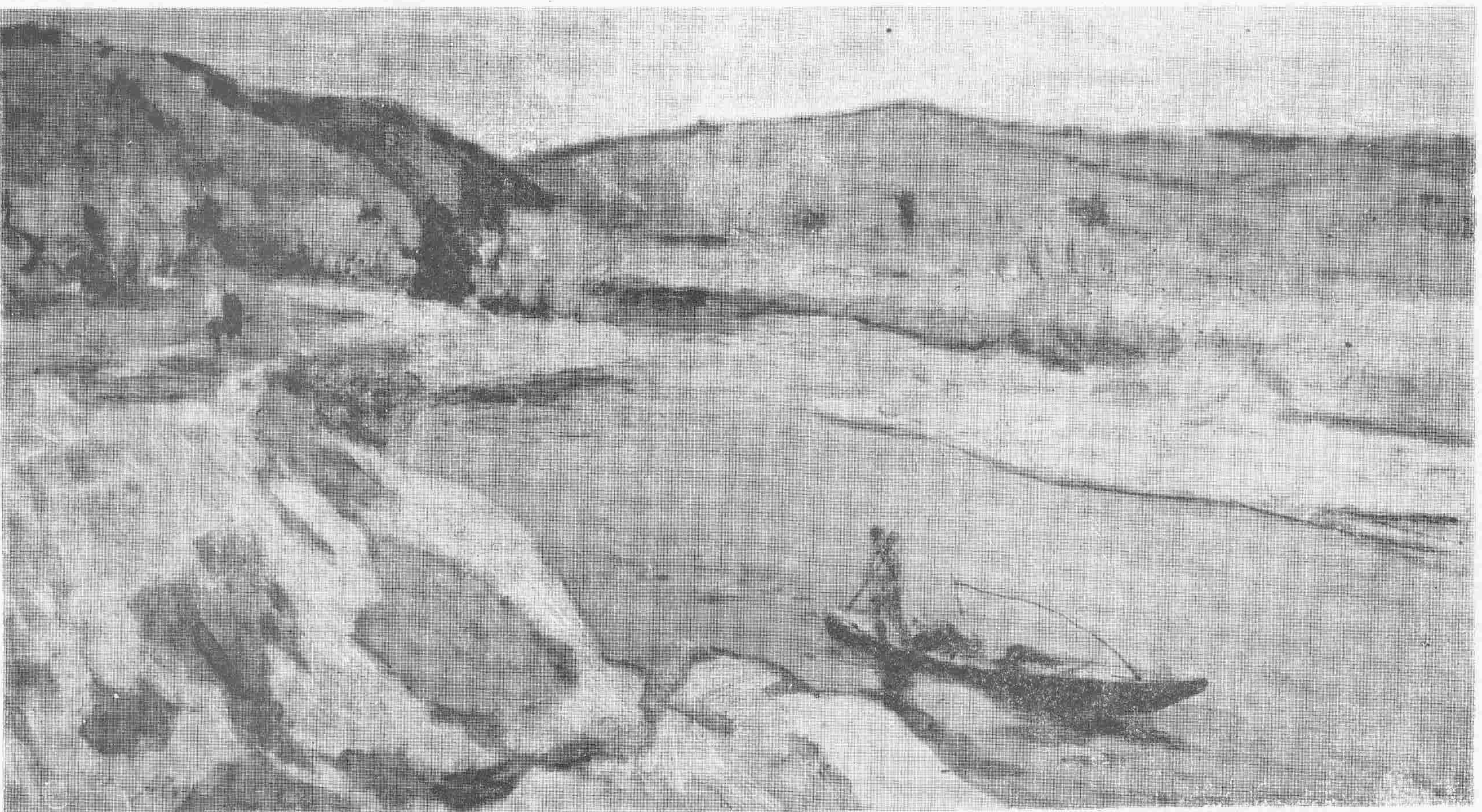
— Ну вас, — сказал Борис, доставая из кармана папиросы. — Тоже мне, они катаются, а я бегай за ними, как борзая.

— Ну! — подступил к нему с угрожающим видом Арсен.

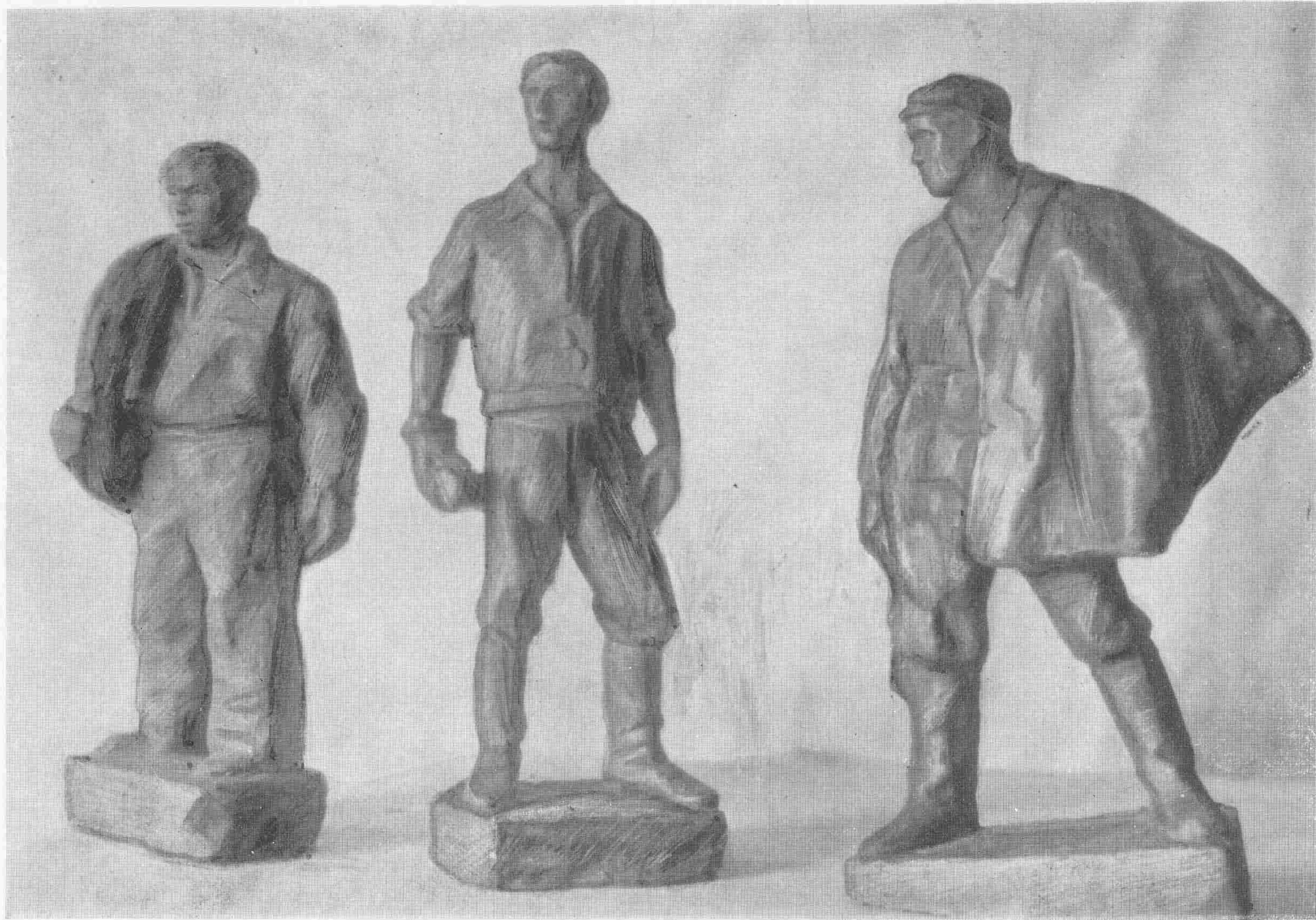
Борис сокрушенно вздохнул.

— Передохнут нынче суслики в колхозе «Знамя труда». Не будет им корму.

Арсен, поняв эту замысловатую фразу, от радости так двинул Бориса в плечо, что тот, не ожидавший подвоха, как подрезанный стебель, растянулся на земле. Михаил налетел на Арсена. Вскочивший Борис подставил ему ногу, и они все трое покатились по земле, обкалывая стерней спины и руки. Твер-



Д. К. Роденко. В долине Иркута.



Скульптор В. Е. Семенова.
Слева направо: сварщик В. Подкорытов; член бригады коммунистического груда П. Мандрик; монтажник В. Ильин (Братскгэсстрой).

дый стебель воткнулся Арсену в шею. Он рванулся от острой боли, сбросил нападающих.

— Черти! Двое на одного — это не по закону.

Они смеялись, шутили, как расшалившиеся дети. Когда уже стали немного успокаиваться, Михаил вдруг вскочил на трактор, дернул рычаг сигнала. Шальной, ликующий свист взметнулся над трактором, ударил в уши, заполнил мир, что был вокруг, — и поле, и рощу и все существо троих людей, онемевших от восторга и радости победы.

Сигнал умолк. Но его отголоски долго еще перекидывало из стороны в сторону озорное эхо, пока не растеряло их на поле, среди густых хлебов.

— По местам! — крикнул Михаил.

Они забыли о времени. Для них в эти минуты не существовало такое понятие. У времени не могло быть предела, потому что не было еще предела у пшеничного поля. Жатка летела, оставляя на земле ровные чистые валки.

Они опомнились, когда зубы жатки увязли в стеблях, не смогли их перегрызть. Михаил с сожалением посмотрел на Арсена.

— Все. Роса. Пойдемте соснем часок.

Он заглушил трактор.

В вагончике было тепло, приторно пахло соляркой. В углу спал, плотно запахнув полы телогрейки, мальчишка-прицепщик. На треногом столике черствела краюха хлеба, стояла алюминиевая кружка с недопитым молоком.

— Намаялся парень,—вздохнул Михаил.— Присоединимся к нему, что ли.

Арсен лежал с открытыми глазами. Он даже не заставлял себя уснуть. Знал, что сон придет сам, а пока что не до него. Голова была полна мыслями. Она стала аккумулятором высокого напряжения. Мысли пронизывали, наполняли электрической энергией все нервы. Перед глазами молниеносной чередой проходили события и люди... Галя... Кто ее заставляет воевать с толстяками? Совесть. А Баревича, Петелина, Антипина, Терехова? Совесть. Рядом с такими и драка не в тягость. А драться придется еще не раз. Наверняка придется.

В маленьком запыленном окошке вагончика сонно мигали засыпающие звезды. Там, где они одиноко и скучно мерцали неисчислимую вечность, теперь космонавты ищут дороги к новым мирам. И здесь, на земле, есть еще такие дороги. Одну из них Арсен нашел. Небольшую тропку, но очень нужную. Тропинки всегда ведут к большой дороге.

Усталость переборола напряжение, отключила аккумулятор. Арсен уснул. Его растолкал Борис.

— Вставай, лежебока!

— Отстань, — проворчал Арсен и хотел отвернуться к стене, но Борис продолжал тормошить его за ногу.

— Михаил давно в поле, а мы все спим. Подъем! — гаркнул он во всю силу своих легких.

— Из тебя вышел бы горластый ефрейтор, — нехотя поднявшись, Арсен выпрыгнул из вагончика. Слепило яркое солнце. Прохладный ветерок приятно освежал лицо. С разных концов поля доносился рокот моторов.

— Знает дело, — сказал Арсен, глядя из-под ладони на приближающийся агрегат Терехова.

— Еще бы, — подтвердил Борис. — Он уже всех своих обегал, показал, как проволоку крепить. Антипину сказал, чтобы позвонил в другие бригады.

К вечеру Арсен и Борис были в поезде, который увозил их в город. Вагон пригородного поезда был битком набит пассажирами: возвращались дачники, любители подремать с удочкой, охотники с пустыми рюкзаками и ворохом небылиц. Борис ради приличия поддакивал какому-то дядьке, который с жаром доказывал преимущества ловли хариуса на самодельную мушку. Арсен поминутно выходил в тамбур покурить, а больше для того, чтобы не попасться на крючок словоохотливому дядьке.

С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ

Догнав человека, который шагал по разбитой дороге, великодушный шофер газика нажал на тормоз.

— Эй, пехота! — крикнул он весело. — В хозяйство Иванова? Садись, хватит топать.

Он радушно распахнул дверку. Увидев, что пешеход не торопится, прикрикнул:

— Давай, давай! Опаздываю.

Прохожий, плечистый парень с плащом и чемоданчиком в руках, с фотоаппаратом на плече, подошел к грузовику.

— Здорово! — он заглянул в кузов. — Горючку везешь?

— Точно. А что?

— Тогда проваливай,—и он пошел дальше.

— Так ведь в кабине есть место! — крикнул шофер ему вдогонку,. но парень лишь махнул рукой.

Нет, Арсен не боялся масляных пятен. Он хотел дышать свежестью осеннего утра, а не бензиновым угаром. Сойдя с автобуса на повороте от тракта к колхозу «Победа», он уже около часа шел полевой дорогой. Ему не нужны были сейчас попутчики. Хотелось побыть одному, чтобы не сдерживать мысли, которые рождаются у каждого человека, когда он остается наедине с природой. Поле было просторно. Ничего не отвлекало, и также просторно чувствовал себя Арсен.

Солнце только что растопило иней на траве, окаймляющей дорогу. Все еще зеленые былинки блестели каждой каплей осенней росы по-разному. Направо от дороги чернела свежая, недавно распаханная зябь. Налево еще желтела стерня, еще видны были следы трактора и жатки. Вдали возвышались зароды соломы.

Пахло пряной свежестью, которую услышишь только на поле светлым осенним утром.

Арсен чувствовал, как в его душе поднимается, растет что-то непередаваемо хорошее. Так случается, когда после долгой разлуки встретишь хорошего друга. Арсен встретил его. Он молча разговаривал с ним, слушал дыхание, песни своего друга — земли.

...В эту командировку Арсен поехал неожиданно. Проходили дни, и ему уже стало казаться, что жизнь вошла в нормальную колею. Пепелев уволился и уехал куда-то, даже не снявшись с комсомольского учета; он узнал, что его персональное дело решили разобрать на бюро райкома комсомола. Захаров притих, чего-то выжидая. Лиля вышла на работу. Это была другая Лиля. Иногда ее просто не узнавали. Услышав смешное слово, Лиля, та самая Лиля, которая несколько дней назад откровенно рассмеялась бы, теперь только принужденно улыбалась.

Это отпугивало Арсена. Сказав себе твердо: «Я люблю Лилю», — он не решался сказать ей об этом. Боялся услышать в ответ: «Ты добрый, хороший, но твоя любовь меня не трогает». Иногда он ловил на себе ее пристальный, изучающий взгляд и, краснея, отворачивался. Как-то вечером они вместе гуляли в центральном парке. Просто так ходили по опустевшим аллеям. Оба молчали, и эта прогулка стала тяготить Арсена. Словно поняв его состояние, она сказала, что ей пора домой и что ее не надо провожать. Он не стал возражать.

Вместе они больше никуда не ходили.

Однажды в отдел вбежал Борис Мануйлов и крикнул Арсену:

— Тебя вызывает Колесов.

— Выдумал? — не поверил Арсен, зная, что такие шутки в редакции не редкость.

— Вот еще! Захаров велел передать, — понизив голос, Борис добавил: — Он сам только что из обкома пришел. Как в воду опущенный.

Чувствуя, что сегодня должно произойти что-то очень важное, Арсен невольно выпрямился, придирчиво осмотрел свой костюм и пошел к выходу.

— Подожди, — остановила его Лиля.

Она близко подошла к нему и встала на цыпочки, чтобы поправить галстук. Лилька, Лилька! Если бы ты знала, как хочется схватить твои руки. Они совсем рядом. Схватить и поцеловать. Наверное, Арсен так и сделал бы, но, заметив понимающую улыбку Бориса, лишь сказал хрипло:

— Спасибо, Лиля.

— Иди, — прошептала она одними губами.

Колесов ждал Арсена. Поздоровавшись, он показал на стул.

— Садись и слушай. Сегодня у нас было бюро. Хотели тебя вызвать, но Захаров возражал. Скажи, зачем ты устраивал этот митинг в редакции?

— Я? — удивился Арсен.

— Захаров говорил, что ты.

— Выдумки. Я же в тот день был с тобой у Зерчанинова. А когда вернулся в редакцию, там уже вовсю шла осада Захарова.

— Тем лучше, если это так. Во всяком случае Захаров больше не редактор.

— Что ж, правильно, — подумав, сказал Арсен. — Куда он теперь?

— Не пропадет. Поближе к жизни отправится.

— Если она согласится на такую близость...

— Посмотрим... — Колесов заговорил веселее. — Комиссия закончила свою работу...

Арсен замер, сгорая от желания поскорее узнать самое важное.

— Провели бюро Краснореченского райкома партии...

— Как с Антипиным? — вырвалось у Арсена.

— О нем меньше всего было разговоров.

— Не понимаю. Из-за него...

— Все это так, но есть решение районного актива, которое Костров не успел нарушить.

— А бюро? То самое...

— Не состоялось. Обком отменил. Пришлось, Арсен, разбираться в основном с другими колхозами Краснореченского района. Они начали сдавать семена. Вот за эту прыть Кострову не поздоровится. Вряд ли его изберут еще раз.

— А как Мигунов?

— Он крепко предупрежден на пленуме райкома. Освобождать не стали. Секретарь он молодой, неопытный. Вырастет... Дальше... В колхозе «Знамя труда» дела идут хорошо. Потери совершенно устранили.

Арсен сдержанно улыбнулся.

— И уборку Антипин закончил первым в районе, да и во всей области.

— Сколько у него вышло на круг? — Колесов молчал, сосредоточенно раскуривая папиросу. — Ну, не тяни!

— По шестнадцать.

— Это же... это такой урожай, который в колхозе никогда не получали.

— Да, хороший урожай. Пока хороший.

Они еще немного поговорили, а Арсен уже пошел к двери, но, вспомнив что-то, вернулся.

— Александр Иванович, еще один вопрос. Насчет Пепелева. Выходит, подарили кому-то золото самоварное.

Глаза Колесова под лохматыми русыми бровями задумчиво затуманились.

— От своей натуры, от себя никуда не убежишь. Правильно сделал Пепелев.

— Ты считаешь, правильно? — Арсен готов был спорить.

— Ну, что удрал — плохо. Но от себя он удирать не стал. Письмо я от него получил. Со строительства Красноярской ГЭС.

Арсен ничего не сказал, потому что не мог понять, что его обрадовало: то, что Санька вообще нашелся или что он на Красноярской ГЭС. Только свыкшись с этой радостью, он снова заговорил:

— Еще одно дело. Моя статья по колхозу «Знамя труда»...

— Печатать! Немедленно! Но это дело решенное. Есть другое. В Поливановском районе тоже на скоростную переходят. Но не все. Уборка, мол, к концу, не стоит возиться. Неправильно рассуждают. Обком партии занимается этим районом и просит комсомол подключиться. Понимаешь?

— Все ясно.

— Тем лучше. Кстати, советую взять на прицел колхоз «Победа». Там есть и применившие скоростную и ее противники.

— Что ж, разберемся, — сказал Арсен. — Надо кому-то срочно выезжать.

— Кому?

— Можно послать Цыганкову. Можно Мануйлова.

— Ну нет! — Колесов погрозил пальцем. — Ты сеял, тебе и жать.

— Хорошо. Завтра утром выеду.

После прохлады обкомовского здания даже нежаркие лучи сентябрьского солнца казались теплыми. Арсен сунул в карман скомканный галстук, расстегнул ворот рубахи и прыгнул, сразу через все ступеньки, с гранитного крыльца. Лавируя между машинами на площади, он выбрался к скверу и вдруг услышал знакомый голос.

— Какой вы, в сущности, пацан, товарищ Фомин.

Он замер на месте. От скамейки к нему шла девушка в зеленом костюме.

— Лилька!

Она притворно нахмурилась, потом улыбнулась.

— Ладно, пусть Лилька.

— Конечно, Лилька, если я пацан.

— Я же не прыгаю через ступеньки.

— Ах, вот как! Следила?

— Ждала, — это слово она произнесла без улыбки, и Арсен почувствовал, что у него, как тот раз в парке, пропали все слова. Он не мог больше непринужденно шутить.

Они подошли к фонтану. Лиля остановилась.

— Посидим?

— Угу. Курить чертовски хочется, а я не люблю дымить на ходу.

Они сели на скамейку.

— Если не секрет, зачем вызывал Колесов?

— Нет, не секрет.

Он рассказал обо всем, что узнал от секретаря обкома. Обо всем, кроме письма Саньки. Когда замолчал, Лиля сказала всего два слова:

— Решили правильно.

Арсен молчал.

Сказать о Саньке? Не надо, не надо! Только сумасшедший может душить себя своими руками. Но ведь рано или поздно она узнает? Да, но, может быть, для Саньки тогда будет поздно. Хитрость? Зачем же хитрость, если только она может помочь?

Глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, Арсен сказал:

— Санька прислал письмо в обком. На Красноярской ГЭС работает.

Лиля отвернулась.

— Мне тоже прислал.

Они еще посидели молча. Арсен делал вид, что его заинтересовали дети, которые катались на велосипедах вокруг фонтана.

Лиля спросила тихо:

— К пятнадцатому вернешься из командировки?

— Может быть, а что?

— В субботу в драмтеатре будет «Вишневый сад»... Пойдешь?..

Арсен схватил ее за плечо и повернул к себе. Их взгляды встретились. К Арсену вместе с радостью пришла дерзкая мысль. Он спросил:

— И мы будем разговаривать с тобой об идейном содержании пьесы?

Она закрыла глаза.

— Нет, это я знаю с университета.

— Тогда я обязательно вернусь к пятнадцатому.

...И вот очередная командировка началась. Шагая по безлюдному полю, Арсен вспоминал все, что произошло за последние дни. Вспоминая, он словно перебирал в руках вещи, сделанные им, чтобы через минуту отложить их в сторону и приступить к новым. Отложить в сторону, но не навсегда. Он знал, что у каждого события бывает продолжение. Потому что остаются люди, которые творили эти события, Мигунов, например. Крепко предупрежден... Колесов сказал: «Вырастет». В кого? В хорошего человека или в Кострова? А Суворина и ее друзья... Нет, нельзя насовсем забывать вчерашние дела!

Земля дышала свежестью. От этого Арсену было так легко и радостно. Может быть, и не только от этого. За небольшой рощицей показалось село. Арсен жил уже предстоящей встречей с новыми людьми. Знал, что обязательно встретит тех, кто, как он, в мечтах взлетает к звездам, но даже на Вселенную не променяет свою Землю.

Анатолий Преловский

Стихи о любви

БЕЛЫЕ ФЛАГИ

Города не сдаются без бою —
настоящие города.
Но и им
не сравниться с тобою.
И вот этим ты мне дорога.

Я подкопов вести не умею.
И уверен,
что в битвах таких
откровенность
намного сильнее
самолетов и танков любых.

Я, высоким огнем опаленный,
ни блокад, ни осад не веду —
безоружным,
как всякий влюбленный,
на извечную битву иду.

Знаю я:
Это кончится скоро.
Всем ведь хочется жить
без войны...

Милый мой,
недоверчивый город,
ты снимай часовых со стены,
набирайся последней отваги
и вывешивай поскорей
эти белые-белые флаги,
эти флаги победы твоей.

ОСЕННЕЕ

Земля листвою усеяна,
и ты — как тайга осенняя.

Я первым непрочным инеем
вступаю в тайгу, привыкаю
к прохладе ее
и по имени
любимую окликаю.

— Ты слышишь, моя осенняя,
заморозки в округе.
— Ты видишь, моя осенняя,
к тебе протянул я руки.
Иду я в твои урочища,
листы тальника завиваю
и о своей непрочности
рядом с тобой
забываю.
А ты не свыкаешься с инеем,
свободу свою отстаиваешь,
к полу́дню оковы зимние
сбрасываешь —
оттаиваешь.
Но я гляжу без волнения
на эти робкие выпады:
ведь скоро в твои владения
я снегом глубоким выпаду.
Лягут сугробы синие
на тропы,
где нынче хожу.
— Здравствуй, моя зимняя, —
тихо тебе скажу.
Горячий листок кленовый
на ломкий ледок
положу.

ОГОНЬ

В метелях ли,
на тропке ль вешней —
ты все со мной,
ты вся со мной.
Не изменись!
Останься вечной —
недоцелованной, земной.

Тебя люблю и не обижу,
обетами не обвяжу,
и недоверьем не унижу,
и верной быть не обяжу.

Пусть только жизнь
нас чаще сводит,
чтоб ты бывала для меня
костром таежным,
что разводят,
истосковавшись без огня.

Как жил бы я в краях ледовых?
Как находил бы путь в лесу?

Благодарю тебя:
в ладонях
твои ожоги
я несу.

НА РАССТОЯНЬЕ ПОЦЕЛУЯ

Живем, не зная, что вокруг,
не возносясь и не унизясь
при встрече наших губ и рук.
О эта взрывчатая близость!

Вдруг опрокинется весь свет,
мы падаем в траву сухую —
и нет земли,
и неба нет
на расстоянье поцелуя.

Еще во власти этой тьмы
от тела тело отрываем,
глаза счастливо открываем —
и в мир земной
вступаем мы.

Все внове нам:
земля, песок,
внезапные открытья эти —
как мир широк,
как вздох глубок,
как много солнца на планете!

КОГДА РАЗВЕДЕТ РАЗЛУКА

Патриоты больших расстояний,
мы с тобой
привыкаем с трудом
к неожиданности расставаний,
к настороженным встречам потом.

Но когда разведет нас разлука
в две несмежные дали свои,
бесхозяйственность
и разруха
поселяются в нашей любви.

Обживаются там постепенно,
что-то рушат и точат,
и так
разрушают второстепенное,
но основу не сломят никак.

Мы следов разлуки не скроем.
Только мы
и только вдвоем
все разрушенное — отстроим,
обветшалое все — сметем.

О высокое наше доверье,
не размененное на слова,
прямоствольное, как деревья,
и бессмертное, как трава!

ОТТЕПЕЛЬ

Я иду на свидание,
тороплюсь и скольжу.
Вижу брови сведенные.
Что тебе я скажу?

Что погода нелетная,
лег туман на дома?
Что, мол, время нелетнее?
Что проходит зима?

Белый снег еще кружится
над рощей нагой.
Но ледок уже крошится
у меня под ногой.

Ах, вот эти последние,
что даны нам судьбой,
снег и лед —
как посредники
между мной и тобой.

Только ими и полнятся
наши дни и дела.
Через холод лишь помнится,
как хотелось тепла!

С крыши капельки катятся,
капли падают вниз.
Можно ль в оттепель кутаться?
Звать поземку: вернись?!

Потепленье непрошенное.
Лег туман на дома.
И проходит хорошее,
как проходит зима.

Тает снежное кружево
над рощей нагой.
Тает льдистое крошево
и звенит. Под ногой.

ПОСЛЕ ВСЕГО

Сердцем помню тебя
веселой,
глазом помню тебя
высокой,
а руками —
совсем невесомой.

Может, впрямь ты такой была?

После бури —
волна на мо́ре,
после жатвы —
стерня на по́ле,
после боли
не помнишь боли...

Так была ты иль не была?

Валентина Марина

Горячий ключ

Рассказ

На лесоучастке Горячий Ключ очень удивились, когда узнали что на их медицинский пункт назначен известный иркутский врач Протопопов. Особенно обрадовались женщины, которым «от детей и хозяйства не оторваться, чтобы с каждой болячкой в город ездить». Но киномеханик Петя, человек городской и бывалый, разочаровал их:

— Так и поедет он к вам в тайгу, разевайте рот! У него там, в городе, практика и удобства, а тут что? Он перво-наперво квартиру себе из пяти комнат запросит, а потом... скажет — условий не создали... и удерет. Уж я знаю.

Начальник лесопункта Василий Егорович Осипов, человек решительный и горячий, услыхав от жены об этих разговорах, сказал:

— Я начальник, а живу в двух комнатах и молчу.

Раздосадованный тем, что в такое горячее время ему приходится давать занемогшим рабочим лошадей для поездки в больницу, он имел особый счет к медицине.

Протопопов приехал на Горячий Ключ среди дня, когда все начальство было на делянах. Напившись с дороги чаю у фельдшера, он осмотрел небогатое помещение медпункта и один по-хозяйски обошел весь поселок. Побывал в школе, интернате, в детских яслях, в столовой, в магазине.

Наблюдательные горячинские женщины заметили, что ни разу во все время этой медлительной прогулки с лица врача не сходило выражение досады.

— Не понравилось ему у нас, уедет, — теперь уже окончательно решили они.

На другой день медицинский пункт был закрыт. Не принимал даже фельдшер Иван Никанорыч. Санитарка Дуся Лукомская, обычно женщина разговорчивая и неторопливая, на все вопросы соседок только досадливо махала рукой: не до вас, мол. Она то и дело сновала к реке с ведрами, потом побежала в ясли просить утюг, но там он постоянно нужен, и Дуся сломя голову кинулась к учительнице — самой первой в поселке щеголихе.

Раиса Николаевна оказалась на уроке. Дусе волей-неволей пришлось подождать, и тут-то школьной сторожихе Митревне удалось кое-что выспросить у нее.

Новый врач оказался не в меру строг и наводит такую чистоту, что, по мнению, например, ее, Дуси, этакое совсем ни к чему в тайге. Она рассказала, что врач велел даже поганое ведро вымыть горячей водой.

Горячинские женщины, считавшие себя чистехами, были поражены умопомрачительной чистотой, воцарившейся на медицинском пункте. На желтеньком, как яичко, полу лежали домотканные половики, на окнах трепетали, как листочки, легкие марлевые занавесочки, и даже деревянный крашеный диванчик покрылся белоснежной простыней. Всех входивших заставляли снимать шубы у самого порога.

Вся эта непривычная обстановка внушала больным на первых порах отчуждение и даже робость, но врач Георгий Федорович умел так душевно и просто расспросить о болезни, что, кажется, от одной его внимательности больным становилось легче.

* *
*

Несколько дней подряд Георгий Федорович принимал больных с утра до вечера, потом вдруг передал прием фельдшеру и потребовал лошадь.

Узенькая лесная дорожка прихотливо вилась меж сосен и елей, неожиданно ныряла в ложки и вбегала на горки. День выдался яркий, солнечный; на искрящемся снегу лежали спокойные голубые тени деревьев, и такая же голубая бежала рядом с дорожкой кургузая тень лошаденки. Как все сибиряки, Георгий Федорович любил зимний лес и сегодня с особым удовольствием отличал в воздухе терпкий смолистый аромат сосен, легкий дымок от горящих где-то на дальней лесосеке костров. Примостившись на охапке колючего сена, он грубовато подшучивал над своим молоденьким возницей, выпытывал у него всю подноготную горячинцев. Георгий Федорович считал, что врач должен знать всю жизнь своих будущих пациентов, чтобы лечить успешнее.

Длинный закопченный барак Солонянской деляны вынырнул из-за поворота дороги неожиданно. В нарядной раме празднично убранного зимнего леса он выглядел особенно неопрятно. Георгий Федорович даже нахмурился, взбираясь на высокое грязное крыльцо.

Зорким взглядом окинув замасленные голые нары, закиданный окурками грязный пол и прогоревшие железные печки, он пошел в кухню. Стряпуха Аксиньюшка, еще не знавшая врача в лицо, молча с недоумением смотрела, как немолодой сухощавый человек заглядывает в умывальник, на полку с посудой, даже в кадушку с грибами.

— Много здесь обедает рабочих?

— Мало. Больше сами варят.

— Почему?

— Скуснее, говорят, домашнее-то. На всех не угодишь ведь...

Георгий Федорович подвинул к себе табурет, сел, медленно, но веско проговорил:

— Перво-наперво, милая, выскобли в кухне полки, стол и полы. Плиту белить будешь каждый день. Приедешь на Горячий Ключ — получишь халат, марли на занавески, косынку.

Он долго еще говорил так же резко и уверенно. Аксиньюшка под конец часто замигала глазами и, утирая концом платка мелкие слезинки, взмолилась:

— Где я наберу этой чистоты, когда дирекция мне даже известки не дает, не только халата сменного.

— Не требуешь, так и не дает. У начальства не одна твоя кухня. А дощечку, чтобы кадку с грибами накрывать, тоже должно начальство дать?

Аксиньюшка поняла, что новый врач не отступит, и, потушив сварливые нотки в голосе, обещала «все выполнить в точности».

* *
*

Прошла уже неделя, как новый врач жил на лесопункте, а с начальником участка он еще не встречался. Василий Егорович чуть свет уезжал, лазил по плотбищам, по лесосекам и возвращался только поздно ночью, когда поселок уже спал. Занятый лесозаготовками, он забыл проверить, освобожден ли для врача удобный просторный дом, и, увидев однажды вечером Георгия Федоровича у себя в кабинете, неприязненно поморщился.

«Сейчас начнет жаловаться, что до сих пор нет квартиры», — подумал он.

Уверенно подвинув к себе стул, врач не спеша извлек из кармана сложенный вчетверо лист бумаги и так же неторопливо надел на нос очки.

«Видать, не одна квартира, целый список претензий накатал. Потом, значит, в город писать начнет», — наблюдая за всеми этими приготовлениями врача, размышлял Осипов. Подобно многим людям практического дела, Василий Егорович недолюбливал бумаги, носил в голове все большие и малые вопросы хозяйства и всяких докладных, и «исходящих» боялся. То, что Протопопов начал с бумаги, сразу настроило начальника пункта враждебно к врачу.

— У меня к вам вот какие претензии, — подтверждая худшие предположения Осипова, начал Протопопов.

В это время счетовод, резко сбросив костяшки счет, крикнул из другой комнаты:

— Сто одиннадцать процентов, Василий Егорович! Больше чем вчера!

— Дневная выработка, что ли? — с интересом спросил врач.

— Да, — сухо кивнул начальник пункта.

— Неплохо. А ведь могли бы значительно больше дать, — заметил врач.

— На словах-то оно все легко, а возьмешься, так и половины не вытянешь, — язвительно возразил Осипов.

А Протопопов, как бы и не заметив колкости, спокойно продолжал:

— От Горячего Ключа до Солонянки сколько километров?

— Десять. Ну что же из этого?

— Лесорубы после такой тяжелой работы ходят ночевать домой. Не высыпаются путем, конечно. А все это на работе потом сказывается?

— А кто же им не велит ночевать на плотбище? Барак теплый.

— На голых нарах?

— Каждому лесорубу постельный комплект выдан. Я не виноват, что они домой унесли.

— Унесли потому, что в бараке ни сторожих, ни уборщиц нет. Ни полы вымыть, ни проветрить — ровненько, совсем не замечая раздражения начальника лесопункта, доказывал врач. — Или взять кухни. Брезгливый человек обеда с такой кухни не возьмет, если даже там свинину варить будут. Ну, днем человек пробьется кое-как, а ужинать, конечно, к горячему, домой потянет...

Василий Егорович давно уже понял, что врач прав, но согласиться с ним вот так, просто, мешало самолюбие. Прочно привившаяся уверенность, что раз кубометры леса поступают с его лесопункта исправно, значит, и на пункте все исправно, не позволяла сейчас сознаться в упущениях. И он хотел поскорее остаться один, обдумать все это, взвесить.

Но врач не спешил.

— У меня к вам вот какие претензии, — повторил он, взглянув в свою «докладную», как уже мысленно окрестил эту бумажку Осипов. — Умывальников девять штук купите, — и, заметив удивление на лице Осипова, пояснил: — В бараки на всех плотбищах, пилоправам, в хомутарку...

«Даже в хомутарку! Так они и стали там умываться», — насмешливо подумал Осипов.

— Халатов всем стряпухам на делянах обязательно по две перемены, термосы полудить немедленно, в детском интернате нужно потолок засыпать... — продолжал Георгий Федорович.

«Ишь, ты! Даже на крышу забрался! Сует свой нос везде», — отметил про себя Василий Егорович.

— Ладно. Постараюсь ваши претензии удовлетворить. Только вряд ли вы добьетесь чистоты в бараках. Пробовали, — суховато сказал Осипов.

Дальше, по его предположениям, врач должен был заговорить о себе, о пятикомнатной квартире и прочих удобствах.

Но врач встал, пожал на прощание руку и вышел.

От неожиданности Осипов даже поднялся.

«Что же он о себе-то промолчал? Надо будет проверить, как он там устроился», — решил Осипов.

Но утром его вызвали в город принимать новые тракторы, потом на участке Поливаниха регулировали режимы сушилки, и Осипов снова забыл о враче. Он столкнулся с Протопоповым случайно на Солонянке. Осипов приехал туда проверить работу участка, вдруг резко поднявшего выработку. Мастер этого участка Батанов был человек надежный и честный, но выработка что-то уж очень подпрыгнула.

Был обед, и в лесосеках царила тишина. Осипов не заглядывал сюда уже неделю и приятно удивился обилию древесины на верхнем рюме Ушаковки. Весь он был завален свежими штабелями, а лес отодвинулся высоко в горы.

«Нет, видимо, не преувеличивает успехи Батанов. Когда это он успел?» — с интересом подумал Осипов и решил навестить обедающих в бараке лесорубов, а заодно и выведать у Батанова, в чем секрет высокой выработки.

«Ночами, что ли, они пилят?» — размышлял Василий Егорович.

Знакомый до последнего гвоздя барак поразил Василия Егоровича. Еще не разобравшись, в чем дело, он шагнул за порог и остановился удивленный. В чисто промытые окна щедро лилось золотое январское солнце, пол был добела выскоблен, на окнах колыхались беленькие марлевые занавески, даже розовая герань стояла на одном подоконнике.

Вокруг стола плотно сидели лесорубы. Никто из них не оглянулся на стук двери — так внимательно они слушали врача. За выступом перегородки Василий Егорович не видел Протопопова, но сразу узнал его по глуховатому голосу.

— Видите теперь, как легко заразиться, скажем, сапом, а вы в лошадиную торбу свой хлеб кладете, — слышался голос врача. — С лошадью возитесь и, не помыв рук, за стол садитесь! Умывальник, говорите, зря привез...

Переговариваясь и утирая раскрасневшиеся в тепле обветренные лица, лесорубы шумно поднимались из-за стола. По затуманенным глазам женщин было видно, что они еще находятся под впечатлением рассказа. Бойкая Елена Глинская, запевала на всех вечорках, хриплым от волнения голосом сказала:

— Вы еще когда придете рассказывать нам?

— В воскресенье в клуб приходите. Там я вам и картинки покажу, понятнее будет, — торопливо ответил Протопопов. Он уже увидел начальника лесопункта и пробирался к нему. Они поздоровались чуть суховато, и Василий Егорович тотчас обернулся к мастеру Батанову.

— Вы что, Батанов, по ночам работаете, что ли? Когда успели все плотбище завалить?

— Это все доктор, — блеснул молодой белозубой усмешкой Батанов. — Навел тут чистоту, красоту, теперь никто ночевать на Горячий не ходит. Начинаем работу пораньше и кончаем попозже. Вот кубометры и растут, как на опаре.

И он заговорщицки взглянул на Протопопова.

— Да вот теперь лекции Георгий Федорович обещает нам каждую неделю читать. Так что по всем показателям наш участок будет передовым, — засмеялся Батанов.

Василий Егорович вспомнил свою недоверчивость к врачу, и что-то похожее на смущение мелькнуло на его смуглом лице.

«Смешно! Какого черта я тогда всяким сплетням поверил», с неудовольствием подумал Осипов о самом себе.

— Ты, Георгий Федорович, на Горячий сейчас или еще куда поедешь? — дружелюбно, как-то незаметно для себя перейдя на «ты», спросил Осипов.

— На Горячий. Поехали вместе!

Они уселись в одну кошевку.

Едва тронулись в путь, Осипов, скрывая неловкость, ворчливо сказал:

— Я не проверил, как выполняются твои требования насчет чистоты. Если что не так, Георгий Федорович, говори мне. За всем ведь не углядишь.

— Мне бы твое распоряжение, а я уж выколочу, — весело рассмеялся Георгий Федорович.

— Да, а как с квартирой у тебя? — спохватился Осипов.

— Живу у фельдшера, пока ты мне комнату какую-нибудь не дашь.

— Зачем же тебе себя стеснять? Дом-то хороший приготовили! Переезжай скорее.

— Дом, действительно, по таежным местам хороший. Даже слишком хороший. Я в нем родильный покой открываю.

— Вот так раз! Ведь для тебя готовили!

— Вот поэтому-то я и посмел распорядиться им самолично. Ты, значит, мне, а я — женскому полу, — шутливо ответил Георгий Федорович.

«Вон он какой человек-то!» — подумал Василий Егорович, а вслух насмешливо сказал:

— А ну его, этот женский пол! Ведь они, сороки, знаешь что про тебя набрехали? Он, говорят, себе непременно квартиру из пяти комнат потребует и жить на Горячем не станет, условий ему не создали...

Они взглянули друг на друга и раскатисто, от души, расхохотались.

Борис Лапин

Серебряный остров

Рассказ

Было прозрачное утро поздней осени.

Рано-рано, еще не встало солнце, я выскочил из избы, где пришлось заночевать. На дороге лежал серебристый иней, трава на обочине казалась густо посоленной. Лохматые клочья серого тумана висели низко над землей, зацепившись за кусты, прилипнув к заборам. Поеживаясь, я сошел к берегу Байкала, чтобы умыться.

Байкал был спокоен. Он едва слышно плескался у ног, по серой воде скользили последние змейки тумана и таяли. Вдали гладь моря становилась все светлее, а на противоположном берегу проступали загадочные очертания голубых гор, вставших прямо из воды. На горах уже лежал снег. Один из отдаленных гольцов вспыхнул в лучах восходящего солнца, быстрая рябь пробежала по воде, порхнул свежий ветерок. Байкал просыпался.

На прибрежных камнях сидел старик бурят. Он терпеливо вглядывался вдаль, посасывая погасшую трубку, и, казалось, кого-то ждал. Он был одет, как все рыбаки, в брезентовые штаны и телогрейку, старая засаленная шапка съехала на затылок. В его облике не было ничего особенного. И все же его внешность и странный упрямый взгляд невольно привлекали. Что-то необыкновенное почудилось мне в старике. Да и немудрено — человеку, только что выпорхнувшему из школы в самостоятельную жизнь, да еще очутившемуся вдруг в далеком рыбацком поселке на Байкале, и должно все на свете казаться необыкновенным.

Старик, словно отгоняя видение, медленно провел рукой по лицу, оторвал взгляд от Байкала, опустился на одно колено и начал пристально всматриваться в прибрежные камни под ногами. Он то склонялся над ними, то отстранялся, заглядывая то с одной, то с другой стороны, как это делают художники, когда пишут картину. Так продолжалось долго. Уже растаяли клочья тумана, уже солнечный луч показался из-за горы и осветил ближайший мыс, далеко вдававшийся в Байкал, а старик все продолжал свое странное занятие.

— Что вы делаете? — спросил я наконец, подойдя поближе.

Старик взглянул на меня. Его глаза были задумчивы, и я понял, что, всматриваясь в камни, он был далеко отсюда. Он пошарил по карманам, отыскивая затерявшийся коробок спичек, раскурил трубку и только потом заговорил:

— Что делаю? Я ищу правду.

— Правду? Здесь, на этих голых камнях?

— Правду можно найти и на голых камнях. Мы часто проходим мимо правды. Но эти камни вовсе не голые...

Я внимательно глянул вокруг и не заметил ничего примечательного, в чем можно было бы «искать правду».

— Смотри, — сказал старик, показывая на большой серый камень. — Встань на колени, как я, и смотри. Только смотри долго и ничего не спрашивай.

Я опустился на колени, пригляделся — и увидел...

Крутая скалистая гора была пустынна. Со всех сторон ее омывала вода. Маленькие волны плескались у ее подножия. Та сторона горы, которую обдувал ветер, была совер-

шенно голой. А другая, освещенная слабыми отблесками солнца, переливалась и играла, как серебряная парча. На ней густо лежал рыхлый, ноздреватый снег. Где-то в глубине его кристаллов зарождалась искра, потом искра вспыхивала, и на поверхности снега появлялась огромная сверкающая капля. Она хотела скатиться со скалы, упасть в воду, но вдруг уменьшалась, уменьшалась и исчезла, вся масса снега начинала изумительно празднично сверкать и переливаться.

Я встал — и волшебство исчезло. Под ногами лежали обыкновенные серые камни, между ними шевелилась вода. Бок одного большого камня был покрыт тонким слоем испаряющегося на глазах инея.

— Что ты увидел? — спросил старик, раскуривая трубку.

Мне захотелось пофантазировать.

— Я увидел остров. Пустой скалистый остров посреди моря. В него бьют волны. Его обдувает ветер. А на острове тает снег. Даже не снег, наверное, а лед. Он тает, но вода не капает в море. Ее уносит ветер...

Старик задумался.

— Да, ты увидел много, пожалуй, все, что мог. У тебя хорошие глаза. Только главного не увидел. Э, не обижайся! Правду увидеть нелегко. Надо много пережить и о многом подумать. Пойдем, я покажу тебе что-то...

Мы пошли в избу старика. Как во всех избах поселка, в ней пахло свежей рыбой, табаком и смолистым дымом от растапливающейся печи. Хозяйка гремела посудой у плиты. За ее юбку уцепился розовощекий сынишка. Мы прошли в маленькую тесную комнатку за печью, с окошком на Байкал. Массивный, топором рубленный стол, чурбак вместо стула да фанерный шкафчик на стене — вот вся обстановка комнатушки.

Старик раскрыл дверцу шкафчика — и я обмер, пораженный. Никогда не ожидал увидать я в простой рыбацкой избе на берегу Байкала того, что увидел здесь. Это скорее напоминало стенд одного из величайших музеев мира. На полочке в случайных причудливых сочетаниях стояли серебряные фигурки, каждая не больше спичечного коробка.

Два миниатюрных оленя скрестили рога в смертельном поединке. Как тонки рога! И как напряглись впалые бока оленей!.. Озорной медвежонок вцепился в ствол дерева и с любопытством смотрит вниз... Чуткие байкальские тюлени-нерпы пригрелись на краю сверкающей серебряной льдины, готовые каждую секунду соскользнуть в воду... Маленькая лодка уткнулась носом в камыши, охотник весь подался вперед, держась руками за ее борта, забыв о ружье, и собака, тоже устремившаяся вперед, застыла на самом носу лодки. Так и хочется увидеть в камышах утку! Но утки нет, ее дорисовывает воображение... Бурят-лучник натянул тетиву своего лука, прищурил нацеливающийся глаз. Сколько азарта в его позе! Сколько силы в упругой тетиве!.. А рядом вихрастый мальчишка скачет на коне-прутике и воображает себя Чапаевым. Почему именно Чапаевым — трудно сказать. Но что-то неуловимо чапаевское угадывается в стремительной фигурке сорванца, в движении закинутой руки, в смелой посадке головы...

Я не запомнил всего. У меня разбегались глаза.

— И все это сделали вы? — спросил я недоверчиво.

— Это я учился. Здесь осталось только то, что было не так плохо, как все остальное. Я переплавляю все, что не достойно жизни, и снова пускаю в работу. Вот почему из сотен фигурок здесь осталось только два десятка. Но и они, многие из этих, доживают свои последние деньки. Все серебро, почти все, пойдет на главную мою работу. Я уже начал ее...

Он снова повернулся к шкафчику — и предо мной предстал скалистый остров. Чем-то был он похож на тот, что я увидел на берегу. Одна сторона острова, вернее скалы, торчащей из воды, была совершенно голой. На другой сверкал и искрился ноздреватый снег. Теперь я понял: это не снег и не лед, это корка, образовавшаяся от брызг волн, непрестанно ударяющих о подножье утеса. Невысоко над водой по скале тянулся уступ — узкий и длинный карниз...

— Закрой глаза! — приказал старик.

Когда я снова взглянул на скалу — ледяным холодком повеяло на меня. На уступе, почти сливаясь со льдом, стоял заиндевевший маленький человек. Он распростер руки, закинув голову, стараясь как можно плотнее прижаться к скале, врасти в нее. Казалось, сильный ветер, кидавший на него ледяные брызги, грозится каждую минуту столкнуть человека в бушующее море.

— Что это? — спросил я.

— Это длинная и печальная история. Если бы я мог рассказать ее словами, я не отдал бы всю жизнь серебру. — И он кивнул на раскиданные по столу инструменты. — Но мой язык — серебро. И я расскажу ее в серебре. Знаю — на это уйдет вся жизнь. Что ж, моя история стоит жизни. Я решил сделать это еще в детстве, когда не смог бы отковать и подкову. И я учился, всю жизнь

учился... Вот уже пять лет, как я приступил к этому. Но правда не поддавалась мне. Я долго искал ее, да и сейчас ищу. Но, кажется, я иду по ее следу. Это только начало работы. И если за пять лет сделано так много... Я ведь еще не стар.

Я поглядел на его коричневое морщинистое лицо, сгорбленную фигуру, большие со шрамами руки и подумал, что за его плечами уже много лет.

— Приезжай через несколько лет, если не забудешь старого рыбака. Вижу, у тебя светлая голова. Ты умеешь видеть сердцем то, чего не видят глаза. Приезжай! И если закончу к тому времени эту штуку, ты все поймешь сам. Хотелось бы рассказать тебе, да боюсь, слова спугнут воображение. Пока мечта не стала серебряной фигуркой, ее нельзя выпускать из сердца — улетит...

И старик взял крошечное зубило, маленький молоточек на длинной ручке и несколько раз быстро-быстро ударил по слитку серебра величиной с мизинец. Чья-то судорожно изогнувшаяся, цепляющаяся за что-то невидимое рука проступила под острым лезвием зубила. Увлеченный работой, старик совсем забыл про меня, и я незаметно выскользнул из избы.

Предо мною, как старинная серебряная чаша, лежал Байкал. Солнце уже поднялось, и гладь воды переливалась чистым живым серебром. Далеко-далеко сверкал ослепительным снегом зубчатый противоположный берег. И мне показалось, что все это — одно из творений старика бурята, случайно забытое им здесь, на берегу.

...Прошло много лет. Я уже почти забыл о старике буряте и его серебряном острове и, верно, никогда не вспомнил бы о них, если бы не случай.

В большой пригородной деревне мне пришлось заночевать в доме моего старого знакомого учителя местной школы. В тот вечер его не было дома, и его отец, древний старик, тоже в прошлом учитель, взял надо мной шефство. Он оказался преинтересным рассказчиком, и мы засиделись за полночь. На дворе вьюжило, то и дело постукивало ставней, ветер завывал в трубе. А мы сидели под уютной лампой с огромным самодельным абажуром, графинчик душистой настойки стоял на столе, но оба мы были увлечены не столько графинчиком, сколько беседой.

— Вы вот говорите, в искусстве непременно берется множество фактов и фантазия автора смешивает их в один, так сказать, собирательный образ. Я, конечно, понимаю: типическое там и прочее подобное. А все же за основу сюжета автор берет непременно живой факт. Еще тепленький. И факт, случай из жизни вдохновляет его. Только так! И даже самые фантастические сюжеты... Я знаю, вы сейчас из Гоголя приведете. А я вам — опять же из жизни.

...Это было давно, ой как давно! Минуло мне тогда что-то около пятнадцати лет. Жил я на Байкале, в далеком рыбачьем поселке. И был у меня сердечный друг, сорванец-мальчишка, мой ровесник. Самостоятельный парень. И упрямый, как сам черт. А в ту осень пришлось ему стать кормильцем в семье. Отец его купил билет на маленький пароходик и поехал на недельку в Усть-Баргузин по каким-то делам своим. И никто больше ничего не слышал ни о пароходике, ни об отце. Всю зиму искали следы погибшего парохода — безрезультатно. Смирились. Привыкли, что частенько обижал рыбаков Байкал. Вместо отца стал дружок мой сети ставить, омулька брать.

А весна пришла, снежок подтаивать начал, понадобилось нам побывать в соседнем поселке. Рано утром встали на лыжи и еще затемно по морозу отправились в дорогу. Верст пятнадцать отмахали до солнца, да не берегом шли, берег у нас петлючий, а напрямик, по льду. Как взяли утром направление, так и старались не сворачивать. Не знаю, как уж нас угораздило, а только удалились мы, так теперь говорят, «в сторону моря», и близко подошли к гряде скалистых островов. А должны были посередине между берегом и островками пройти.

Солнце взошло у нас за спиной, две длинные тени впереди бегут, на торосах ломаются. И вдруг остановился мой дружок, застыл, стоит, как вкопанный. Мы уж тогда книг читали много и ни в каких чертей не верили. А тут зашептал он что-то по-своему, по-бурятски, да так быстро, так быстро. Понял я — заклинанье какое-то. Глаза у него зорче моих были. Однако пригляделся я — и как-то не по себе стало. То ли мираж вижу, то ли барельеф какой из книжки про древних греков — была у нас такая книжка. Ничего толком не пойму, чувствую только, что неладно дело. Тут друг мой скинул на лед мешок из-за спины да шубейку и как был, в одной куртке, припустил вперед. Ух и припустил! Я за ним.

И вот что мы увидели. Торчит изо льда одинокая скала, ни дерева на ней, ни кустика. Одна ее сторона черная, голая, а другая, подветренная, вся в снегу. И с этой стороны, в самом деле, как барельеф на стене, вылеплены кем-то человеческие фигуры. Стоят на высоте нашего роста, друг друга поддерживают.

Я еще подумал, что, наверное, не вылеплены они, а высечены изо льда каким-то чудаком. А дружок мой как бросится к одной из фигур, к ногам ее, да как закричит диким голосом:

— Батька мой, батька!

Тут-то и понял я, что не чудак сделал статуи, а природа. Да из такого материала, что нет его на свете дороже. Всю зиму простояли на скале люди — тринадцать человек, русские и буряты. Целую зиму.

Солнце светило прямо на скалу, и сверкали этаким холодным серебром тринадцать человек — статуй. Тринадцать серебряных статуй. Так они и до сих пор в памяти моей сверкают...

Замолчал старый учитель, задумался. Тринадцать серебряных статуй. Что-то я уже слышал об этом. Но что? И когда? Помнится, светлое было воспоминание, приятное.

За окном ревела пурга, швыряла снегом в ставни. Во дворе завыла собака. И я представил себя стоящим на уступе в ряду тех тринадцати. Это было невесело. Мы подняли рюмки.

— Как же это было? — спросил я.

— Как было? Кто знал, тот уже не расскажет. Думаю, это было так...

...Байкал был спокоен, когда маленький пароходик вышел в море. Сарма налетела неожиданно, как всегда налетает сарма. Она бросала суденышко с волны на волну, играла с ним, как кошка с мышонком, и если сразу не прихлопнула тяжелой лапой, так только затем, чтобы дольше потешиться. Волны перехлестывали через палубу, вода заливалась в трюмы. Но старый капитан оставался спокоен. Не впервой приходилось ему вступать в поединок с Байкалом. Бортовая качка усилилась. Крен был такой, что казалось — вот-вот захлебнется суденышко. Тяжелые тучи низко нависали над водой. Самые высокие волны касались самых низких туч. Хлынул ливень. Но капитан не дрогнул. И лишь когда отказал руль, побледнел капитан, старый байкальский моряк.

Суденышко сносило ветром к скалистой гряде. Спастись было невозможно. Единственная маленькая надежда — сесть на мель. Но ветер был неумолим и пароход ударился о скалы. Капитан погиб, а оставшиеся в живых тринадцать человек спаслись, выкарабкались на уступ страшного острова, разбившего их пароход. Десять шагов в длину уступ, полшага шириной. Сесть нельзя. Лечь можно, но, если лечь, пятеро уместятся, а их тринадцать. Вот и пришлось стоять Стояли все вместе, поддерживая друг друга, как и положено людям в трудную минуту. А ветер грозился сбросить их в море, и волны бушевали внизу, под ногами, обдавая людей ледяными брызгами.

Потом пошел снег. Это был мокрый густой снег, он сек лицо, залеплял нос и глаза. Люди соскребали его с лица закоченевшими пальцами, а ветер снова швырял и швырял снег, и не было этому конца.

Чтобы согреться, люди пробовали петь. Они старались перекричать ветер. Но он и тут не давал им пощады, срывал слова с губ и уносил их в море! Тогда люди стали петь каждый свое только для того, чтобы слышал сосед, чтобы знал сосед, что он не один.

А снег все хлестал и хлестал. И люди поняли, что это хорошо. Теперь они уже наполовину вросли в ледяную глыбу, и можно было не держаться. Люди поняли, что теперь им не страшен ветер.

Сколько они простояли так? День, два? Верно, не больше. Многие поседели за это время. Кто-то умер из них раньше, но и мертвый оставался в строю, прикованный льдом к скале и к живым товарищам. А каково было тому, кто остался в живых последним, и один среди мертвых все еще ждал, все еще надеялся?..

Умолк рассказчик.

— Вы к тому начали, — напомнил я погодя, — что любое искусство начинается от жизни. Разве есть что-нибудь про это?

— Кто знает, — сказал он, — может и есть. В детстве мой дружок одержим был этой идеей. Боялся я за его голову. Зря, наверное, боялся. Всякое художество с этого начинается — с одержимости. Дал он клятву: «Жизнь, — говорит, — отдам, а изображу правду, как было». С тех пор ничего о нем не слышал...

Глянул на часы старый учитель. Посидели мы еще немного и легли спать. А назавтра, уезжая из деревни, утонувшей в морозном утреннем тумане, глянул я на заиндевевшие серебряные тополя и вспомнился мне странный старик с Байкала, его серебряные фигурки, его поиски «правды» на берегу. Припомнился и серебряный островок с уступом, человечек на нем и чья-то судорожно изогнувшаяся рука, появившаяся из серебра на моих глазах.

Не о нем ли рассказывал старый учитель? Как знать! Много безымянных талантов на нашей щедрой и трудной земле. Кто же он, полузабытый старик с Байкала — свидетель и почти участник страшного события или художник, всю жизнь отдавший случайно подхваченному сюжету? И закончил ли он свой заветный серебряный остров? Все это так за-

интересовало меня, что поездка на Байкал, в тот далекий рыбацкий поселок, стала неизбежной.

Я сразу отыскал избу на берегу Байкала, где когда-то увидел фигурки из заиндевевшего серебра. Меня встретил молодой розовощекий бурят, сын старика.

— Умер отец, — сказал он. — Уже два года, как умер. А серебро, точно, было. Помню, забавные фигурки делал старик. Только свихнулся он под старость лет, все пытался какой-то остров изобразить. Олени были, лодка, медведь — все переплавил, все на остров ушло. Кажется, он даже закончил его. Остров, какие-то фигурки на нем. Мистика и белиберда полная. Никакой возвышенной идеи. Да, видно, и сам он понял. «Правды, — говорит, — не хватает!» Рассердился, бросил свой остров в тигель и все снова начал. Так и помер старик, а остров остался незаконченным. Только два человека стояли на скале. А должно их быть, помнится...

— Тринадцать, — подсказал я.

Молодой бурят зевнул, вежливо прикрыл рот ладонью.

— Может, и тринадцать, не помню. Странный человек был старик мой. А под старость и вовсе свихнулся с этим островом...

— Где же этот недоделанный остров?

Он улыбнулся:

— Было как-то с деньжатами туго. Так я его того... в тигель. — Больше я ни о чем не спрашивал этого образованного сына своего «странного» отца. Я вышел из избы и спустился к воде. Словно выкованный из чистого, искрящегося серебра, вобравший в себя чью-то неугомонную мысль и чью-то трепетную душу, лежал предо мною Байкал.

Борис Новгородов

Тит Кусков, трудный человек

Рассказ

Запала в душу встреча с одним человеком. Но вот писалось о нем туго — слишком уж сложный попался характер. А тут еще дела отрывают то на неделю, то на две, а то и на целый месяц.

Наконец написано! Звоню в колхоз: как, мол, там мой знакомый поживает и что новенького в деревне объявилось?

Телефонная трубка невнятно тянет:

— Как же, как же... есть и новости... как не быть... а человек-то, которым интересуетесь... того... умер...

— Как умер?!

Трубка спохватывается:

— Это, наверно, из прокуратуры?

— Нет, не оттуда.

...И вот нет человека. Есть земляной холмик, деревянная оградка да по заказу струганый сосновый обелиск.

Немало тому человеку лет было, но так уж случилось, что самые интересные, самые стоящие годы непрожитыми остались. Так уж получилось, что не услышал он за всю свою жизнь ни одной похвалы. Вот почему захотелось рассказать его историю, узнать: неужели так и не заслужил он хотя бы одного доброго слова?

* *
*

Больше всех в этот вечер волновался, пожалуй, колхозный счетовод Петя Донников. Строгие протокольные фразы, втихомолку заимствованные для этого из «Речей известных русских адвокатов», вылетели из головы с первым же словом, и Донников теперь до звона в ушах напрягал свою память, чтобы вспомнить хотя бы одну из них.

В роли общественного обвинителя ему приходилось выступать впервые. Да и сам товарищеский суд — дело для колхоза новое, необычное. Может быть, поэтому даже в коридоре, где сгрудились опоздавшие, на этот раз не дымилось ни одной едкой махорочной самокрутки. Было не до курева. Стоящие в дверях вытягивали шеи, поднимались на носки, чтобы увидеть выдвинутый к срезу клубной сцены стул, на котором сидел Гришка Малых, зажавший ладонями свою по-детски маленькую головку с красными оттопыренными ушами.

— Значит, так, — наконец решился Донников. — Ты... то есть вы... обвиняетесь в том, что с места строительства межколхозной ГЭС... взяли... то есть взял... тридцать метров медной проволоки и... — Петя защелкал в воздухе пальцами, подыскивая нужное слово, — ...и...

— Да чего там! — нетерпеливо раздалось из зала. — Крой прямо! Не бойсь!

— ...и пропил! — с облегчением выдохнул Донников слово, выражающее самую суть.

— А вопрос можно?

Это поднялся Тит Кусков, бригадир «леваков» — плотников, с которыми работает Гришка.

— У меня только один вопросец. К Петьке...

В зале зашушукали.

— То бишь к товарищу Донникову, — поправился Тит. — Гражданин судья, — не пряча ухмылки, продолжал он, — а ведь проволочка-то, можно сказать, бросовой была. Без малого целый год там без присмотра валялась. А Гришка подобрал ее, от грязи очистил и сдал. Да не куда-нибудь, а в государственный ларек «Вторсырье». Теперь, глядишь, она и в хозяйские руки попадет. Человеку за это, может, спасибо сказать надо, а вы...

— Но ведь на вырученные деньги он водку купил!

— А раз купил, значит, теперь не только проволока, но и деньги у государства в кармане оказались, — в голосе Тита зазвучало неподдельное удивление, — так за что же...

Но последние слова Кускова перекрыли выкрики враз зашумевшего зала:

— Ты эти штучки-загадки брось! Слышь?

— Защитник какой выискался!

— Слушал бы да на ус мотал: недалек черед...

...Домой Кусков возвращался вместе с колхозным парторгом Иваном Кручиным, по дороге было.

— Ты скажи мне, — допытывался Тит, — мог я свое слово в защиту Гришки сказать?

— Мог.

— А почему договорить не дали? Выходит, не тот прав, кто прав, а тот, у кого больше прав! Так, что ли, получается? — и гнул свою лобастую голову, заглядывая в глаза Кручину.

— Почувствовали мужики, что не туда гребешь, вот и зашумели. Неясный ты человек, Тит. Душа твоя алчная. Не зря, однако, тебя в Типа перекрестили...

— Еще и Китом зовут...

— Да-а... Тип, Кит — не лестно все это. Ты Гришки-то Малых похитрей, пострашней, пожалуй...

— Так ведь воровать тоже надо уметь, — увильнул Тит от прямого ответа.

Теперь уже Кручин, удивленный таким откровением, заглядывал в глаза Тита.

— Да ты соображаешь, что говоришь?

— Соображаю! А зенки на меня пялить нечего — не баба...

Дома Тит сказал жене:

— Вот ведь дело-то какое. Раньше бы этого Гришку на пару лет как пить дать упекли, а теперь — на тебе! — на поруки взяли! Чудеса!

* *
*

Крепким, кряжистым мужиком был Тит. Не было в деревне другого, кто бы мог поспорить с ним — в банную субботу пересидеть его в каленом, нетерпимом пару. С утра натапливала Авдотья продымленную и прокопченную, еще дедом сложенную баню, снимала из-под стрехи пару веников. К вечеру Тит доставал из погреба жбан с квасом, из которого одновременно и пил и веники мочил, оберегая уши, надевал шапку-ушанку, обвертывал тряпицей крест, чтобы не жег грудь, и, покряхтывая от предстоящего удовольствия, лез на полок, где уже стоял знаменитый титовский пар и крепкий, годами выстоянный березовый дух. И начинал.

— Ох-хо-хо! — неслось из бани через сломанное, заткнутое рогожей единственное оконце. — Ох-хо-хо!

Потом в одном исподнем выскакивал из предбанника, садился на завалинку, складывал губы трубкой: дышал, остывал, приходил в себя. Буграми торчали лопатки, на груди прели березовые листья.

Отдышавшись, снова забирался на полок домолачивать второй веник.

— Двужильный, — говорили про него соседи. — И зачем так истязаешь себя, Тит?

Отшучивался:

— Рай-то, чую, не по мне, вот к аду и тренируюсь...

Построили в колхозе баню. Плати пятак — и мойся хоть до утра. Сходил туда и Тит. Но только однажды. Высмеял. «Разве, говорит, — это баня? В парной простыть можно. От моего самовара и то больше жару...»

В бога Тит не верил с тех пор, как половодье сразу унесло жизнь сына и невестки — матери его единственного внука Сережки. А крест на тонком крученом гайтане носил просто так, по давней привычке не обижать безропотную и набожную Авдотью.

А что касается пара в колхозной бане, то тут Тит душой покривил — пар был что надо. Просто повстречался там со своим соседом Евстигнеем Мошкиным, которого терпеть не мог и который ту баню хвалил. А все, что Евстигней хвалил, Тит охаивал.

Тридцать лет прососедствовали Евстигней с Титом и за все это время слова друг другу не сказали. Тит не хотел. До боли в душе, до бессонницы завидовал Евстигнею, колхозному свиноводу. Как это было мучительно — таить про себя зависть, стараясь хоть чем-нибудь перещеголять соседа.

Евстигней радиолу себе купил, а Тит в город съездил, три ночи в очереди простоял, зато телевизор привез. Евстигнея на совещание животноводов области послали, и он оттуда с подарком вернулся — с ковровой дорожкой. Тит снова в город — и тоже с ковром приехал. Сосед крышу тесом перекрыл, а Тит вокруг своей усадьбы новый забор поставил. Да какой забор! Вровень с верхними венцами! А потом Евстигнея депутатом районного Совета выбрали. Вот тут-то и понял Тит, что есть на свете вещи, которые на деньги не купишь и по лотерее не выиграешь. Понять-то понял, а легче от этого не стало.

* * *

На другой день после товарищеского суда Тит за огородами повстречал Гришку. Тот хотел было вильнуть в сторону, к черемушнику, но Тит сгреб его за воротник, притянул к себе, замахнулся.

— У-у, раззява! Емелей прикидываешься!

Но ударить — не ударил. Пригрозил только:

— Смотри у меня, проговоришься комунибудь — зашибу! — поднес к Гришкиному носу кулак, из-за которого остались видны одни только оттопыренные Гришкины уши.

Запасливым, зажимистым мужиком был Тит. Мимо бросового гвоздя, не нагнувшись, пройти не мог. В лесу редкую поляну литовкой не трогал. И побраконьерничать возможности не упускал.

— А что поделаешь, — говорил, — каждый хребет для себя гребет.

И где он только такие поговорки брал! Ходил по деревне слух, что будто сам сочинял — уж очень на язык остер и боек был. Так же боек, как и к чужой беде равнодушен.

...Сухой июньской ночью набат поднял на ноги всю бригаду. Горел дом Евстигнея Мошкина. Все, кто хоть чем-нибудь мог помочь, были здесь. Все, кроме Тита.

Днем, после пожара, Тит по многолетней привычке лег соснуть часок-другой. Но вскоре проснулся: в голове словно дятел стучал. Встал, выглянул на улицу. Тюкали топорами парни из соседней колхозной бригады: клали новый дом Евстигнею.

— Да-а-а, влетит он ему в копеечку, — сказал Тит проходившему мимо парторгу.

— Не влетит.

— Это как же понимать?

— А вот так и понимай.

— Задарма, что ли?

— Смотря как рассуждать. Евстигней только нынче уже две тысячи свиней откормил. Артель в передовые вывел. Вот колхоз ему новый дом и строит. Заслужил.

Вечером, кое-как минуя гремящего цепью и охрипшего от злости волкодава, Кручин зашел к Титу. Пол в сенях был выстлан свежей осокой, а в комнате — домотканными яркими половиками. На столе — свистящий самовар, чугунок с наваром, початая поллитровка, а в миске горка вареных яиц...

— По какому поводу пьешь? — как мог веселее спросил парторг.

— Престольный праздник.

— Какой?

— Перенесение порток с печки на шесток, — зло огрызнулся Тит. — Что уж теперь без причины и выпить нельзя? Ну, чего надо?

— На огонек зашел. Могу и уйти. Извиняй.

— Да стой ты! Садись, вместе вечерять будем. Выпьешь?

— Нальешь, так выпью.

Чокнулись.

— Ну, будь здоров, Тит.

— Здоровье-то мое никакой леший не отнимет. Чего бы другого пожелал. Я, может... с горя пью, — неожиданно признался Тит.— Все вроде есть, а вот чего-то заглавного не хватает. А чего — не пойму...

— Нет тут ничего мудреного. Все ясно...

— Опять коммунизмом убеждать будешь?.. Бесполезно: мне в нем, паря, не жить.

— А Сережке, внуку?

— Это другое дело.

— Так ты и ему своими сундуками дорогу туда загораживаешь!

— Ну, это ты брось! Не путай корову с божьей коровкой...

— Не я — ты перепутал. Посмотри на себя со стороны, оцени... Отгородился своим забором от всего света. Что вокруг делается — не замечаешь. Только за то дело берешься, на котором руки погреть можно. В закутке вон кабанов для базара откармливаешь, сеном торгуешь... А таким нужен ты колхозной семье, как дырка новому мосту. Смотри, Тит, не образумишься — дождешься общего собрания, простятся с тобой колхозники...

— Что-о-о? — Тит даже привстал. — Меня из колхоза?!

— А ты как думал?

— Да ты чуешь, что говоришь! Отец мой на этой земле жил, дед... Кровью я с ней спаян...

— Ишь кого вспомнил! Отца... Да твой-то отец разве тебе чета? Он ведь первым в кол-

хоз вступил, лошадь свою сам в артельную конюшню привел... А ты? Как суслик, все к себе утащить норовишь!

И пошел. Тит что-то хотел прокричать ему вслед, да не нашлось на этот раз у него поговорки-отговорки. Да что поговорки — слова! Так и остался стоять на пороге с открытым ртом. И только через несколько минут, придя в себя, закричал вдогонку:

— Только не думай, что перевоспитаешь меня! Слышь? Как Титом был, так Титом и останусь!

После того как Кручин ушел, Тит, вернувшись за стол, еще долго сидел, подперев кулаками потяжелевшую, тукающую голову. «Ишь ты, советчик выискался: посмотри на себя со стороны, оцени... Знаю себе цену... А все же... все же какой я на самом деле, а? Какой?» Поднял голову и прямо перед собой в зеркальном боку самовара увидел сплюснутую, растянутую до никелированных ручек губастую образину.

— У-у, морда!

И от злости на растравивший душу разговор, от злости на свою жизнь, на самого себя ухнул кулачищем по столу.

Неслышно подошла Авдотья:

— Да не серчай ты. Я вот тебе успокоеньице приготовила.

И выложила на стол колоду новеньких рублевок.

— Послушай, хрустят-то как! Телушку удалось выгодно сбыть...

Выскочили из миски и покатились в разные стороны яйца, встала на бок самоварная конфорка, поплыла по клеенке сорокаградусная влага.

— Успокоеньице нашла... — прохрипел Тит, потирая ушибленный кулак.

С тех пор Кусков избегал встреч с Кручиным, а если нечаянно и сталкивался с ним, то старался отмолчаться. Видно, в самой сердцевине души засели парторговы слова об отце. Уж и рад бы забыть их Тит, да правильное, справедливое слово разве чем вытравишь? Так и стоит теперь перед глазами тот далекий, цепкой мальчишеской памятью схваченный и сбереженный последний день отца... Полрубахи на спине отца — ярче макового цвета. Упав лицом вперед, обняв руками землю, он лежит у плетня, а в полуденной теплыни еще катается глухой отзвук тайного кулацкого выстрела: гха-ха-ха...

— Вот и отсеялся я... отпахался, — силится удержать на весу голову отец. — Порешили-таки... гады. Ну да ты вот какой у меня!

Цветет отцова рубаха. Вместе с кровью убывают силы. Отец торопится высказать главное.

— Землю... кормилицу... береги: заместо матери она тебе...

Ревностно исполнял Тит родительский наказ. Берег землю. Семь соток. Своих, кровных. А когда открылась наконец ему большая правда предсмертных отцовских слов, когда он понял, что держаться-то надо было не за этот мереный-перемеренный кусок земли, «свое» уже паучьей хваткой держало душу, высасывало совесть.

...Отнежившись, созрел овес, прошла пора мерцания ночных светляков, утрами уже прихватывали утренники. Тит все еще ходил замкнутым, нелюдимым. Не заговаривал с ним и Кручин. Хотел, чтобы Тит один на один справился со своим характером. И вот однажды Кусков с каким-то необычным для него чистым, проясненным взглядом сам пошел ему навстречу и против обыкновения заговорил первый:

— Ну вот... и лето на убыль пошло...

Кручин промолчал, проверяя свою догадку.

— Утка уж поди на крыло встала?..

— Наверно.

— Вот и я говорю: встала.

— А чего не встать? Время подошло.

— Подошло.

— Самая пора... на крыло...

— Да-а, пора...

— Пора...

И не выдержал:

— Э-эх! Чего голову морочить. Заходи-ка ко мне — разговор есть.

Дома рассказывал:

— Сам знаешь, хоть и сундуки у меня полные, а все равно жизнь моя тускла, как свет в парилке, горька, как привкус от горилки. Не живу — мучаюсь. Извелся весь. Раньше думал: где боком, где скоком, так и до конца дотяну, а теперь вижу — не по тому правилу жил: одним собой доволен был. Ну, да теперь это дело прошлое. Не за тем звал. Ты вот что... проволоку-то, которую Гришка Малых пропил, помнишь? Так вот, не продавал он ее в ларек. Это я ее у него за литровку сменял, думал, сгодится где... Как уходить будешь, так и забери ее. В сенях она сразу за дверями лежит.

— А ты сам принеси. Завтра в правление пойдешь и занесешь.

— Судить будут?

— Это уж как колхозники решат.

— А я теперь не боюсь! Ничего не боюсь! Понимаешь? Вот ведь дело-то какое. Как

будто всю жизнь грязным ходил и только сегодня умылся.

...Ночью Тит бродил по черемушнику. Беззвучно лопались на его лице паутинки. Он не замечал их. Думал: «Нет, не вышел еще срок моей жизни, не вышел. Еще покажет себя Тит Кусков: вон сколько силы-то сбережено». Хряснув, переломилась надвое осинка. «Есть сила, есть. И совесть... не растрачена».

Над черемушником поднималось чистое, как яичный желток, солнце.

* *
*

Утром Тит пришел в правление, поскреб провалившуюся за ночь щетинистую щеку и тихо, почти про себя, сказал:

— Вот ведь дело-то какое. Избу-то Евстигнееву... я поджег.

Виктор Киселев

Земля России

СЛОВО О ФУНДАМЕНТЕ

Бетон с железом,
Серый камень
Иль кряж,
Пропитанный смолой,
Пойдут надежно
На фундамент,
Что свяжет здание с землей.
От самой крыши
И до пола
Велик многоэтажный дом.
Но есть фундамент,
Он — опора,
Вся тяжесть держится на нем.
И все теснее,
Все теснее
Контакт фундамента с землей.
Он в землю врос,
Он слился с нею,
Он сам земля,
Он шар земной!

НА ВЫРУБКАХ

В тайге,
Под сомкнутыми кронами,
Живут деревья до сих пор
Чужими волчьими законами,
И жив естественный отбор.
Мы утверждаем мысль великую,
Что человек природе брат,
Но пред нетронутой и дикою
Он все же очень виноват.
И не теперь об этом вспомнивши,
В тайге,
Увидев бурелом,
Мы не протянем руку помощи,
А к ней приходим с топором.
На вырубках тенеты терния,
Пеньки
Да жухлая листва...
Будь славен тот,
Кто срубит дерево,
А вслед за тем
Посадит два.

Я ХОЖУ ПО ГОРОДУ

Я во много раз моложе города,
Где родился,
Вырос
И тружусь.
С головою, поднятою гордо,
По родному городу хожу.
Скажут удивленные прохожие,
Обращаясь только к нам двоим:
— До чего же вы друг с другом схожие
Статью и характером своим...
А откуда быть у нас различию,
Если люб он сердцу моему,
И не ради ложного приличия,
А по долгу предан я ему.
Если все,
Что есть во мне хорошего,
От себя
Он щедро мне отдал.
Если по большому счету спрошено
И с меня,
Чтоб город краше стал.
Я хожу по городу,
И верится,
Благодарно помнят обо мне:
На бульваре —
Тоненькое деревце,
Крепкий камень —
В городской стене.
Выхожу я в город на воскресники,
В руки кисть веселую беря.
Милый город!
Мы с тобой ровесники,
Если счет вести от Октября.

Выглядишь ты
И свежо,
И молодо
Даже после трудового дня...
Я-то знаю:
Мне не жить без города,
Город будет жить и без меня!

РАСТУТ ХЛЕБА...

Растут хлеба
Высокие,
Густые,
Напитанные соками земли...
Здесь люди не слонялись,
Не гостили,
А как хозяева себя вели.
Хлеба взошли
Едва-едва заметно.
И подрастая,
Нехотя,
Чуть-чуть,
Поднялся колос,
Вымахав за лето
Сперва по пояс,
А потом по грудь.
И ласково плеча людей касаясь,
Шумит пшеница,
Шелестят овсы.
И каждый колос —
Писаный красавец,
А весь массив —
Неписаной красы.
Растут хлеба
Высокие,
Густые.
На радость нам,
А недругам на страх...
И кажется, сама земля России
Заметно выше стала на полях.

ОЗЕРО АЛЯТЫ

Мне сказали старые буряты:
— Есть в Алари озеро Алято.
Коль Алято не посмотришь, паря,
Значит, и не видел ты Алари...
Выхожу я на алятский берег:
Надо все увидеть,
Все проверить.
Словно шерсть баранов тонкорунных,
Пенятся на озере буруны.
Резкий ветер гонит вал за валом
К берегам
Что сомкнуты овалом.
И как в сказке,
Медленно,
Степенно
Лебеди рождаются из пены.
И звенит струя,
Как струны гусель,
И кричат воинственные гуси.
К вечеру отчаливают баты.
И плывут по озеру Алято
Утлые суденышки рыбачьи
В камыши далекие рыбачить.
Не солгали старые буряты.
Я стою у озера Алято.
Ветер в даль саянскую умчался.
Над волной зарница засверкала.
Мне казалось,
Здесь я повстречался
С юным внуком старого Байкала.

Лев Могилев



Научно-фантастическая повесть

Быть или не быть — таков вопрос.

(Шекспир «Гамлет»)

СОГЛАСЕН

Это было страшно, но он не видел иного выхода. Тщетно отодвигал он роковой миг решения. Нужно решать.

Светлые глаза профессора внимательно изучали его лицо. Ах, не все ли равно! Не все ли равно, какой путь приведет тебя к роковому исходу!

Но то был лишь голос самоуспокоения. Конечно, не все равно! Ведь имя этому — «Смерть».

Он рассматривал свои руки, бессильно лежащие на коленях. Тонкие, прозрачные, с ясно обозначившимися синими венами, они, казалось, непригодны уже ни для какой работы. Даже карандаш выпадает из слабых пальцев. Нужно решать.

Год за годом точил его недуг. Сначала тихо подкрадывался, как вор в ночи. Облик его был смутен. Среди шумной и пестрой жизни он мелькал как тень, заставляя вздрагивать. Потом стал наглее. Его уродливый облик все яснее обрисовывался, все чаще возникал перед глазами.

«Здравствуй, Нед Карти, — говорил призрак, — я здесь. Ничто не разлучит нас, ибо я — в тебе!»

Увы, Нед хорошо понимал это. Тщетно гнал он беспокойные мысли, тщетно старался думать о другом. Душной ночью, не в силах заснуть, он чувствовал, как что-то тяжелое давит на его грудь, мешает дышать. Потом в него заползала какая-то холодная скользкая масса, заполняла все тело. И оно становилось слабым, чужим. И было страшно.

Как несправедлива жизнь! Ведь он, Нед Карти, не хуже других. Нет, он даже лучше многих! Молодой, талантливый, он рано преуспел в науке. Жизнь звала его к свершению больших дел, жизнь обещала ему многое. И Нед знал, что может и должен сделать многое. Его живой и цепкий ум рисовал тысячи путей, ведущих вперед. Вперед, сквозь

преграды, сквозь трудности, всегда вперед! И вот пришлось остановиться на полпути.

Нед познакомился с профессором Траубе год назад. Судьба случайно свела его с этим странным ученым. На физиологической конференции. Профессору понравился доклад Неда. В кулуарах разговорились. Траубе изъяснялся сложно, почти недоступно. Но было в его словах нечто притягательное, как бездна. Потом Нед часто бывал у Траубе дома и в лаборатории. То, что продемонстрировал ему профессор, казалось еще более странным. С удивлением наблюдал он, как блестящие металлические игрушки бегали наперегонки с живыми мышами и крысами по сложным лабиринтам. В лаборатории сочетались электроника и физиология. Сотни моделей и сотни разных животных в клетках: мышей, белых крыс, морских свинок, кроликов, кошек.

Приборы были необычны. Они таили в себе загадку. В них, как в строгих формулах, была воплощена неведомая постороннему научная мысль. Но особенно восхищала Неда операционная. Серебристо-матовое сияние заливало ее. Хирургический инструментарий грозно поблескивал в шкафах. Огромный бестеневой рефлектор, операционный стол, столик для операций над мелкими животными, дыхательный столик, искусственные легкие, автожектор — все это составляло необходимое добавление.

Чрезвычайно интересны были регистрирующие приборы, позволяющие уловить ничтожнейшие функциональные сдвиги в организме. Как физиолог, Нед прекрасно знал научную цену этого оборудования.

Из скупых и сложных пояснений Траубе перед Недом постепенно возникала огромная мысль. Он не мог постигнуть всей грандиозности научной идеи профессора, но чувствовал это, как чувствуешь приближение урагана. Все яснее и яснее становилась она, и, когда Нед понял ее, он ужаснулся.

— Биотоки... — говорил профессор, — вы не знаете, что это такое, хоть вы и физиолог. Биотоки могущественны. Они — как запал, как капсюль-детонатор в артиллерийском снаряде... Мы недооцениваем значение биотоков, используем их лишь как показатель физиологических функций. Этого недостаточно.

С глубоким вниманием прислушивался Нед к словам Траубе, стараясь точно следовать по его мысленному пути. Но это не всегда удавалось.

— Биотоки связывают мозг с рецепторным и эффекторным механизмом, — продолжал Траубе, — но их можно использовать и для другого. Под влиянием биотока электронный луч осциллографа пишет сложную кривую. Ну а если эта кривая — код механических процессов искусственной системы? Что тогда? Угадываете? Итак, я говорю о трех звеньях:

МОЗГ — ОСЦИЛЛОГРАФ — МЕХАНИЧЕСКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

Разумеется, речь идет не именно об осциллографе, а об электронном усилителе и трансформаторе биотоков...

— Собственно говоря, эта идея уже имеет техническое воплощение, — отвечал Нед, — я разумею ныне существующие кибернетические протезы...

— Не то, не то! — возражал Траубе, — протезировать часть тела, например, руку — это одно, а протезировать все тело — это другое!

— Как вас понять? Вы говорите об автомате?

— Не совсем... Я говорю о теле-протезе с живым мозгом. Я говорю о том, что мозгу можно дать иной исполнительный механизм.

Затем профессор демонстрировал свои «игрушки», механизмы с необычайным добавлением.

Но сегодня Нед пришел к профессору Траубе не затем, чтобы слушать его объяснения. Нет. Неотвратимое привело его сюда. Нельзя сказать, что этому не было более ранних причин. Были и туманные разговоры с профессором, правда, совсем недавно... Но если бы два года тому назад кто-нибудь заговорил об этом, Нед счел бы этого человека сумасшедшим или злым шутником.

Профессор был необычно многословен. Многое сказал он Неду. И была во всем жестокая правда.

— Вы умрете, — говорил Траубе, — вы очень скоро умрете. Может быть, через год, а возможно, и через месяц... Это уже не имеет значения... Конец неотвратим.

— Так зачем же вы говорите мне об этом! — возмутился Нед.

— Не в словах дело. Вас утешали врачи. Это их долг. Но их утешения не полезнее горькой истины. Ваше тело изношено. Оно ни к черту не годится. От него нужно избавиться, сжечь его.

— И оставить бессмертную душу... Ха-ха! Не так ли?

— Не душу, а мозг! Послушайте, Карти, у вас хороший мозг. Прекрасный! Но ему нужен прекрасный исполнительный аппарат. Я дам ему это.

— Значит...

— Два выбора: один — навеки погрузиться в черную пропасть смерти, другой — пройти сквозь смерть, как сквозь ночь, чтобы вновь увидеть день.

— Каким будет этот день...

Нед задумался. Мысли были неясные, как облачные тени на закате. Не было никакой твердой логической зацепки, никакой точки опоры, чтобы перевернуть темный мир сомнений. Страх небытия, одно из ужасных приобретений человеческого сознания, его непостижимое противоречие многоцветному миру ощущений — вот что давило Неда.

«Быть иль не быть — таков вопрос...»

Да, это самый трудный вопрос. Но он даже мог быть решен проще, если бы за ним не вставал другой, не менее тревожный: «А дальше, за этой темной ночью небытия, что ожидает меня? Не страшней ли оно самого небытия?»

Долго молчал Нед. Долго ждал профессор ответа. Он понимал, конечно, что дать ответ непросто.

— Решайте же, Карти! Вам не грозят никакие мучения. Лишь пробел в чувствах и в сознании. И все...

— Значит, умереть? — с невыразимой горечью спросил Нед.

— Пусть так... Нед Карти умрет, но мозг Неда, мысли Неда, чувства Неда будут жить. Ну, решайте же!

— Согласен, — глухо сказал Карти и отвернулся.

— Хорошо, — профессор подошел к письменному столу, — теперь составим один документ. Нужна ваша роспись.

— Надеюсь, не кровью?

— Нет, чернилами.

НЕД КАРТИ УМЕР

Весть о смерти Неда Карти быстро облетела его друзей и знакомых. Одни искренне печалились, другие высказывали сожаление по традиции: о мертвых не говорят плохое. Родственников у Неда не было, если не считать какого-то троюродного дяди. Да и тот жил за тридевять земель. Говорили, что профессор Траубе близко к сердцу принял безвременную кончину талантливого молодого человека, что все расходы, связанные с этим, он взял на себя.

На следующий день в квартире покойного собрались его сослуживцы по институту, знакомые и мало знакомые, движимые досужим любопытством. Был и профессор Траубе. Он держался в стороне и не вступал ни с кем в разговоры. После немногих прочувствованных фраз кортеж машин тронулся к крема-торию.

...Нед лежал белый и испитой. На его за-острившемся лице читалась просьба: «Кончайте же скорее! И мне лучше, и вам!»

Траубе, не отрываясь, смотрел на это ли-цо. И было в его взгляде что-то такое, что смущало и тревожило других. Не жалость и не горе, а нечто совсем другое, непонятное. И все чувствовали, что между покойником и профессором есть какая-то связь, которую не могла разрушить даже смерть.

Траубе вглядывался в лицо Неда.

«Сейчас все будет кончено, — думал он, — гроб бесшумно опустится и скользнет в от-верстую огненную пасть крематория, и ты, Нед Карти, уйдешь в небытие. Тебя не будет, тебя уже нет. Но ты родишься вновь, ты появишься в жизни в другом облике. Это будет необычный, удивительный облик. И никто не будет знать, что ты — Нед Карти. Да ты и не будешь никогда Недом. Кто знает, кем будешь ты... Даже я.. Каким шагом, тяжелым или легким, быстрым или медленным, вступишь ты в жизнь... Каким путем пойдешь по ней... А будет имя тебе Гарри...»

Траубе вспомнил давно прошедшие годы. Он был молод, путешествовал по дальним краям. В памяти рисовались беспокойные просторы океана, ослепительные, словно врезанные в небо пики гор, бесконечная смена картин. Много простора, много солнца, много ветра и очень много счастья. Но большое счастье таит в себе угрозу. За ним, как за ясной далью, угадываются грозовые очертания. Траубе отгонял воспоминания, но они упрямо лезли в голову, вытесняя все. Сын Гарри... Это было много лет назад, но никогда не забыть потерю.

«Ты будешь моим сыном Гарри Траубе, — думал профессор, — и я имею на это право, ибо тебе я дам новую жизнь».

Церемония закончилась.

— Куда? — спросил шофер, когда профессор уселся в машину.

— В лабораторию. Да побыстрей!

Машина черной птицей скользнула по асфальту.

Смерть Неда Карти была необычной смертью. Никто не знал об этом, кроме профессора Траубе. Она была необычной потому, что произошла по согласию Неда. Она была необычной потому, что сулила удивительные последствия самому Неду. В тот вечер, когда он был у Траубе, когда произошел между ними последний разговор и

Нед поставил свою подпись на одном странном документе, было положено начало цепи событий. Мы вернемся к этому вечеру, чтобы проследить все, что свершилось. Что это было — преступление или подвиг? Жестокость или величайший гуманизм? Прихоть или неумолимая необходимость?

Подготовленный к операции Нед ожидал профессора. Он лежал на операционном столе под огромным рефлектором; вокруг него сверкали бесчисленными деталями приборы; ассистент белой тенью скользил между ними. И во всем этом было что-то грозное, зловещее, неумолимое, как сама смерть.

Затем пришел профессор. Он что-то говорил Неду, но тот не слушал его. Он словно погружался в океан неопределенных мыслей, таких же неверных, неясных и подвижных, как волны, таких же темных, как глубины. Для них не требовалось умственного усилия. Ведь все было решено. Они текли сами собой, как течет вода, они рождались и умирали.

— Послушайте, Карти, — долетел откуда-то голос профессора, — вы меня слышите?

Нед не отвечал. Ему не хотелось совершать ни малейшего усилия, даже такого, чтобы произнести слово «да».

Перед глазами в белой руке блеснул маленький флакончик.

— Вдохните. Так, глубже, еще глубже!

Голос растворился в плотной тишине, которая сомкнулась вокруг. И вместе с ней пришел мрак, пронизанный искрами. А потом искры погасли.

Профессор работал виртуозно. Послушно расступались ткани. Они жили, в них струилась кровь, но ни одна капля ее не выступила на поверхности. Вот она, сонная артерия. Легкая волна пульсаций пробегает по ней. Это одна из великих магистралей жизни.

А профессор делает свое дело. Нельзя терять ни одной минуты, ни одной секунды, ибо они решают все, ибо за ними звучит: «Ошибись, и ты совершишь убийство, самое простое и самое гнусное, хотя бы уже потому, что обычно убийца не обещает жертве сохранить жизнь».

Сложная сеть сосудов отпрепарирована. Наложены пинцеты Пеана. Тело осторожно повернуто на бок и фиксировано на столе. Ловко сделаны надрезы и в сосуды введены канюли, соединенные трубками с автожектором. Прибор включен. Профессор переводит дух. Он устал, но отдыхать нельзя.

В руке Траубе одно из совершеннейших изобретений в области хирургии — ультразвуковой манипулятор. Этот великолепный инструмент сделал доступным проникновение в самые интимные уголки человеческого тела, сделал возможным такие операции, о которых могли лишь мечтать. По сравнению с ним скальпель покажется грубым, тупым кухонным ножом, куском железа, разрывающим тончайший шелк живой ткани. Манипулятор закреплен на тонком подвижном штативе. Он подводится к оперируемому участку на такое расстояние, какое необходимо хирургу, он подчиняется малейшим движениям, самой воле хирурга, он позволяет регулировать глубину разреза с точностью до микрона. Закрепленная на сложном штативе блестящая маленькая лопаточка легко скользит по операционному полю, и все глубже расступается ткань.

Кожа опущена на лицо оперируемого. Кажется, что профессор играючи производит круговой разрез черепа. Но это только кажется... Капли пота бисером блестят у него на лбу, на висках вздулись синие вены. Напряжение огромно. Поистине великий труд.

Осторожно приподнимает профессор крышу черепа, и глазам открывается бледно-розовая, пронизанная тончайшей сетью кровеносных сосудов извилистая поверхность мозга. Нежные оболочки одевают ее. Под ними сам мозг — великое и все еще не познанное творение природы, вместилище миров, колыбель чувств, лоно идей. В этом небольшом нежном куске материи заключено огромное. В этих миллиардах маленьких клеточек замыкаются цепи великих явлений природы. Кто проследит эти скрытые пути? Кто предопределит их?

Внимательно осматривает профессор поверхность мозга. Ему предстоит труднейшая часть работы. Вновь тихо гудит манипулятор. Траубе производит клиновидный надрез черепа в области затылочной кости. Каждый шаг здесь опасен, рядом пропасть, смерть. Профессор и ассистент, кажется, изнемогли от напряжения, но рабочий тонус понижать нельзя!

Осторожно удален клиновидный кусочек затылочной кости. Медленно поворачиваются операционный стол и держатели, фиксирующие голову. Обнажена стволовая часть мозга, продолговатый мозг. Здесь, в этом маленьком участке — средоточие важнейших жизненных центров. Укол иглой — и все кончено. Здесь проходят магистральные нервные пути организма. Как же подступиться к ним?

Гудит автожектор. Над обнаженным участком мозга тихо опускается прозрачный пластмассовый колпак. К нему подсоединено сложнейшее устройство. Оно достаточно компактно и может свободно уместиться в папиросной коробке. Тонкие провода соединяют его с небольшим прибором, стоящим сбоку на сто-

лике. Это термовибратор, одно из прекрасных изобретений нашего времени в области медицины. Траубе производит настройку прибора. Зеленовато светится маленький экран, тонкие стрелки бегут по циферблатам. Прибор включен. Теперь нужно ждать.

— Пятнадцать градусов в минуту, — говорит ассистент.

— Достаточно.

Термовибратор равномерно понижает температуру во всех точках мозга. Он полностью исключает образование разрушительных кристаллов льда в тканях.

— Минус шестьдесят, — рапортует ассистент.

— Довольно!

Автожектор и термовибратор отключены. Предстоит сложнейшая часть работы: выделить головной мозг из его костяного лона. Но для этого необходимо отделить его от спинного мозга. Вновь гудит манипулятор, профессор осторожно отслаивает ткани. У первых четырех шейных позвонков удалены дуги, перерезан спинной мозг, отсечены нервные корешки. Траубе смотрит на ассистента.

— Я хочу сохранить глаза, — говорит он.

— Глаза! Но ведь это ужасно, профессор!

— Так нужно... Мы должны сохранить глазные яблоки, зрительные нервы.

— Но...

— Никаких «но»!

И вновь трудятся профессор и ассистент. Удаленные части костей водворены на место, натянута кожа, аккуратно наложены швы. Они совершенно замаскированы мастикой.

— Пять часов без перерыва, — говорит ассистент.

— Да, пять часов, — соглашается профессор.

На столе — лишенное мозга тело. Нед Карти навсегда ушел от друзей и знакомых.

РОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА

Рождение чего бы то ни было, рождение в самом общем смысле этого слова нельзя понимать как одиночный свершившийся факт, приуроченный к определенному времени. В последнем случае мы исключаем из сферы нашего внимания все то, что органически слито с процессом рождения, произвольно разрываем сложную сеть причинно следственных отношений, ставим факт вне связи с окружающим миром, тем миром, в тайниках, глубинах которого зреют все новые и новые причины. Рождение — это сложный процесс.

Когда у профессора Траубе впервые возникла идея создания тела-протеза, как далек был он от ее воплощения! Как мало было объективных элементов для начала грандиозной работы!

Какая связь была между профессором, задумчиво рассматривающим маленькую деталь, и Недом, сидящим в купе поезда? Какая связь была между расчетом сопротивления, удачной пробежкой крысы по лабиринту и все ухудшающимся здоровьем Неда? Только позднее, много позднее, когда научная мысль стала объективизироваться, когда этому способствовало случайное или закономерное сочетание событий, эта связь, вернее, эти многочисленные связи стали проступать все яснее и яснее.

Мы рассматриваем этот период как скрытый период рождения железного человека.

Затем настал период явного развития, наблюдаемого и управляемого. Это было время огромного труда, напряженнейшей мыслительной работы, время бесконечных поисков конкретных частных решений и определения общих путей.

Профессор углубился в литературу. Он вел оживленную переписку по целому ряду специальных физических и физиологических вопросов со многими специалистами. Он много разъезжал. Посетил ряд лабораторий и технических мастерских. Он приобрел много оборудования и различных деталей. А Нед Карти в это время не знал ничего о профессоре Траубе.

Сложная конструктивная работа. Днями и ночами просиживал Траубе над чертежами и расчетами. По чертежам были созданы первые несовершенные модели. Одновременно производились многочисленные опыты над крысами и мышами в лабиринтах. Сотни раз пробегали зверьки по запутанным ходам. Потом профессор препарировал их, выделял головной мозг и кусочек спинного. Но это было лишь началом. Мозг, который держал в руках профессор, был так же мертв, как камень, как кусок дерева или железа. Потребовалось много времени, потребовалось проделать колоссальный труд, прежде чем удалось пересадить живой, полноценный мозг мыши в тело-протез. И вот удивительные звери-механизмы побежали по лабиринтам. Они не только не уступали своим полуродичам обыкновенным мышам и крысам, но и часто превосходили их в решении лабиринтных задач. В этот период Нед Карти познакомился с профессором Траубе. Он еще не знал о сути удивительных опытов. Что общего было между его судьбой и судьбой странных биомеханических, биоэлектронных моделей? Увы, много общего. И все это, столь далекое и не-

зависимое одно от другого, было рождением железного человека.

Наступил самый трудный этап работы. Подготовка к нему велась много лет. Все, что кропотливо накапливалось, отсеивалось, дополнялось, изменялось, совершенствовалось, должно было воплотиться в систему необычайной сложности и совершенства. Профессор приступил к монтажу тела-автомата, имитирующего живое тело человека.

Конечно, не следует думать, что Траубе шел по пути слепого подражания природе. Он не мог избрать этот путь уже потому, что невозможно технически повторить тончайшую живую систему. Профессор исходил из рационального учета важнейших физиологических функций: нервно-проводниковой, двигательной, секреторной и обменной. Разумеется, эти функции в электронно-механической системе должны быть существенно трансформированы.

Он предусмотрел важнейшие виды чувствительности, в системе имелись исполнительные механизмы, мощный источник энергии. Портативные аккумуляторы огромной емкости приводили в движение рычаги, хитроумно имитирующие мышцы. Рычаги действовали как под влиянием электромагнитов, так и от моторчиков. Все это обеспечивало большую подвижность и легкую управляемость системы. Стальной профилированный подвижной каркас должен был заменить костные рычаги. В теле-протезе имелись гидравлические устройства, позволяющие совершать действия огромной силы, быстрые и медленные.

Но все это было бы лишено элементарного смысла, если б данная механическая система не предусматривала чрезвычайную добавку — живой мозг. А достать его — задача трудная!

В корпус автомата была вмонтирована автожекторная установка, которая обеспечивала циркуляцию физиологического раствора особого состава, заменяющего кровь. Этот раствор легко присоединял и отдавал тканям кислород и азот. В системе эластических трубок и резервуаров, по которым циркулировал раствор, имелось специальные депо. Эта «кровеносная система» была тесно сопряжена с «эндокринной» и «трофической» системами. В пластмассовых резервуарах, соединенных с «сосудами» тонкими капиллярными трубками, содержались гормональные препараты и питательные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности мозга. И, что самое главное, эта система обеспечения находилась, в свою очередь, в подчинении мозга, а через него и всему в целом.

Итак, мыслилось создание необычайного целостного организма.

Мог ли профессор Траубе все до тонкости предусмотреть? Конечно, не мог! Для этого требовалось привести систему в действие, проверить ее. Для этого требовалось (о, совсем немного!) достать живой человеческий мозг. Траубе оказался перед неразрешимой задачей.

А в это время Нед Карти боролся с сокрушающим его недугом, тщетно пытался спасти, сберечь свое жалкое человеческое тело. Неумолимая цепь событий привела его к профессору, заставила взять перо и поставить свою подпись. Все линии событий сошлись в фокусе. Круг замкнулся. И это было рождением железного человека.

В глубокой нише стоит Гарри Траубе — удивительное продолжение Неда Карти, сын профессора Траубе. Его металлическое тело похоже на прекрасно выполненную скульптуру. Голова, шея, плечи, руки и ноги покрыты нежной пластмассовой оболочкой теплого цвета человеческой кожи, эластичной и подвижной. В ее внутреннем микропористом слое циркулирует цветная жидкость, придающая ей необычайное сходство с живой тканью. Прекрасный парик каштановых волос покрывает голову. Черты лица правильны, даже, пожалуй, слишком. Но глаза... Ведь это глаза человека, это единственный из органов чувств, который решил сохранить профессор. Не потому ли, что в них выражается мысль, душевное состояние? Мы не знаем, что думал профессор по этому поводу. На неподвижном лице-протезе тускло блестели белки глаз. Белые точки застыли в зрачках.

— Начнем? — обратился Траубе к ассистенту.

Тот молча кивнул в ответ.

Щелкнул включатель, и на стальной груди вспыхнула маленькая зеленая лампочка. Еле уловимый шум слышался внутри механического тела — это работал автожектор. По стальному корпусу медленно разливалось тепло. Мозг, заключенный в тонкий пластмассовый резервуар с подведенными к нему бесчисленными проводниками и капиллярными трубками, омывался живительной влагой. Иней исчез с его поверхности. Жизнь пробивала себе дорогу, как маленький ручеек настойчиво прокладывает себе путь средь камней, поваленных стволов, коряг и корней.

Профессор и ассистент не отрывали глаз от приборов. Тонкие стрелки бежали по циферблатам, осциллографы вычерчивали хитрые светящиеся кривые на экранах. Это был

мудрый язык науки, понятный немногим. Внимание ученых было настолько поглощено показаниями приборов, настолько сконцентрировано, что они не сразу осознали произошедшее. Профессор Траубе встретился глазами с железным человеком. Что изменилось в этом неподвижном взгляде? Или появившийся влажный блеск, или что-то еще, почти неуловимое, но в то же время явное. И оно проступало все яснее и яснее.

— Смотрит! — воскликнул Траубе и отшатнулся.

В этом взгляде было нечто заставляющее содрогаться, непонятное, прижимающее к земле, как огромная тяжесть. Легкий хрип послышался за спиной профессора. Обернувшись, он увидел, как ассистент, смертельно бледный, с отвисшей челюстью, тщетно стараясь удержаться за стену, сполз на пол. «Помочь!» — мелькнула мысль. Но Траубе не мог сдвинуться с места. Он стоял, прижатый взглядом. А глаза железного человека становились все живее. Они упорно, не отрываясь, смотрели на него, виновника всего случившегося. Так смотрят некоторые портреты — куда ни отойди, повсюду следует за тобой упрямый взгляд. Он преследует тебя, в нем есть и угроза, и упрек, и вопрос, но что ему нужно, никому неизвестно.

Сколько длился поединок двух взглядов — минуту или вечность? Профессор чувствовал, как набегают колючие слезы, и все смотрел и смотрел. И он увидел, как по застывшему лицу пробежала легкая, едва уловимая судорожная волна, словно оно хотело улыбнуться или нахмуриться. Пальцы опущенных по швам железных рук легко шевельнулись...

Дикий, непередаваемый ужас внезапно овладел профессором. Почти не помня себя, он метнулся в сторону и чуть не упал, споткнувшись о протянутую ногу своего помощника. С неожиданной силой он подхватил на руки бесчувственного ассистента и выбежал из комнаты, плотно захлопнув за собой дверь. Силы изменили ему. Он прислонился к стене. К горлу подкатило тошнотное чувство. На полу, не приходя в сознание, лежал его старый помощник. Нужно было что-то делать, и как можно скорее! Но ни сил, ни воли не было.

А там... за дверью... Там было тихо. Ни звука. Но Траубе знал, что означала эта тишина: железный человек родился.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЖИЗНИ

«Что делать?» — думал профессор, когда немного пришел в себя. Нужно было срочно что-то предпринимать. На полу все еще без сознания лежал несчастный ассистент. Траубе достал из лабораторной аптечки нашатырный спирт. Смочив ватку, он потер ему виски, а потом поднес влажную ватку к носу. Это помогло. Через минуту тот открыл глаза. Он еще не мог сообразить, в чем дело. Но внезапно выражение ужаса вновь появилось у него на лице.

— Успокойтесь, успокойтесь! — говорил Траубе. Он накапал в стакан с водой несколько темных капель. Приподняв ассистента за плечи, помог тому сесть на стул и поднес стакан.

— Выпейте.

Старик стукнул зубами о край стакана. Он послушно пил, вытирая рот дрожащей рукой. Лекарство подействовало быстро.

— Ну вот и хорошо, — говорил Траубе, — вот и хорошо! Так... Понимаю... понимаю... Всякое может быть... Собственно говоря, ничего страшного и, тем более, опасного не было и нет. Неожиданность... Вот поработаем — привыкнем...

— Что?! — хрипло спросил ассистент.

— Я говорю, поработаем...

— Работать?! — старик даже привстал со стула. — Работать? Нет!!! Ни за что!

— Послушайте, милейший, вы возбуждены, вы еще не в норме...

— Ни за что! Ни за что! — упрямо твердил тот, со страхом поглядывая на дверь.

— Право, вы говорите несообразное...

— Он там? — старик указал глазами на дверь.

— Ну и что же? Ведь ничего страшного...

— Не... не могу! Боже мой, столько лет... работал, — ассистент смотрел умоляюще, — столько лет! А теперь не могу!

— Давайте, не будем говорить об этом.

— Стар я... Нервы... Сами видели... Столько лет... Привык... Но не могу!

— Да возьмите же наконец себя в руки! Что вы, как тряпка!

Сколько ни старался профессор убедить своего помощника, тот упрямо твердил свое.

— Ну хорошо, — сказал наконец Траубе с плохо скрываемой досадой, — дальнейший разговор бесполезен. По крайней мере сегодня... Можете быть свободны. Вас проводить?

— Нет, что вы? Я сам... Профессор, простите! Ничего не могу с собой поделать.

— Ладно уж! Послушайте, Функ, — остановил Траубе уходящего ассистента, — будем или нет мы работать вместе, это одно... Но, я надеюсь, что сегодняшнее не выйдет за пределы лаборатории. Оно должно быть

никому не известно. Понимаете? Иначе может случиться... ну, сами догадываетесь... он может узнать...

— Что!? — переспросил Функ, вновь побелев как бумага. — Он... узнает? Никогда!

Оставшись один, профессор испытал нерешительность. «Что делать? — размышлял он. — Нужно войти, узнать, что там, за дверью». Но войти было страшно. Присутствие помощника подбадривало его, но помощник оставил его в трудную минуту. Траубе не был трусливым человеком. Много раз в жизни пришлось ему испытать себя. А вот сейчас он стоял перед дверью, упавший духом, стоял и не решался. «Да что же я в конце концов! Ну же!» Огромным усилием воли он заставил себя войти в лабораторию.

Железный человек неподвижно стоял в нише. Медленно-медленно подходил к нему профессор. Вот они снова стояли друг против друга. Взгляд железного человека неподвижен. В нем что-то непередаваемое. Так заключенный смотрит на небо сквозь узкую щель темницы. Тоска, беспомощность и, в то же время, великая жажда жизни... Быть может, это только казалось, но профессор чувствовал, что на место пережитого ужаса в него входит жалость, большое человеческое сострадание. Он, не отрываясь, смотрел в глаза своего Гарри, он чувствовал, что плачет, но не обращал внимания на это. «Боже мой, что это, радость или горе? торжество, удовлетворение или растерянность?» спрашивал он себя, но ответа найти не мог.

— Гарри! — тихо позвал он. На застывшем лице мелькнуло какое-то движение.

— Гарри!

С этого дня Траубе приступил к разрешению одной из самых сложных задач. Дни и ночи проводил он в лаборатории. Доступ в нее был закрыт всем. Прежде всего, необходимо добиться движения глаз и артикуляции. Это обеспечит постоянную связь с железным человеком при помощи знаков и речи, решил Траубе. Он изготовил алфавит: на картонных карточках размером в квадратный дециметр тушью написал все буквы алфавита. Перед железным человеком он повесил на стену большой экран, на котором был изображен огромный черный крест. Профессор приступил к первому занятию. Взяв указку, он подошел к экрану.

— Гарри, вы меня слышите?

Гарри молчал, но в глазах его, казалось, был положительный ответ.

— Итак, слушайте, — продолжал профессор, внимательно наблюдая за железным человеком, — я направляю указку в центр фигуры. Видите? Теперь я буду передвигать ее вправо. Следите за указкой.

Красный конец указки отчетливо выделялся на черной поперечной перекладине креста. Траубе тихо передвигал ее вправо.

— Так. Внимание, Гарри! Теперь я перемещаю указку влево. Следите. Так. Теперь опять вправо. Ну, а сейчас изменим направление. Вы меня слышите?

От центра креста профессор стал двигать указку вверх по вертикальной перекладине. Затем — в противоположном направлении.

— Внимание, Гарри! Следите. Вверх. Вниз.

Прошел час, потом — другой. Профессор с адской настойчивостью повторял и повторял опыты. В пустой комнате гулко раздавался его голос:

— Внимание! Вправо. Влево. Вверх. Вниз.
Вправо. Влево. Вверх. Вниз.
Влево. Вправо. Вниз. Вверх.
Влево. Вправо. Вниз. Вверх.
Вправо. Вверх. Влево. Вниз.
Влево. Вниз. Вправо. Вверх.

Со стороны могло показаться, что профессор занят бесполезным делом. Железный человек неподвижно стоял перед ним и, казалось, ничем не выдавал своего контакта с экспериментатором. Но каким-то шестым чувством Траубе угадывал, что его труд не проходит даром. Временами он легко дотрагивался до железной груди и осторожно переводил крошечные рычажки на небольшом пульте. Он заботливо следил, чтобы «слезные железы» — механизм для увлажнения поверхности глаз — не прекращали своего действия. Он внимательно следил за показаниями приборов, регистрирующих поступление в мозг газов, гормонов и питательных веществ и регулирующих температуру жидкостей.

Прошел день, за ним — другой, третий, четвертый. Профессор настойчиво добивался своего. Он ни на минуту не усомнился в положительном исходе опыта, не допускал, что труды его тщетны. И он был прав. На пятый день изнуряющей работы профессор впервые увидел ее результат. Правда, этот результат был таким незаметным, что посторонний наблюдатель заподозрил бы Траубе в мистификации. Но зоркий глаз профессора отчетливо видел его. Он видел еле уловимое движение глаз железного человека. Он видел, что они, эти глаза, пытаются следовать направлению указки.

Это еще больше мобилизовало экспериментатора. Вновь и вновь повторял он опыты, повторял их до тех пор, пока скрытое не стало явным. Да, теперь ни у кого не могло быть

сомнения в успехе дела. Взгляд железного человека послушно следовал за указкой. Нужно было закрепить этот своеобразный двигательный навык, своеобразный уже потому, что двигательным механизмом была не мышца, а искусственная механическая система. Но эта система была построена по принципу обратной связи с мозгом и обеспечивала накопление мозгом нового двигательного опыта.

Два дня упражнял профессор железного человека, пока не убедился, что тот в достаточной степени овладел движениями глаз. На очереди была еще более трудная задача: научить его произношению звуков и слов, выработать у него сложный комплекс речедвигательных реакций.

Для этой цели Траубе и приготовил свой алфавит. Помещая поочередно то одну, то другую гласную букву, четко изображенную на картоне на расстоянии полутора метров от глаз своего питомца, он каждый раз обращался к нему.

— Внимание, Гарри! Вы меня слышите? — «А». Смотрите: «А». Так, пойдем дальше. Смотрите: «О». Смотрите: «И».

После этого профессор перешел к демонстрации согласных. Упрямо по многу раз повторял он букву за буквой. Железный человек внимательно следил за движениями его рук. Он смотрел на предъявляемые ему знаки и, казалось, читал их. А почему «казалось»? Траубе был уверен, что там, в сложнейших лабиринтах мозга идет интенсивная работа восстановления памяти, освобождение прежних ассоциаций из-под тяжелого бремени операционного шока.

От демонстрации отдельных букв Траубе перешел к демонстрации сразу нескольких букв, сначала расположенных произвольно, а потом в словесных сочетаниях. Называя буквы по очереди, но не указывая на каждую из них, профессор внимательно наблюдал за глазами железного человека. Он видел, что тот быстро перебегает взглядом от одной буквы к другой. Тогда он решил проделать еще один весьма остроумный опыт: на большом листе бумаги столбцом располагались десять слов, написанных крупными чертежными буквами.

ДВЕРЬ	СТОЛ
ОКНО	СТУЛ
ПОЛ	ШКАФ
ПОТОЛОК	ПОЛКА
СТЕНА	КРЕСЛО

Все названные предметы находились в поле зрения испытуемого.

— Внимание, Гарри, — сказал профессор, — я буду называть различные предметы, а вы глазами должны отыскивать названия на листе. Внимание! Начинаю: Пол. Стена. Шкаф. Дверь. Кресло. Окно. Так, хорошо! Продолжаю!..

Каждый раз, когда профессор называл то или иное слово, глаза железного человека быстро отыскивали соответствующее слово на листе. Сомнений быть не могло: испытуемый читал слова. Но Траубе не удовлетворился этим. Он проделал еще один эксперимент.

— Сейчас, Гарри, я буду называть те же предметы, а вы должны отыскать их взглядом в лаборатории. Внимание! Окно. Полка. Стена. Так, хорошо.

Профессор видел, что взгляд испытуемого безошибочно останавливался на называемом предмете. Итак, ему было совершенно ясно, что железный человек слышал, видел и понимал сказанное и виденное. Все более и более восстанавливалась его память, восстанавливался прошлый жизненный опыт.

Связь была установлена. Теперь можно перейти к развитию речедвигательных функций. В стальном корпусе был заключен сложный фонетический аппарат. Этот аппарат тысячью каналов был соединен с мозгом железного человека, точно так же, как и другие исполнительные системы.

Профессор Траубе построил опыты следующим образом: поместив перед железным человеком алфавитную таблицу, он, как и прежде, указывал на одну из букв, но включал одновременно звуковую систему.

— Внимание, Гарри, смотрите, — он указывал на букву «А» и нажимал на соответствующую кнопку, — итак, какая это буква?

— «А», — раздавалось в груди железного человека.

— Правильно! Ну, а эта?

— «И».

— Великолепно! А эта?

— «О».

Зачем же, спросите вы, обманывал себя профессор? Ведь он отлично понимал, что инициатива произнесения звуков принадлежит ему самому! Да, профессор знал это, но он знал и другое: там, в мозгу, в результате одновременного возбуждения зрительного, слухового и речедвигательного центров, между этими центрами с каждой минутой восстанавливаются временные связи.

Все снова и снова повторял он свой опыт, десятки раз останавливалась указка на той или иной букве, десятки раз нажимал он на соответствующую кнопку, и в стальной гру-

ди рождался голос. Но вот он снял руку с пульта и направил указку на букву «А».

— «А», — сказал железный человек, сказал сам, без помощи профессора.

Это было большим шагом в работе. В течение последующих пяти дней Траубе добился того, что его питомец стал четко произносить показываемые ему буквы. Затем он научился произносить слова, то есть довольно быстро и ясно читать с текста. Бойко пробегал он взглядом по газетным строкам, читал вслух. Траубе слушал внимательно, напряженно. Проверял чистоту произношения, придирчиво заставлял перечитывать отдельные слова и фразы.

Фонетическое устройство обеспечивало хорошее произношение и приятный тембр. Правда, это был голос немного монотонный, но ведь и обычные люди часто говорят монотонно.

Между профессором и железным человеком отныне возник речевой контакт.

— Вы меня слышите, Гарри?

— Слышу.

— Хорошо. Читайте.

Медленно и четко произносил испытуемый слово за словом, глядя в текст.

— Так. Отлично. Быстрее.

Испытуемый читал быстрее.

— Отлично. Теперь медленнее.

Испытуемый читал медленнее.

Почему же, спросите вы, профессор не вступал с железным человеком в обычный разговор? Почему он не задавал ему вопросов, связанных с прошлым жизненным опытом? Да, Траубе не делал этого. Во-первых, он хотел добиться восстановления мыслительного процесса в определенном направлении, а во-вторых... он боялся перегрузить еще слабый мозг, боялся вызвать ошибку нервных процессов. Система и еще раз система! Будущее покажет многое, а сейчас...

Перед профессором Траубе встала другая чрезвычайно сложная задача. Какие бы слова ни произносил железный человек, лицо его оставалось неподвижным, как маска. Жили одни лишь глаза. Нужно было обучить его мимическим движениям, соответствующим произносимым словам.

Профессор приступил к разрешению этой задачи точно так же, как и в предшествующем случае. Он соединил сложнейший мимический аппарат с пультом управления и начал тренировку с произнесения отдельных звуков. Большим облегчением в работе было то, что испытуемый понимал его цель и, несомненно, способствовал ее достижению, вернее, сам стремился к этому. Нужно было научить Гарри брать руками различные предметы, производить трудовые манипуляции, садиться, вставать, ложиться, ходить, бегать, прыгать. Необходимо было выработать навык письма. Мы говорим «выработать» потому, что хотя в мозгу Гарри и имелись соответствующие нервные связи, исполнительный аппарат был новым и необычным.

Все эти трудности не смущали профессора. Поистине, он был несгибаем в своем упорстве! Он твердо знал, что добьется своего. Но многого он и не знал!

Прошла неделя, за ней другая, третья... Железный человек уже довольно сносно управлял своими руками. Он мог поднять на уровень глаз стакан, наполненный водой, не пролив ни одной капли. Он мог завязать узлом тонкую нитку, продеть нитку в иголку. Он мог вывести карандашом на бумаге неуклюжие буквы, напоминающие каракули школьника. Но, согласитесь, это был огромный успех. Его первоначально резкие движения становились все более и более плавными. Мозг все более подчинял себе сложную исполнительную систему.

И вот настал день, когда железный человек сделал свой первый шаг. Тело-протез стало гибким и послушным.

Профессор приступил к силовым испытаниям своего питомца. Результаты получились прямо-таки потрясающие. Ни один из наличных силомеров не мог определить его силу. Он совершенно свободно завязывал узлом металлический стержень двухсантиметровой толщины. Самсон, созданный человеческим гением!

Профессору Траубе стало страшно. Перед ним была грозная боевая машина с живым человеческим мозгом. Чего же боялся профессор? Ведь он видел, что сознание железного человека крепнет с каждым днем. Да, видел. Но он знал также о существовании экстрапирамидной системы, более быстрой чем сознание и мало подчиненной ему. Это и страшило профессора Траубе. И не зря!

Всего пять месяцев от роду насчитывал Гарри Траубе, но эти месяцы стоили многих лет. Гарри был красив и изящен. Дорогой костюм прекрасно сидел на его плечах. Он был прост и элегантен. Легко и свободно двигался Гарри по лаборатории. Профессор с удовлетворением наблюдал за ним. Ведь это — дело его рук, его ума, его воли!

Разве другой ученый не испытывал бы на месте профессора то же самое?

Мы уже говорили о том, что профессор ограничил свое общение с Гарри очень строгими рамками. Он вел разговор в императив-

ной форме, не допускал со стороны железного человека никаких лишних вопросов, не вступал с ним ни в какую полемику, не давал ему никакого повода для воспоминаний. Бдительно охраняемый рубеж отделял Гарри от прошлого. Строгая линия определяла его умственный путь. Но, с другой стороны, профессор давал ему очень большую умственную пищу. Десятки научных книг были извлечены из шкафов. Их должен был прочесть его питомец в ближайшем будущем. Профессор приучал его обращаться с приборами, производить сначала сравнительно простые, а потом и более сложные лабораторные работы. Одну из комнат Траубе приспособил для жилья железного человека. Там стояли кровать, платяной шкаф, стул, стол. Были даже умывальник и маленькое тусклое зеркало.

Ровно в девять вечера Гарри должен был ложиться спать. Раздевшись, он, как обычные люди, укладывался в постель. Однообразное постукивание метронома и маленькая доза снотворного, введенного в омывающий мозг физиологический раствор, способствовали быстрому разлитию торможения по коре больших полушарий мозга. Железный человек засыпал.

Ровно в семь часов утра профессор будил его, легко нажимая на маленькую кнопку. Гарри должен был умыть лицо и руки, одеться, причесаться, после чего он был готов к исполнению своих дневных обязанностей.

ПРОСТЫЕ ЧУВСТВА

Мир Гарри был ограничен стенами лаборатории. Через матовые стекла окон не было видно ничего. Строгий лабораторный режим, лаконичные четкие обращения профессора, обстановка, знакомая до мелочей — все это, казалось, благоприятствовало восстановлению его мыслительной деятельности, направлению ее по определенному пути.

Профессору не на что было обижаться. Все шло по строго предусмотренному плану. Его ученик был способен и исполнителен. Молча и быстро выполнял он порученное дело, скупо и точно отвечал на вопросы профессора. Так почему же в глазах Траубе часто вспыхивала тревога? Почему он следил беспокойным взглядом за своим питомцем, словно старался что-то заметить и не мог? Профессор Траубе имел основания.

Порой в глазах Гарри мелькало нечто вроде удовлетворения — отголоска радости. Это было или в результате удачно проведенного опыта, или даже без видимых внешних причин. Опасные силы! В чем заключались они? Неужели появление собственного отношения к окружающему, отношения не холодного, строго логического, а эмоционального таило в себе опасность?

Много размышлял Траубе. Он стал неуравновешен. Очнувшись от мыслей, он мерял шагами комнату, затем садился и вновь погружался в мысли.

— Я вижу, как с каждым днем просыпаются скрытые силы, — говорил себе профессор, — вижу, но ничего не могу поделать. Ох, уж эта подкорка! Что будет дальше? Неужели родится непрошенное дитя, имя которому — Радость? Не нужно, не нужно! Я не хочу этого! Ведь там, где радость, там и гнев.

Тщетно старался профессор проникнуть в глубокие тайники мозга железного человека. Его исследовательский гений был бессилен.

А время шло и шло, и его течение постепенно стало осознаваться железным человеком. Как неуловимые магнитные колебания, как поток невидимых лучей проникало оно в его мозг. Это было нечто большее, чем рефлекс на время, это было соизмерение во времени своего бытия. Мы неосторожно сказали: «своего»... Но ведь у Гарри не было своего, субъективного! А как провести границу между объективным и субъективным?

Где-то глубоко рождалось день за днем ощущение собственного бытия. Медленно, но закономерно, это ощущение росло и крепло. И все больше и больше начинал ощущать Гарри свое тело, не грубый механический протез, а живое человеческое тело. Оно материализовалось словно после глубокой общей анестезии, оно заполняло собой все закоулки железного корпуса, воплощалось в него. Мир живительным потоком хлынул внутрь протеза. Рождалось человеческое «Я», омытое кровью, согретое животным теплом, освеженное влагой и воздухом.

...Все чаще и чаще рождались у Гарри непрошенные мысли. Сначала они мелькали, как легкие тени, потом стали яснее. Появилось беспокойство, недоумение.

Беспокойство нарастало обычно к концу рабочего дня. Приближалась ночь. Сгущались тени. В лаборатории загорались лампы. А стрелки часов неуклонно приближались к девяти. Ровно в девять профессор включал метроном и вводил в «кровь» Гарри снотворное. В это время Гарри уже лежал в постели. Он видел склоняющегося над ним профессора. Затем... приходило нечто непостижимое и роковое. Светлые пятна ламп расплывались, предметы теряли свои очертания, темные провалы являлись между ними. И о

чувствовал, что теряет себя, свое «Я». Страшный миг небытия, слитый с причудливыми и искаженными ощущениями действительности, наступал. И полуреальный, полубредовый мир, оскаленный черными зияющими пропастями, поглощал его. Слепая, необозримо огромная пустота смыкалась вокруг, все поглощала, уничтожала. И в этой темной, страшной, необъятной пустоте, как серебристая паутинка, все еще вилась тонкая нить сознания. Но нить рвалась. Каждую ночь, каждую ночь приходила к нему смерть.

Утром все совершалось в обратном порядке. Сначала возникал мрак, насыщенный каким-то движением, потом являлся слабый свет, и, наконец, возникали очертания предметов. С каждой минутой Гарри все яснее и яснее различал их. Возвращалось сознание действительности, но сознания собственного бытия еще не было. Оно возникало позднее и притом не сразу, а проходя все первоначальные фазы своего возникновения. И так каждый вечер, и так каждое утро. Это было ужасно, это было непостижимо для обычного человека.

Профессор неуклонно соблюдал режим. Он был полным распорядителем жизни Гарри. И, глядя на стрелки часов, Гарри смутно испытывал непонятную еще тревогу — сигнал приближения мертвой ночи.

Но вот настало время, когда Траубе решил доверить распорядок времени ему самому. В положенное время Гарри сам должен был производить необходимые манипуляции перед тем, как лечь в постель.

— Запомните: это нужно. **Нужно,** — инструктировал его профессор, и он строго соблюдал инструкцию, не задумываясь над ее смыслом. Но независимо от него противоречивая мысль упрямо пробивала себе дорогу в бесконечных закоулках мозга.

Это случилось поздним вечером... Профессор должен был на час с лишним раньше покинуть лабораторию.

— Помните же, Гарри, — сказал он, уходя, — ни минутой раньше, ни минутой позже. Так нужно.

— Хорошо, профессор, — заученно ответил Гарри.

В положенное время он прошел к себе в комнату. Раздевшись, он сел на постель и потушил свет. Мягкая, нежная темнота и тишина окружили его. И в этой темноте, в этой тишине было что-то бесконечно прекрасное, так не похожее на холодную пустоту надвигающейся ночи. Гарри чувствовал себя обычным человеком. Он ощущал, как вздымается от дыхания его грудь, как бьется сердце. Он согнул в локте руку, он пошевелил ногой, он наклонился и выпрямился. Тело было послушным, гибким. «Я, настоящий, живой я!»

Он зажег свет и, сняв рубашку, взглянул на свою грудь, на свои руки. Металлический торс тускло отражал свет. Не веря глазам, он ощупывал себя, как слепой, обследовал каждый сантиметр своего тела. Холодная, твердая, как кольчуга, грудь... Он ясно ощущал металлические крепления, винты.

«Что же это? — думал он со страхом: — Ничего не могу понять! Ведь я же здесь, вот тут, сижу на постели! Я же здесь, и меня — нет! Где же я?»

И задумался глубоко железный человек Гарри Траубе.

Ночь, когда Гарри впервые позволил себе нарушить строгий режим, установленный профессором, значила для него очень много. Тысячи мыслей возникали одна за другой, тысячи вопросов требовали ответа.

Профессор Траубе так и не узнал, что Гарри обманул его, но он не мог не заметить в его взгляде, в его поведении чего-то нового. Траубе неукоснительно следовал своей программе. Ничто не напоминало железному человеку прошлого, связанного с Недом Карти. Нед Карти был мертв, давно мертв. Его не было, и не было ничего, связанного с ним.

Глубокие провалы зияли в памяти Гарри. И нельзя было перекинуть через них мост, и нечем было заполнить их. Но Траубе и не хотел этого. Строгий, сухой, лаконичный, он упрямо соблюдал свою линию. Гениально продуманная система воспитания давала результаты. И все же в этой системе было много недоучтенного, неясного.

Гарри принимал профессора таким, как есть. Никаких вопросов, сомнений, первоначально не рождал его вид, его голос. Профессор был необходимым элементом лабораторной обстановки, так же как и приборы, как мебель, книги.

Как подвижная материальная система, он прекрасно ассоциировался в мозгу Гарри с другими понятиями, с понятием «человек». Он не вызывал никаких вопросов, недоумений. Но все изменила последняя ночь. Она заставила Гарри по-иному взглянуть на вещи и явления.

«Кто этот человек? Какое имею к нему отношение я? Да и кто я сам? Почему я здесь? Почему я такой?»

За этой ночью пришла другая, за другой — третья. И каждый раз Гарри тайно нарушал строгие предписания профессора, и каждый раз великое сомнение охватывало его.

Иногда днем, когда солнце золотило матовую поверхность оконных стекол, в него входило что-то новое, несказанно хорошее. Это было ощущение глубокого, полного слияния с окружающим. Оно вливалось в него, заполняло каждый уголок тела, и тело жило, дышало, пульсировало кровью. Только не нужно было глядеть на него, трогать его... Смутное подобие человеческой радости... Оно было недолговечным. Так в облачный день то ярко вспыхнут на траве солнечные пятна, то померкнут, разольется тень, затрепещут листья на деревьях.

И вот настал час, когда профессору стало совершенно очевидно, что нужно срочно что-то предпринимать. Это произошло после удачно завершенного опыта. Траубе был доволен. Он ходил по лаборатории большими шагами, а Гарри стоял у лабораторного стола.

— Нам повезло, — обратился Траубе неизвестно к кому, — нам чертовски повезло! Все мои предположения подтвердились, как одно! Ну, что вы скажете, а?

Гарри ответил не сразу. Словно издалека долетел до него вопрос профессора.

— Что скажу я? — монотонно переспросил он. — Что можно сказать? Мне многое неясно... Для чего все это? Бесконечные опыты... книги... протоколы... Работа, большая работа... А когда она началась и с чего? Работаю я, работаете вы, работаем мы вместе... А зачем? Почему я здесь? Да кто же, наконец, вы?

Траубе растерянно молчал. Он не ожидал этого, не был готов к этому.

— Гарри, — заговорил он после минутного молчания, — на все ваши вопросы я не могу ответить сейчас, и не потому, что нет на них ответа, а потому, что так нужно. Так нужно! И в первую очередь для вас!

— Для меня? Почему для меня? Да кто я такой? Ведь я же не знаю...

Профессор близко подошел к нему.

— Вы узнаете. Вы все узнаете! Только позднее... не сейчас... Вы... вы... Ну что ж, я скажу вам, вы — феномен, вы — исключительное явление в жизни. Вас ждет великое будущее. Только доверьтесь мне!

Долго говорил профессор, все более и более нарочито углубляясь в сложные научные проблемы. Он делал бесчисленные научные построения, приводил формулы и цитаты, одну сложнее другой.

А Гарри стоял и молча слушал. И не знал профессор Траубе, о чем он думает. И профессору стало ясно, что не удержать ему железного человека в стенах лаборатории, что скоро, очень скоро наступит день, когда Гарри сам, не спрашивая его, перешагнет порог и выйдет в мир. Холод пробежал у него по спине при этой мысли. Ведь там, за порогом, он может встретить людей, которые напомнят ему о прошлом, а тогда...

«Уезжать! Немедленно уезжать отсюда. И как можно дальше!»

ОТКРЫТИЕ МИРА

Каждую минуту, каждое мгновение открываем мы окружающий нас мир. Каждый миг несет нам откровение, ибо нет мига повторимого. И если мы жалуемся на скуку, однообразие, то тем самым мы подтверждаем свое неумение видеть мир. Но в этом случае мы клевещем на себя. Ведь бесчисленное множество открытий мы делаем подсознательно! Взгляните на бегущий меж кустов ручей, на небо, подернутое легкими облачками, на туманную панораму города... Как все это знакомо и вместе с тем незнакомо! Наш глаз выбирает из виденного привычное, наш мозг привычно соотносит детали виденного. Но иногда, в какие-то прекрасные минуты, мы словно впервые открываем глаза, удивленно смотрим вокруг, мы словно просыпаемся и видим все необычайно четко и ярко. В эти минуты наш ум свободно сопоставляет каждую малейшую деталь, каждое явление, мысли текут свободно!

Быть может, сказанное послужит некоторым объяснением последующих событий. И не столько событий, сколько того воздействия, которое оказал на Гарри внезапно открывшийся ему огромный и многообразный мир. Машина мысли железного человека была пущена в ход.

Нельзя было ожидать, что все будет для Гарри новым. И в этом был глубокий просчет профессора Траубе.

Мы вернемся к той минуте, когда перед профессором со всей ясностью встала необходимость быстрого отъезда. Он стал тщательно продумывать план действий. Медлить было нельзя и в то же время нужно было все предусмотреть. Прежде всего требовалось подготовить Гарри к переменам в его жизни. Траубе рассчитывал, что новая обстановка благотворно повлияет на психику железного человека. Но, повторяем, он не мог всего предусмотреть, он был больше физиологом, чем психологом, и допустил большой просчет.

— Гарри, — сказал Траубе, — в ближайшее время вокруг вас все изменится, вы вступите в новый мир, вы включитесь в новые дела и тогда, быть может, вы глубоко

осознаете свое назначение в жизни. Но верьте мне, прислушивайтесь к моим советам. Они для вас нужнее всего. Без них вы не сможете обойтись. Вам придется встретиться с многими людьми... Запомните же первое: не здороваться за руку, не прикасаться ни к одному человеку, не допускать никакого прикосновения к себе. Ваша манера держаться должна быть строго выдержана. Корректность, подтянутость, некоторая сухость. Никаких интимностей, никаких доверительных разговоров! Запомните: так нужно. Если вас будут спрашивать о вашей жизни, исключайте подобные разговоры. Если вас будут приглашать на вечера, в клубы, в частные дома, отвергайте эти приглашения. Запомните: так нужно. Говорите только о науке. Другое, что вы должны запомнить: везде, всюду и всегда мы будем с вами вместе. Программа дня будет предусмотрена мной, и это все необходимо для осуществления больших планов, для свершения больших дел. Ясно вам, Гарри?

— Ясно, профессор.

Ни слова более не сказал Гарри, ничем не выдал своего отношения к тому, что услышал. Казалось, все было решено. Все ли?

Профессор укладывал в чемоданы множество бумаг, книг, таблиц и графиков: Гарри помогал ему. Наступил вечер, необычный вечер в жизни Гарри.

Когда на улице стемнело, из подъезда лаборатории торопливым шагом вышли два человека, закутанные в плащи, в низко надвинутых на глаза шляпах. Длинная, как стрела, машина ожидала их. Желтые огни фонарей растекались по ее черным бокам. Шофер неподвижно сидел за рулем. Уложив в багажник два небольших чемодана, они уселись в машину, и она с легким шорохом скользнула по асфальту. Вечерний город раскрылся навстречу. Огненные вихри реклам, каскады огней, шумные реки улиц. И все это мелькало, струилось, сливалось в темные и светлые полосы.

Траубе задернул шторы.

— Так лучше, — сказал он, — путь немалый. Давайте, отдохнем...

Откинувшись на спинку сиденья, он погрузился в мысли. Старался представить себе ближайшее будущее, но четкости представлений не было. Гарри сидел рядом, неподвижный, как истукан. Порой у профессора тревожно сжималось сердце. липкий страх охватывал все тело. Но он отгонял от себя это.

«Что готовит он мне? — размышлял Траубе. — Ведь я не знаю его так, как конструктор знает свое изобретение! Не знаю! Мне нужно строго наблюдать за ним, наблюдать и делать выводы. Нужно предугадывать ход событий и эволюцию его психики. Трудно! Дьявольски трудно! Учтет ли он мои советы? Смогу ли я всегда диктовать свою волю?»

Профессор покосился на Гарри. В полутьме кабины тот рисовался неясным темным пятном. Лишь восковая маска лица призрачно белела. А вокруг свистел ветер. Бесконечная лента шоссе стремительно скрывалась под колесами. Машина миновала границу города.

Наутро они остановились в небольшом городке и день провели в довольно захудалом номере гостиницы. Весь день Гарри молча просидел на стуле. Он не проявлял никакого особого интереса к деталям новой обстановки. Он ни разу не заинтересовался тем, что происходило за окном. Профессор не знал, радоваться ему или печалиться по этому поводу.

Когда они приехали, у него возникла идея усыпить на весь день железного человека, но Гарри воспротивился этому. Профессору нужно было позавтракать. Оставить Гарри одного в номере он не решался, а есть при нем — тоже. Тот же угадал его желание и, к немалому удивлению Траубе, спокойно заявил:

— Не беспокойтесь, профессор, я не помешаю вам ни в чем. Если нужно, кушайте, отдыхайте, словом, занимайтесь своими делами...

— Но, Гарри...

— Боитесь? Напрасно! Я расположен бездумно посидеть на одном месте.

— Но...

— Да бросьте вы свои опасения! Ни к чему они.

«Откуда у него такие мысли? — с тревогой думал Траубе. — Мысли сугубо человеческие! Но ведь он же — человек! Правда, только мозг... А в целом... Можно ли в целом назвать эту систему человеком? Не знаю, не знаю...»

Вошел служитель.

— Прикажете подать завтрак?

— Не нужно. Я пойду в ресторан, — поспешно ответил Траубе и быстро взглянул на Гарри. Тот никак не прореагировал на его слова.

— Идите же, — обратился Траубе к служителю вопросительно смотревшему на Гарри. Когда тот вышел, профессор сказал: — Мне, пожалуй, действительно, нужно отлучиться... правда, ненадолго... Но я бы хотел...

Он замялся, не зная, как оформить мысль.

— Мне бы, видите ли, хотелось...

— Вы хотите для спокойствия закрыть меня в номере. Так ведь?

— Да.

— Ну что ж! Не возражаю...

«Фу ты, черт! — думал профессор, — он, как маг, читает мои мысли! Что же, рискну!»

Ночью мчались они по глянцевитому шоссе, вновь свистел ветер, мелькали огни, проносились темные силуэты столбов и деревьев. И вот на горизонте возникло большое зарево — предвестник огромного города. Этот город и был той целью, к которой стремились наши путешественники. Медленно вырастал он вдали, сверкая бесчисленными огнями. Километры уносились назад, огни становились ярче.

— Скоро приедем, — сказал Траубе.

Гарри молчал. Он, видимо, не испытывал волнующего чувства ожидания, свойственного обычным людям. А впрочем, кто знает?

Приехали утром. Машина остановилась у подъезда великолепного отеля. Профессор заранее позаботился о том, где остановиться. В дальнейшем он рассчитывал снять особняк. Номер состоял из трех прекрасно обставленных комнат. Ореховая мебель сверкала полировкой. На стене красовалось большое трюмо.

Гарри подошел к зеркалу и взглянул на себя. Впервые он увидел так ясно свое изображение. Впервые встретился он взглядом с самим собой. Чужое незнакомое лицо... Но глаза! Что в них такое? Они глядят из какой-то дали... В них что-то скрыто от него самого!

«Забыл... забыл... Вот... Ах, ты! Не вспомню, — мучительно думал он, глядя в зеркало, — что за провал... Не могу вспомнить!»

— Гарри, что с вами? — обеспокоенно спросил Траубе.

— Ничего особенного. Просто задумался.

«Он задумался, — размышлял профессор,— боже, он стал задумываться! И это лишь начало... А потом? Что будет потом?»

Последующая неделя была целиком посвящена ознакомлению с городом. Профессор хотел перегрузить мозг Гарри новыми впечатлениями. В открытой легковой машине они совершали бесконечные прогулки по городу. Глазам Гарри открывалась далекая перспектива улиц. Дома, великолепные парки, фонтаны, пестрая толпа пешеходов, широкий поток машин — все это огромное, подвижное, многоцветное, переменчивое было вокруг, было рядом. Траубе осторожно, но внимательно наблюдал за лицом Гарри. Он старался угадать, какое впечатление производит окружающий мир на железного человека. А тот сидел неподвижный, безучастный ко всему, как изваяние, и ничего нельзя было прочесть в его взгляде.

Все, что видел Гарри, не поражало его. Оно было ему знакомо. Он нисколько не удивлялся разнообразию лиц, равнодушно пробегал он взглядом по великолепным фасадам зданий. Ни красивое, ни грандиозное не привлекало его. Все было знакомо ему в своей общей форме. Но все это, такое знакомое, в то же время не было связано с прошлым. Оно было само по себе. Железный человек принимал его спокойно, без удивления, таким, как оно было. Прошлого же не было. Прошлое умерло вместе с тем, кто передал ему эстафету жизни, и кого он не знал.

Подводя итоги дня, Траубе осторожно выведал настроение Гарри. Задавал ему различные вопросы о том, что видели они в течение дня. Гарри отвечал спокойно, обстоятельно. Несомненно, у железного человека была великолепная память, новая память, свежая память, свободная от бремени прошлого.

Казалось бы, это должно было утешительно действовать на профессора, но ни на минуту не мог он избавиться от непонятной ему тревоги. Что породило ее? Когда возникла она? Не в ту ли самую минуту, когда глаза железного человека впервые стали видеть?

Настало время, и Траубе решил вывести железного человека в свет. Правильнее сказать, он решил ввести его в круг ученых, выдавая за собственного сына, получившего физиологическое образование. Это был трудный шаг, и профессор немало размышлял по этому поводу. Что касается Гарри, то намерение профессора, о котором тот его известил, казалось, нисколько не взволновало его. Спокойно, невозмутимо слушал он наставления Траубе о том, как ему следует держать себя на первых порах; те основные правила, которые многократно повторял профессор, он, несомненно, запомнил.

И вот пришел вечер, когда их машина остановилась у подъезда академии. В просторном вестибюле толпилось много народу. Большей частью это были люди почтенного возраста. Здесь встречались и грузные слоноподобные господа, и маленькие старички с желто-белыми остатками волос и розовыми лысинами. Слышался сдержанный говор. Вся эта масса ученых мужей медленно продвигалась к широкой, покрытой ковром лестнице, ведущей на второй этаж в конференц-зал.

Профессор Траубе был, несомненно, известной личностью. Многие почтительно кивали ему, многие приветливо улыбались Гар-

ри тихо следовал за ним. Он ничем не выделялся на общем фоне, разве своей молодостью. Впрочем, среди присутствующих была и молодежь, правда, немногочисленная.

— А, многоуважаемый, здравствуйте! — раскатисто проговорил высокий плечистый господин, подходя к Траубе.

Рядом с ним профессор и Гарри казались малышами.

Профессор любезно ответил на приветствие.

— Познакомьтесь — мой сын, — кивнул он в сторону Гарри.

Рыхлая громада повернулась к стройному и невысокому Гарри.

— Локк, — небрежно отрекомендовался господин.

— Профессор Локк, — дополнил Траубе.

Железный человек молча поклонился. На какое-то мгновение водянистые глаза профессора Локка встретились с глубоким, тяжелым взглядом железного человека. И этого мгновения было достаточно, чтобы новый знакомый почувствовал в этом взгляде что-то особое, необычное, прижимающее к земле.

Между тем, к ним подошло еще несколько человек. Траубе щедро знакомил Гарри с учеными мужами.

— Профессор Брейтан.

— Профессор Стриблинг.

— Заведующий институтом экспериментальной психологии Штарк.

— Заведующий лабораторией электрофизиологии Вейтс.

И каждый раз железный человек сдержанно кланялся, не говоря ни слова. Нечто неуловимо особое привлекало к нему внимание. Присутствующие сдержанно перешептывались, указывая глазами в сторону Гарри.

В одной из групп какой-то толстяк удивленно разводил пухлыми ручками:

— Вы подумайте, у Траубе сын! Но я-то об этом ничего не знал. Не догадывался. А вы знали? Хе-хе... Откуда он взялся, этот сын...

— Мм... да-а... А ведь он странный какой-то... бука...

Ученое общество разгуливало по широкому коридору, из которого открывались двери в конференц-зал.

Внезапно общее оживление заставило профессора Траубе взглянуть в дальний конец коридора. Оттуда, окруженный шумной толпой собеседников, быстро двигался невысокий коренастый человек с огромным портфелем под мышкой. Это был румяный, цветущий старик, с седой клиновидной бородкой и маленькими колючими глазками. Он был подвижен, даже очень подвижен. При виде старика легкое облачко набежало на лицо Траубе. И не зря. Ведь он узрел своего главного противника, своего вечного оппонента профессора Сандерсона.

В ответ на сдержанный кивок Траубе Сандерсон широко заулыбался.

— А, дорогой коллега! Всегда рад вас видеть! Надеюсь, вы активно включитесь в обсуждение сегодняшнего моего доклада. Рад услышать ваше мнение.

Траубе снова кивнул.

На повестке заседания стоял доклад профессора Сандерсона на тему: «Соматические влияния на психику».

После того как колокольчик председателя возвестил полную тишину, профессор Сандерсон быстро взошел на кафедру и без всяких вступлений приступил к изложению своей темы.

— Господа! — раздался его звонкий и сильный голос. — Мой доклад вызван необходимостью внести ясность в давно запутанный физиологами вопрос о соотношении соматического и психического. Все чаще и чаще в трактовке этого вопроса физиологи избирают путь вульгарной рефлексологии. Стремясь быть материалистами, они оказывают медвежью услугу материализму, превращая его в огородное пугало. О! Может быть, это грубо! Может быть, это неприятно для изощренного слуха некоторых? Но я не привык подстраиваться под чей-то слух, не привык. Итак, речь идет о том, в каком соотношении находятся соматическое и психическое. В каком отношении идеальное, как идея, находится к физиологическому. Может ли перестроиться это идеальное при кардинальной перестройке соматического.

Недобрая улыбка кривила лицо профессора Траубе. Он и Гарри сидели в тени, в глубине ложи.

Между тем Гарри не очень внимательно следил за выступлением. Он рассеянно блуждал взглядом по огромному залу. Он видел множество затылков, толстых красных шей, обрамленных традиционными белоснежными воротничками, множество маслянистых лысин, седых бород и бакенбард.

Профессору Траубе приходилось, с одной стороны, слушать доводы своего вечного противника, с другой — наблюдать незаметно за Гарри. С удовлетворением видел он на лице своего питомца спокойное внимание, перемежающееся с безобидной рассеянностью.

«Соматическое... психическое... Жалкий дилетант! Если бы мог он видеть, какими невероятно сложными путями бегут импульсы

от железной сомы в этот живой, новорожденный человеческий мозг. Если бы он мог хоть на мгновение представить всю сложность, всю динамику этой необычной железной проекции в живом, пульсирующем человеческом мозгу! О, тогда бы он замер за кафедрой с открытым ртом. Но мое слово еще впереди! Не сегодня, не завтра, но скоро я скажу это слово, уважаемый господин профессор!»

Неожиданно мысли Траубе были нарушены. Что-то изменилось во взгляде Гарри. Что-то быстрое, как молния, мелькнуло на его лице. И это «что-то» заставило сжаться сердце профессора. С тревогой оглядел он зал, стараясь угадать причину, вызвавшую неведомую перемену. Но все было по-прежнему. Может быть, слова докладчика? Пустое!

Что же произошло? Что привлекло внимание Гарри?

Равнодушно блуждая взглядом по конференц-залу, он проникал в самые дальние его уголки. Везде он видел лица, лица, лица. Они не интересовали его. Они были ему знакомы. Они были построены по общей давно известной схеме: лоб, нос, рот, глаза, уши, подбородок. Соотношение частей не интересовало железного человека. Это были закономерные частности. Только и всего.

Но вот в дальнем конце зала он увидел новое, необычное. Собственно говоря, в этом не было ничего необычного. Самое обыкновенное лицо, полностью соответствующее общей изученной схеме лиц. Лицо молодой миловидной девушки. Оно было повернуто в профиль. Темный завиток волос прихотливо спадал на щеку. Само лицо, как барельеф, выделялось на фоне темной бархатной драпировки. Несколько раз Гарри непроизвольно обращал туда свой взгляд. И каждый раз видел все более четко. Девушка со вниманием слушала выступление профессора. Она ни разу не обернулась в сторону Гарри. Она и не подозревала, что является предметом чьего-то наблюдения.

Гарри чувствовал, что вокруг происходит какое-то изменение. Все оставалось на месте, но во всем произошел какой-то сдвиг. Одни предметы утратили свою четкость, отошли в сторону, другие — обрисовались по-новому. Такого необычного, нового ощущения еще не испытывал железный человек в течение своей короткой, но удивительной жизни. Он не сразу заметил, что заседание окончилось, что профессор с беспокойством трогает его за рукав.

— Гарри! Что с вами? Пойдемте.

— А, уже все?

— Да, да... Прения перенесены на завтра. Сандерсон, как всегда, не признает регламента.

Шумное собрание продвигалось к выходу. Следуя за профессором Траубе, Гарри несколько раз оглянулся назад. Это не ускользнуло от внимательного Траубе.

Вокруг раздавались многочисленные реплики. Ученые мужи продолжали обсуждать услышанное. Траубе, остерегаясь быть вовлеченным в какой-нибудь спор, поспешил выбраться на улицу. Ему меньше всего хотелось полемизировать. Да к тому же сегодня он чувствовал раздражение. Быть может, главной причиной тому были вид и голос профессора Сандерсона.

У подъезда сверкали лаком бесчисленные машины. Огромное освещенное здание академии вздымалось ввысь, в темно-синее звездное небо. Влажный ветер шелестел листьями на деревьях. Желтые огни фар растекались по асфальту. Вечер был полон шороха, шуршанья, сдержанного, но мощного шума большого города.

Подходя к машине, Гарри оглянулся на подъезд. Там, в глубине здания, остался ярко освещенный зал... И он почувствовал, как огромный мир придвинулся к нему вплотную. Этот мир миллионом шорохов, бликов, движений, тысячью ядовитых испарений проник в него. Проник в самые сокровенные глубины. Собрался внутри во что-то большое, неведомое, проник в кровь и потек вместе с нею, вошел в жизнь.

Никогда еще не видел Гарри мира таким, как в этот вечер. Звезды необычно четким, ярким узором рассыпались по небу. Между ними угадывались великие пространства.

Гарри недоуменно осматривался вокруг. Улицы, полные электрического света, шума и движения, разбегались по радиусам. Всюду — движение, во всем — мощный импульс жизни. Все как бы разбегалось в бесконечность и, вместе с тем, придвигалось вплотную, рвалось наружу и проникало внутрь. И это было для железного человека открытием мира.

СЛОЖНЫЕ ЧУВСТВА

Элеонора Стэкл после окончания института второй год работала ассистентом у профессора Сандерсона. Подруги завидовали ей, говоря, что она счастливица, что к ней пришло счастье работать под руководством крупного ученого. И действительно, внешне жизненные обстоятельства Норы складывались как нельзя лучше. Но только внешне. Дни первого энтузиазма, дни радужных планов и больших

надежд давно уже пролетели, и она лицом к лицу столкнулась с неприкрашенной действительностью.

Профессор Сандерсон, этот по общему мнению «очаровательный старичок», этот милейший человек, оказался не таким, каким представляла его первоначально Нора. Она сама не могла бы объяснить почему, но постепенно этот человек стал внушать ей все больший и больший страх и неприязнь. Конечно, она никогда бы не рискнула проявить эти чувства открыто, но, оставаясь наедине с собой, она глубоко переживала каждую встречу с профессором.

Все в нем было ей неприятным: его полное румяное лицо, его аккуратно подстриженная седая бородка, его маленькие липкие зеленые глазки, вокруг которых собирались лучистые морщинки, его голос, сочный, насыщенный интонациями. Встречаясь с добродушным веселым взглядом профессора, она в глубине его зрачков видела что-то скрытое, недоброе. Один раз, когда она по неосторожности слишком пристально взглянула ему в глаза, профессор, казалось, смутился и отвел взгляд. Этот будто бы незначительный случай еще больше насторожил Нору. Были ли у нее какие-нибудь объективные причины для того, чтобы не любить профессора, не доверять ему? Она и сама не ответила бы на этот вопрос. Но с каждым днем, с каждым часом ей становилось все труднее у него работать.

Любезный, обходительный, безупречно обязательный Сандерсон давил ее своим присутствием. Его вкрадчивые вопросы, советы, указания, его научные рассуждения — все, все сказанное им, было неприятным для ее слуха. Его присутствие сковывало ее. Как паук, плел он в лаборатории невидимую паутину, и Нора чувствовала, что бесчисленные липкие и прочные нити оплетают ее, лишают свободы, уверенности в себе.

Лишь один раз (и это было совсем недавно) профессор нечаянно сорвал с себя личину добродушия. На какие-то несколько секунд... Но этих секунд было вполне достаточно... Это произошло, когда один из сотрудников лаборатории случайно или намеренно произнес имя профессора Траубе.

— Вы говорите, профессор Траубе? — переспросил Сандерсон, и глазки его сузились и стали колючими, как иглы. — Так, так... Я слышал, что уважаемый коллега на днях будет здесь. Очень приятно! Он как раз поспеет к моему докладу.

Говоря это, профессор быстро разгуливал по лаборатории, тщетно стараясь скрыть от присутствующих свое раздражение.

На другой день после своего доклада в академии, на котором, как уже известно читателю, присутствовали профессор Траубе и Гарри, Сандерсон пришел в лабораторию особенно возбужденный.

— Воображаю, что он будет говорить в прениях! Ха! Очевидно, он постарается разбить все мои доводы, опровергнуть все мои выводы! Ну что ж, посмотрим! Кстати, откуда у него взялся сын?

Профессор обвел вопросительным взглядом лабораторию. Все молчали.

— Что-то не припомню я такого факта, чтобы у Траубе был сын! Да к тому же еще физиолог! Не правда ли, удивительно, господа? Сошествие мессии...

— Говорят, что он какой-то странный, — сказал один из сотрудников.

— Да, да, я тоже это слышал, — оживился профессор. — И сын странный, и все странно от начала до конца.

День прений обнадежил Сандерсона. Траубе не пожелал выступить в прениях, более того, ни он, ни его сын не явились на заседание.

— Меня, видите ли, игнорирует! — тихим шипящим голосом говорил Сандерсон.

Так это было или нет, никаких доказывающих фактов не было.

Итак, слух о сыне профессора Траубе дошел и до Норы. Мнения о нем были самые противоречивые. Одним он понравился с первого раза, другие считали его неприятным. Но все, как один, кому пришлось с ним встречаться, находили его очень странным. Имя Гарри Траубе все чаще и чаще срывалось с уст. Естественно, Нору очень заинтересовало это. И она не против была если не познакомиться, то хотя бы увидеть Гарри Траубе.

Мы должны упомянуть о некоторых обстоятельствах, осложняющих жизнь Норы.

У профессора Сандерсона был сын по имени Мак. Огромного роста и атлетического сложения, он, говорят, пользовался большим успехом на любительском ринге. Мак Сандерсон был молодым человеком без определенных занятий. Года два проучился он в институте, затем бросил ученье и с той поры не был причастен ни к какому делу. Это не мешало ему жить в свое удовольствие. Профессор имел солидный капиталец и к тому же боготворил своего сынка.

Нельзя было отказать Маку в широкой известности. Многие, очень многие знали его. Но это была недобрая слава. О нем говорили, как о человеке, с которым лучше не иметь никакого дела. Его боялись. Из уст в уста передавались слухи о его темных похождениях, скандалах и других непривлекательных

происшествиях. Насколько были истинны эти слухи, судить не беремся. Достоверным было лишь общее мнение, что с Маком Сандерсоном лучше не связываться и, главное, не ссориться.

С некоторых пор Мак стал довольно часто наведываться в лабораторию. Он довольно бесцеремонно проникал сюда и чувствовал здесь себя свободно, как дома. Сотрудники недоуменно переглядывались и пожимали плечами, а любящий отец нисколько не препятствовал этому вторжению.

Постепенно стала выясняться истинная причина этих визитов. И наконец она стала всем ясна. Виновницей была Нора. Она и сама со страхом убедилась в этом.

Первое время Мак ограничивался тем, что бесцеремонно разглядывал девушку, заняв удобный наблюдательный пункт в лаборатории. Затем он стал заговаривать с ней, используя для этой цели довольно плоские шутки. Впрочем, он не привык стесняться в выражениях, особенно здесь, где хозяин — его отец. Да что там отец! Разве сам Мак недостаточно авторитетная личность в этом мире?

Однако Нора была на этот счет другого мнения. Несколько раз она в довольно резкой форме попросила его не вмешиваться в ее дела и не мешать работе. Наивная девушка! Разве можно было этим испугать Мака! Наоборот, она еще больше привлекла его внимание. Он стал постоянным посетителем лаборатории. Целыми часами маячила перед ее глазами ненавистная фигура. Метнув исподлобья взгляд, она видела его широкое, налитое лицо, низкий лоб, крепкие скулы и маленькие бесцветные глаза. Со страхом и отвращением замечала она, как под тонкой шелковой рубашкой дышит его широченная грудь, как при каждом движении перекатываются мощные мускулы. В силе может быть красота. Сила прекрасна, если эта сила человеческая. И не зря эту силу так щедро воспели и изваяли древние. Но в силе Мака было что-то звериное, первобытное.

От созерцания Мак перешел к действию. Как-то раз, придя позднее обычного, он дождался конца рабочего дня. Когда Нора направилась к выходу, он последовал за ней. У подъезда он догнал девушку и бесцеремонно обратился к ней:

— Я подвезу вас. Вот мое авто.

— Благодарю. Не надо, — отрезала Нора.

— Что за капризы? Пойдемте, — Мак попытался взять ее за руку.

Нора резко отступила назад и вызывающе смерила его взглядом.

— Я вам сказала, что намерена идти пешком. Тем более, что расстояние не требует никакого транспорта.

— Ну что ж, отлично, — невозмутимо ответил Мак, — тогда и я прогуляюсь с вами.

— Эй, трогай, — махнул он шоферу.

Прохожие невольно обращали внимание на эту странную пару. Маленькая изящная Нора быстро шла впереди, а верзила Мак, посвистывая и независимо поглядывая по сторонам, шагал за ней, не отставая. Некоторые оглядывались и покачивали головами.

— Ну, видимо, наш молодчик нашел себе пташку по вкусу, — сказал с усмешкой один из прохожих другому.

— Н-даа... Не завидую ей, — ответил тот.

И действительно, Норе нельзя было позавидовать. День ото дня Мак становился все более и более несносным. В его привычку вошло каждый раз дожидаться конца работы и упрямо следовать за ней по пятам до самого дома.

Нора не знала, что ей делать. У нее мелькнула мысль переговорить с профессором, рассказать ему обо всем, просить у него, чтобы он сделал внушение своему сыну. Но она тут же отвергла этот план. Она инстинктивно чувствовала, что этот разговор не только не поможет ей, но и осложнит ее положение.

Что же было делать? Где искать выход?

А вокруг этой истории начали рождаться слушки, возникать разговорчики.

Косвенными путями до слуха Норы дошло, что Мак грозится жестоко проучить каждого, кто обратит на нее внимание. И она почувствовала, что это не пустая угроза.

Однажды ей довелось случайно встретиться со старым школьным товарищем. Они, не торопясь, прогуливались по парку, затем присели на скамейку и с удовольствием вспоминали о добрых школьных временах. Увлеченные разговором, они не заметили огромной нескладной фигуры, мелькнувшей за деревьями.

Простились они, когда уже стемнело. Когда Нора хотела уже войти в подъезд своего дома, перед ней, загораживая дорогу, неожиданно вырос Мак.

— Кто он? — раздался его хриплый голос.

— Вы о чем? — недоуменно спросила девушка.

— Я спрашиваю, кто он?

Внезапно Норе стало ясно, о чем речь.

— Как вы смеете! — воскликнула она, стараясь пройти в дверь. Но Мак стоял, как стена. Его злые, как у кабана, глазки в упор смотрели на нее.

— Вы говорите, смею? — глухо переспросил он. — Как я смею? А вот как! — И он

медленно сжав свой огромный кулачище, потряс им в сторону парка. — Вот как! — еще раз повторил он. Мак исчез так же неожиданно, как и появился, а Нора, бледная и трясущаяся, вбежала к себе в комнату.

«Как быть? Как быть?» — жег ее сознание один и тот же вопрос, но ничто не подсказывало ей на него ответа. Вот в такой сложной личной обстановке и появился на арене жизни Элеоноры Стэкл железный человек.

Если бы Нору спросили, чем объясняется ее желание увидеть сына профессора Траубе, она едва ли смогла бы ответить. Конечно, немалую роль в этом сыграли многочисленные разговоры о Гарри Траубе. Но желание ее росло с каждым днем и перешло в цель. Этому способствовало то, что случая увидеть Гарри ей не предоставлялось. Профессор Траубе последние дни не появлялся в обществе со своим питомцем. Профессор решил изолировать на некоторое время железного человека от общества. Большую часть времени они проводили дома. Временами совершали в машине поездку по городу. Прошло более недели, прежде чем профессор Траубе решил вновь появиться вместе с Гарри в ученом мире. Они вновь присутствовали на одном из заседаний физиологической секции академии.

В этот вечер Норе предоставился случай познакомиться с сыном профессора Траубе. Сиротливо бродила она по коридору в перерыве между прениями. Вокруг нее все шумело и двигалось. Там и тут собирались небольшие группы, в которых шло оживленное обсуждение доклада и выступлений. Это обилие светил науки смущало Нору.

«Скорей бы уж кончился этот несносный перерыв!» — думала она.

В одной из групп беседующих Нора заметила профессора Траубе. Там же находился и ее уважаемый шеф. На румяном лице Сандерсона играла его обычная, так хорошо знакомая ей улыбка. Траубе, напротив, был мрачноват. Остальные собеседники, видимо, больше прислушивались к разговору двух знаменитых профессоров, чем говорили сами.

— Вы только не подумайте, коллега, что я расположен предвзято вам возражать, — долетел до Норы голос Сандерсона.

— У меня, коллега, нет времени думать о таких вещах, — отрезал Траубе.

Сандерсон был смущен ответом. Чтобы выйти из неловкого положения, он обратил свой взгляд на проходившую мимо Нору.

— Нора, а вы что прячетесь за спины? Подойдите-ка сюда! Вот, коллега, познакомьтесь — мой славный, мой верный помощник ассистент Элеонора Стэкл.

Траубе молча кивнул. Ему не по душе были шутовские приемы Сандерсона. Нора молча стояла перед суровым профессором. Был он высок и худощав. Его глаза пристально, изучающе смотрели из-под очков. О чем было говорить ей, скромной девушке, с этим мрачным ученым? И только сейчас заметила она стоящего несколько в стороне молодого человека. «Это он!» — догадалась Нора.

Сандерсон быстро перехватил взгляд своей помощницы.

— Профессор! А вы что же скромничаете? Познакомьте же Нору со своим сыном!

Траубе неохотно повернулся к Гарри и кивнул ему. Тот выступил вперед.

— Мой сын, — глухо сказал Траубе.

— Гарри Траубе, — поклонился молодой человек.

— Элеонора Стэкл.

Итак, Нора лицом к лицу встретилась с железным человеком. Несмело взглянула она ему в лицо. Что поразило ее в этом лице? Что поразило ее в этом взгляде? Нора не смогла бы об этом никому рассказать. Да она и сама не знала этого. Она смотрела в его глаза с недоумением, граничащим со страхом. Внезапно она осознала, что поступает почти неприлично. Вокруг было неловкое молчание. Профессор Траубе хмуро смотрел в сторону. Сандерсон беспокойно оглядывался и беспричинно улыбался. Поклонившись, Нора быстро отошла от них. Уже идя по коридору, она чувствовала, что душой ее овладевает смятение. Нервы были напряжены. Что происходит с ней, она не знала.

Чувствуя, что не в силах вынести вторую часть заседания, она решила сказать об этом Сандерсону. Улучив момент, когда он отошел от своих собеседников, она обратилась к нему с просьбой разрешить ей уйти домой.

— Что с вами, уважаемая? — спросил профессор, испытующе взглянув на нее. — Вы больны?

— Да, мне нездоровится, — ответила Нора, опустив глаза.

— Ну, что ж, не смею вас задерживать.

— Благодарю вас...

По дороге домой она почти не замечала окружающего. Столкнувшись со встречным человеком, недоуменно вскинула глаза и даже забыла извиниться.

Перед ее мысленным взором встало бледное красивое лицо Гарри Траубе.

Что было особенного в этом лице? Почему оно поразило ее? Это лицо было ей совершенно незнакомо. Нора прекрасно помнила

всех, кого она встретила в своей еще недолгой жизни. Она могла бы тысячу раз поклясться, что никогда не встречалась с этим человеком. И в то же время она знала его! Она узнала его! Как можно узнать незнакомого человека? Это было мучительное противоречие мысли. Неразрешимое противоречие, потрясающее ее.

«Боже мой, — думала она в смятении, — знаком и незнаком! Ничего не пойму...»

Ясно вспоминая черты этого лица, она не могла не отметить, что было в нем что-то очень странное, необычное. В чем заключалось это необычное? В чем? И эта неуловимая особенность резко отличала Гарри Траубе от всех остальных.

Погруженная в такие мысли, Нора неожиданно услышала за собой быстрые шаги. Обернувшись, она увидела ненавистного Мака. Он догонял ее. Все внутри ее поднялось против этого человека. Придержав шляпку, она быстро добежала до своего подъезда и захлопнула дверь.

Заседание продолжалось допоздна. Профессор Траубе и Гарри приехали домой около полуночи. Траубе был утомлен да к тому же не в духе. В его ушах звучал голос Сандерсона. Профессор хмурился и ходил по комнате.

— Спать, Гарри — сказал он, взглянув на часы, и прошел в свою комнату.

Гарри молча посмотрел ему вслед и прошел к себе. Не зажигая света, он подошел к окну и распахнул его. Глубоко внизу тысячами огней сверкал огромный город. Его мощный гул уже ослабленным и измененным долетал до пятнадцатого этажа. А над городом повис темный бархатный купол неба, усеянный мириадами звезд.

Гарри стоял у окна. Он смотрел вдаль. Он вглядывался в темный далекий горизонт. Ночная влага заполнила комнату. Гарри чувствовал, как легко и свободно дышит его грудь. Гарри чувствовал свое сильное молодое тело. Это были прекрасные, но недолгие минуты. Это было скупое счастье, отпущенное ему судьбой.

И вот сквозь этот темный ночной занавес, сквозь необозримый простор ночи стали проступать какие-то видения. Сначала они были смутны, еле различимы, как далекие зарницы. Потом они стали яснее. Туманные миражи проплывали перед ним. Он видел освещенные солнцем улицы города. Не того города, в котором он жил теперь, а какого-то другого. Он видел зеленые парки и красивые здания. Вот он идет по улице. Вот он останавливается на перекрестке. Мимо него с легким шелестом проносятся легковые машины. Вот он видит угол дома. От дома на асфальт легла глубокая тень. А дальше — солнце. Оно щедро разливалось по листве большого дерева. Гарри ждет. И вот... И вот... Среди шумной уличной толпы он замечает ее. Она быстро идет к нему. Он видит на лице ее счастливую улыбку, такую милую, такую знакомую. Кто она? Гарри знает — это Нора! Они стоят рядом и о чем-то говорят. Гарри не слышит слов, но знает, что они говорят о чем-то близком, хорошем. Легкие тени листьев трепещут на асфальте. Нора смотрит на него. Сейчас... сейчас он услышит ее голос. Сейчас назовет она его по имени...

— Гарри!

Что это? Куда все исчезло?

Рядом стоит обеспокоенный Траубе.

— Гарри! Вы не спите!

Молча отошел железный человек от окна и направился к постели.

ГЛУБОКИЙ СЛЕД

Мак Сандерсон сидел у себя дома в самом мрачном настроении. Его маленькие кабаньи глазки злобно щурились. Его огромные руки до хруста в костях сжимали ручки кресла. Профессор неслышно ходил по комнате, с опаской поглядывая на сына.

— Ну право же, Мак, не надо так горячиться, — заговорил он.

— Что ты лезешь ко мне со своими увещеваниями? — полуобернулся к нему Мак. — На кой они мне черт? Я тебя спрашиваю, за каким дьяволом тебе понадобилось знакомить Нору с его сынком?

— Но я...

— Что «но я»? Ваша этика, чтоб ее... Хорошо же! Теперь я возьмусь за дело. Я-то уж сумею исправить твой промах!

— Мак, одумайся! Ты говоришь несообразное. Все знают, что мы с Траубе не любим друг друга. А тут еще...

— А я и не собираюсь трогать твоего Траубе! Занимайся с ним сам. У вас ведь в ученом мире принято кривляться друг перед другом... Ну и кривляйтесь на здоровье. Но с этим щенком я поговорю сам. Я-то сумею ему внушить уважение к своим принципам!

— Но послушай... Ведь нет еще никаких причин так действовать! Ведь ничего особенного не было.

— А ты думаешь, что я буду дожидаться чего-то особенного?

— И потом, — продолжал Сандерсон, пропуская мимо ушей реплику сына, — поду-

май, что такое для тебя Нора. Стоит ли из-за нее...

— Нора? Э, да что с тобой разговаривать! Нора нужна мне. И точка. Какая бы она ни была. Не твое дело. Слышишь, не твое дело! И я возьму ее, — продолжал, внезапно раздражаясь, Мак. — Ну что смотришь? Шокинг? Или, как там, по-вашему, физиологическому, — шок? Ха? Нет уж, черт возьми, тут я сам сумею все сделать.

Мак резко поднялся и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Профессор проводил его тревожным взглядом, но не сказал ни слова.

В это самое время Нора была у себя дома. Она сидела, погруженная в тяжелое раздумье. Прошла уже неделя с той поры, как она познакомилась с сыном профессора Траубе, но сила первого впечатления нисколько не ослабла. Нет, наоборот, с каждым днем тревога и смятение все более овладевали ею. Может быть, это была любовь с первого взгляда? Любовь, о которой столько написано и рассказано. Нет, то, что вошло в Нору, то, что властно завладело ею, лишило ее покоя и уравновешенности, не имело ничего общего с этим чувством. Это было что-то другое. Это была тревога, смутная, нарастающая, непонятная.

Казалось, не было никаких мотивов для этой тревоги. Но как часто уходят из поля зрения человека скрытые мотивы поступков! Как часто стоит он со страхом и недоумением перед лицом свершившегося факта! Нора не могла дать себе отчета в бесконечной путанице мыслей и чувств, овладевшей ею в последние дни. Она лишь смутно ощущала, что вокруг нее завязывается сложный клубок событий и отношений. То и дело мысленно рисовался ей уродливый силуэт Мака. На месте его возникало бледное неподвижное лицо Гарри, и Нора чувствовала, как сердце ее сжимает тревога. Лицо Гарри расплывалось и явственно проступала ядовитая улыбка профессора Сандерсона. И со всеми этими людьми она была связана. И от всех этих людей что-то зависело.

Нора сжала руками виски. Она ясно ощутила биение артерии. Нужно было разобраться в своих мыслях. Она твердо знала лишь то, что не является пассивным участником событий. Что-то зависело от нее. Она должна сделать какой-то шаг. Но какой? И вдруг ей стало совершенно ясно: она должна увидеться с сыном профессора Траубе. Она должна говорить с ним... Говорить? Но о чем? Какая нелепость! Ведь они не знают друг друга. Они никогда не встречались.

«Нет, нет! — говорила она себе, — это нелепо. Я просто больна. И всему виной этот гнусный человек. Его вечные преследования извели меня. У меня просто расстроились нервы. Нужно отдохнуть, взять отпуск, уехать...»

А сквозь этот голос самоуспокоения проступал другой, сильный, требовательный, доходящий до крика: «Тебе нужно увидеть Гарри Траубе! Тебе нужно говорить с ним!»

«О чем? О чем?» — тоскливо спрашивала Нора. Но ответа не было.

За окном сгустились сумерки, но ей не хотелось зажигать свет.

«Если бы мне удалось поближе познакомиться с профессором Траубе, а потом... А потом? Что же потом?— продолжала она размышлять. — Ведь я же отлично знаю, что мой шеф его ненавидит. Так к чему же осложнять и без того запутанные отношения? Да и о чем я буду говорить с профессором Траубе? Он не очень-то любезен был со мной. А если встретиться с Гарри, минуя Траубе?» И вновь почувствовала она сильный приступ волнения. «Нет, так вот просто встретиться с ним нельзя. Нужно как-то подготовить встречу, нужно... ему написать».

Нора зажгла свет и положила перед собой чистый лист бумаги. Но напрасно вертела она в руках авторучку. Ни одно слово не хотело сойти на бумагу. Белый лист стал увеличиваться у нее на глазах. Вот это уже не лист, а бесконечное снежное поле. По полю бежит человек. Все быстрее и быстрее бежит он. Все меньше и меньше становится его темная фигурка. Норе нужно его догнать. Она бежит за ним, она выбивается из сил. Дыхание жжет ей грудь. В глазах темнеет.

— Постойте, — кричит она в отчаянии, — постойте! Мне нужно вам сказать... — Но не слышит ничего человек. Все дальше и дальше убегает он к темному горизонту.

Мы оставим Нору в ее минутном сне над чистым листом бумаги. Перенесемся в комнату, где сидели Траубе и Гарри.

Профессор, откинувшись в кресле, листал научную брошюру. Гарри безучастно пробегал глазами по страницам «Физиологического вестника».

Траубе не мог сосредоточиться. Непроизвольно он то и дело бросал взгляд на железного человека. Вот уже вторую неделю профессор не знал покоя. Странности в поведении Гарри тревожили его. Особенно насторожил его позавчерашний вечер, когда он застал Гарри у открытого окна своей комнаты. В позе, в лице, во всем облике железного человека было так много необычного, что профессор не на шутку испугался. Дважды пришлось

окликнуть ему Гарри, прежде чем тот обернулся. Мучительней всего было неведение: профессор не знал, что происходит в мозгу железного человека. Как бы ни был сложен сконструированный прибор, он не выходит за рамки общей схемы, предусмотренной конструктором. И поэтому, если конструктор видит какие-то частные отклонения в работе прибора от предусмотренной им схемы, он (если, разумеется это настоящий конструктор!) не смущается. Он знает, что рано или поздно найдет нужное звено. В этом поиске проявляется конструкторский задор, в нем — удовлетворение, в нем — награда.

Но у Траубе было нечто совсем иное. Чрезвычайная прибавка, которую сделал он к своему изобретению, превратила это изобретение в неподвластное ему, независимое от него. Сложная биоэлектронная система, называемая железным человеком, стала жить и развиваться по не предусмотренным им законам. И чувствуя свое бессилие, профессор лишился душевного равновесия, всегда присущего ему. Он, смелый и решительный человек, временами испытывал приступы страха, граничащего с ужасом. Как часто, просыпаясь среди ночи, он тихонько пробирался в комнату Гарри. Подолгу смотрел на неподвижное лицо, на мертвое, неподвижное тело. Он сознавал, что это тело мертво так же, как тело трупа. И только маленький, беспомощный кусочек жизни скрыт под его стальной оболочкой. Траубе сознавал, что сейчас эта жизнь целиком зависит от него. Не нажми он утром кнопку, и железный человек останется лежать. Он будет лежать день, два, неделю, вечность. И скоро, очень скоро угаснет навсегда последняя искра жизни.

Может быть, так и сделать? Может быть, легко и просто избавиться от страшного бремени? Но каждое утро, каждое утро воскрешал Траубе железного человека. Могучий инстинкт ученого не позволил бы ему не сделать этого. И каждое утро Гарри вставал не тем, кем он был вчера. И когда он открывал глаза, когда он поднимался с постели, профессор вновь чувствовал свою беспомощность, свою фатальную зависимость от обстоятельств.

Вечером профессору необходимо было зайти в академию по неотложным делам. Это касалось его доклада, который он намеревался сделать через неделю. Весть о том, что Траубе собирается сделать доклад, да к тому же сопровождая его демонстрацией опыта, быстро облетела ученые круги. Имя профессора, хотели или нет этого его противники, пользовалось большой популярностью. Все были заинтересованы. Некоторые глубокомысленные ученые мужи с наслаждением предвкушали схватку между Траубе и Сандерссном. Но, откровенно говоря, больше симпатий было на стороне Траубе.

Сегодня профессор решил не брать Гарри с собой. Он не хотел допустить новых встреч железного человека с людьми.

— Гарри, — сказал он, — вы останетесь дома. Предупреждаю, ни шагу из комнаты. Так нужно.

— Можете быть спокойны, профессор, — ответил Гарри.

Слуга сообщил, что машина подана. Уходя, Траубе еще раз повторил свое условие и еще раз получил заверение от Гарри.

Неподвижно сидел железный человек в кресле. Маятник больших часов лениво отстукивал время. Издалека, снизу, долетал шум города. Стемнело. Сколько прошло времени после ухода профессора, Гарри не знал, да и не интересовался этим. Звонок заставил его быстро повернуться к двери.

Вошел служитель.

— Вам письмо, — почтительно произнес он.

— Письмо? — удивился Гарри. — Но это очевидно не мне, а отцу!

— Нет, вам!

«Письмо! — думал он. — Как странно, мне письмо!»

На конверте он прочел: «Мистеру Г. Траубе».

— Но тут нет адреса! И обратного тоже.

— Письмо передали в руки.

— Кому? Вам?

— Да.

— Давно?

— Только что.

— Передавший здесь?

— Нет. Он уже уехал. Просил сразу же прочесть.

— Можете быть свободны, — кивнул Гарри служителю и, когда тот скрылся за дверью, вскрыл конверт, пробежал глазами по мелким неровным строкам. Вот что прочел он:

«Вы, наверно, удивитесь моей дерзости. И просьба моя вам покажется странной и подозрительной. Но поверьте, я не могла поступить иначе. Мне необходимо с вами поговорить. О чем, не могу сказать в письме. Отец ваш задержится в академии не менее часа. Очень прошу вас уделить мне несколько минут. Жду вас в парке у вашего отеля. Боковая аллея. У памятника.

Э. С.»

Несколько раз перечитал Гарри письмо. Это была первая весть мира, полученная лично им и не предусмотренная профессором Траубе.

Нужно идти. Его ждут. Но он дал профессору слово никуда не отлучаться. А почему он дал это слово? Какое право имел Траубе ставить ему такое условие? Раньше он принимал все условия профессора равнодушно, не задумываясь. Но сейчас все восстало в нем против данного им обещания.

«Иду!» — твердо решил Гарри и нажал кнопку звонка.

— Замкните дверь, — сказал он появившемуся служителю, — я должен ненадолго отлучиться.

Парк был густой, с прихотливой сетью аллей и дорожек, посыпанных крупным песком. Редкие фонари скупо освещали его. Гарри направился в боковую аллею, в конце которой смутно белел памятник. Первый раз в своей недолгой жизни шел он один. Первый раз не было рядом с ним профессора Траубе. Густые купы деревьев темными массами выделялись на прозрачно синем вечернем фоне неба. Проглянули звезды. Вечер был безветренный и душный. Легкий хруст песка под ногами, пряный запах травы и листьев, темные провалы теней в глубине парка — все это как-то по-новому действовало на железного человека, проникая в самые далекие уголки его тела. И было это не просто физическое воздействие, нет, это была весть, это было напоминание о чем-то. О чем?

Гарри не сразу заметил отдалившуюся от деревьев маленькую темную фигурку.

— Мистер Траубе?

Слабый свет фонаря падал на лицо Норы. От шляпки на глаза легла тень.

Гарри поклонился.

Они шли молча. Нора явно не знала, с чего ей начать разговор. Гарри тоже был не в лучшем положении.

— Мистер Гарри, — голос девушки был взволнован, — простите, но я не могла иначе... Я должна вам все рассказать. В тот вечер, когда нас познакомили, я почему-то подумала, что именно вы... Ах, какую чепуху я говорю! Ничего я не подумала. Это случилось позднее. Мистер Гарри, вы мне разрешите рассказать?

Нора сбивчиво поведала ему свою печальную историю.

— Вы понимаете, я больше не могу так! Эти люди давят меня, лишают покоя и днем и ночью. Когда я увидела вашего отца, я решила... Но он такой суровый. Мне показалось, что я ему не понравилась. Как нескладно я говорю! Я решила, что он, может быть, возьмет меня в свою лабораторию. Не ассистентом, пусть лаборантом. Я на все условия согласна.

Волнение мешало Норе ясно излагать мысль. Да, собственно говоря, никакой ясности в ее мыслях и не было. Решение перейти на работу к профессору Траубе пришло неожиданно.

— Вы должны мне помочь, — продолжала Нора, — расскажите все профессору. Обещаете?

— Обещаю, — глухо отозвался Гарри. Чем больше смотрел он на эту девушку, тем больше чувствовал, как в него вливается непривычное, гнетущее чувство. Откуда пришло оно? Из каких тайников? Когда Нора непроизвольно чуть приблизилась к нему, он резко отстранился. Девушка взглянула удивленно.

— Мистер Гарри,—снова заговорила она,— я не могла вам сказать сразу... Когда я увидела вас впервые, мне показалось... конечно, только показалось... Ведь мы никогда не встречались с вами...

Железный человек остановился.

— Говорите, что показалось вам.

— Что я вас знаю, — выдохнула Нора.

— Вы!? Меня!?

Страшная тяжесть внезапно легла на плечи Гарри. Она сгибала его и, лишь напрягая свои стальные мускулы, он стоял прямо. Только сейчас почувствовал Гарри железную проекцию своего тела в живом человеческом мозгу. Это ненавистное тело давило его. Его живое, человеческое, было втиснуто в стальную тюрьму, втиснуто навечно. А изнутри, из самой глубины рвалось наружу что-то далекое и в то же время близкое. Это была почти физическая боль.

Нора заметила смятение Гарри. Она молчала, не решаясь продолжить разговор. Из-за поворота ярко блеснул фонарь. Большие тени скользнули от их ног в глубину аллеи. Взглянув на землю, девушка не могла скрыть удивления.

— Какой у вас глубокий след, мистер Гарри, — она указала на песок.

Молча смотрел железный человек на следы своих ног.

— Тяжело ходить мне по земле, — ответил он наконец.

— Боже мой, вам уже пора! Вас потеряет профессор! — воскликнула Нора, взглянув на часы. Она протянула руку, но Гарри не принял рукопожатия. Поклонившись, он круто повернулся и пошел домой.

— Гарри! — услышал он взволнованный голос профессора, подходя к подъезду отеля. — Где вы были? Где ваше обещание?

Смертельно бледный Траубе стоял перед ним. Железный человек молча направился к лифту.

СТОЛКНОВЕНИЕ

Это было на другой день после описываемых нами событий. Слух о свидании Норы с Гарри Траубе достиг ушей Мака Сандерсона. Целый день гонял Мак свою машину по шумным улицам города. Глухая злоба душила его. Налегая на руль, он мчался по асфальту, обгонял попутные машины, вихрем проносился под стоп-сигналами. Мелькали фонарные столбы, окна, витрины. Вырываясь из общего потока машин на перекрестках, он видел испуганные лица отбегающих в сторону людей. Ему хотелось давить их колесами, хотелось на полной скорости врезаться в густую, пеструю, многоликую толпу, услышать стоны, вопли, крики.

Вечером, усталый и злой, он подкатил к дому. Пройдя в свою комнату, он с силой захлопнул дверь и опустился в кресло. В его тупом сознании не было ничего определенного. Мак не привык думать, не привык делать выводов. В жизни им руководил лишь звериный инстинкт, неосмысленная воля. Как бык, которого дразнят, наклоняет огромную рогатую голову и роет копытом землю, так и Мак Сандерсон, встречая непредвиденные обстоятельства, мешающие осуществлению его планов, предавался бессмысленной животной ярости. В такие минуты он был страшен. Даже отец боялся его.

— Убью! — бормотал Мак, сжимая свои огромные кулаки. — Убью!..

К кому относилась эта страшная угроза?

— Сегодня вечером. Точка. Или я не Мак Сандерсон, — сказал он себе.

В этот день профессор Траубе и Гарри безвыходно сидели дома. Вчерашний случай окончательно расстроил профессора. Нужно было срочно принять какое-то решение. Какое? Неужели бросить все и уехать? А доклад? Траубе возлагал на него большие надежды. Этот доклад должен быть началом генерального наступления на широком фронте науки. Нет, уезжать было нельзя. Нужно поговорить с Гарри. Сейчас, как никогда, нужно усилить свое влияние на него, подчинить эту необычайную биоэлектронную систему могучей человеческой воле.

Итак, необходимо начать. Но как? Весь день собирался профессор приступить к этому трудному разговору и каждый раз откладывал его, испытывая острый приступ нерешительности. А Гарри словно ни о чем не догадывался. Он вел себя, как обычно.

Пришел вечер. Траубе сознавал, что больше оттягивать нельзя. «Я рискую потерять его, — говорил себе профессор, — а в нем итог моей жизни. Я сделал больше, чем мог. Так неужели дать погибнуть этому делу?» В глубине души профессор лелеял идею... Когда-нибудь... не сейчас, не скоро он выведет Гарри в широкий научный мир, поставит его за кафедру, продемонстрирует всем его блестящие умственные способности. А потом... он покажет всем (и в первую очередь своим противникам) выключенного железного человека, откроет его стальную грудь, и все увидят необычайный электронный организм, снабженный человеческим мозгом. Это будет великий триумф, и от предвкушения его у профессора захватывало дух.

В окно струились сумерки. Траубе зажег свет.

— Гарри, — заговорил наконец профессор, и голос его был глух и взволнован, — бесполезно откладывать этот разговор. Я должен сказать вам все. Нельзя носить в себе тяжелый камень сомнения. Нужна ясность. Наблюдая последние дни за вами, я вижу, что вы изменились, и притом к худшему. Вы словно отошли от меня. Вы словно тяготитесь моими действиями и моими советами. Но поймите, они продиктованы сознанием острой необходимости. Если бы вы знали, как я беспокоюсь за вас, как хочу оградить вас от нежелательных случайностей (а их в жизни много, очень много!), вы бы, конечно, не поступили так, как вчера. Я не раскрывал вам всего и не все могу пока раскрыть. Будет время... Я могу лишь сказать, что каждый день, каждый час и минуту вы подвергаетесь очень большой опасности. Эта опасность особого рода. Она грозит только вам. И никто, кроме меня, не может оградить вас от нее. Я слишком хорошо сознаю ваше значение в жизни, чтобы рисковать вами. Это значение велико. Придет время, и вы займете исключительное место в жизни.

— Все это я уже слышал, профессор, — равнодушно ответил Гарри. — Это слова и только слова. Вы говорите: «исключительное место в жизни». А для чего мне это?

— Хорошо. Оставим этот разговор. Скажите, зачем вы вчера, вопреки своему обещанию, отлучились из дома?

— Я получил письмо.

— Письмо? — профессор застыл от удивления.

— Вот, — протянул Гарри ему конверт.

Профессор вынул письмо и быстро пробежал глазами по строкам.

— Ничего не понимаю! — сказал он, вопросительно взглянув на Гарри. — От кого оно? Тут какие-то инициалы: «Э. С.»

— Элеонора Стэкл, — пояснил Гарри.

— Элеонора Стэкл? — переспросил Траубе, бледнея. — Понимаю, — произнес он одними губами, — все ясно... Происки Сандерсона. Неужели ему известно?

— Что известно, профессор?

— Как? Вы меня спрашиваете? Нет-нет... это я просто так. Ну и что же, вы были?

— Да, был.

— И виделись с ней?

— Да, виделся.

— Говорите же! Ну, говорите! — почти закричал профессор. — Что произошло между вами, о чем вы разговаривали? Я должен знать. Немедленно, сейчас же! Как она смотрела на вас? Не заметили? Не было ничего особенного в ее взгляде? О чем спрашивала она вас? О чем договаривалась с вами? Я все должен знать!

Гарри кратко передал содержание вчерашнего разговора. Профессор слушал внимательно. Он буквально впился глазами в спокойное лицо Гарри, стараясь угадать по самому ничтожному движению этого лица скрытые мотивы свидания.

— Дальше! — сказал профессор.

— Все!

— Нет, это еще не все! Это лишь начало!

— Профессор, я должен повторить просьбу Элеоноры, — заговорил после некоторого молчания Гарри, — вы, видимо, не обратили на нее особенного внимания.

— Какую просьбу?

— Я обещал Элеоноре ходатайствовать перед вами о том, чтобы вы взяли ее к себе на работу. Работать с Сандерсоном ей невозможно.

— Взять Элеонору Стэкл? Никогда! Вы не понимаете, о чем говорите! Нельзя придумать ничего хуже. Взять ее к себе! Какая нелепость! Никогда и ни за что!

Профессор был возбужден до предела.

— Только подумать! Что я — мальчишка? Или я не способен понимать элементарные вещи? Это все Сандерсон! Хорошо. Теперь буду действовать я. Завтра же буду в академии... И если встречу эту самую Стэкл, не миновать ей разговора.

— О чем вы говорите, профессор?

— А о том, что если мне попадется на глаза эта особа, я отчитаю ее как девчонку!

— Вы этого не сделаете, — возразил Гарри.

— А я вам говорю, что сделаю именно это! — закричал Траубе, теряя всякое самообладание.

— Вы не сделаете этого, — жестко прозвучал голос железного человека.

Профессор вздрогнул. Впервые слышал он такой голос. Гарри смотрел на него в упор. И был его взгляд как беспощадно наведенное дуло револьвера.

В душе Траубе что-то упало. Внезапная слабость разлилась по всему телу. Дрожащими руками снял он очки и стал тщательно их протирать.

А в это время черная легковая машина мчалась по широкому проспекту. Она обгоняла попутные машины, она проносилась мимо ярко освещенных витрин, и за рулем ее .сидел, наклонившись вперед, Мак Сандерсон.

«Что я наделал, — лихорадочно размышлял Траубе, — потерял над собой контроль, наговорил много лишнего, ненужного! Нервы стали ни к черту! Эх!.. Вместо того, чтобы дисциплинировать его нервную систему, затормозить случайные очаги возбуждения, я сам раскричался на него. Как исправить ошибку?»

А черная легковая машина, не сбавляя скорости, круто повернула на улицу, ведущую к парку. Яркий свет фар скользнул по стене дома и растворился в уличном освещении. За темной стеной парка, сверкая тысячью окон, подымалась многоэтажная громада отеля.

— Гарри, — профессор Траубе старался говорить спокойно, — мы отклонились в сторону... Я погорячился... Я исполню вашу просьбу. Но только не сейчас. Позднее. Сейчас нельзя. Это может нарушить наши планы, большие, великие планы. Давайте договоримся: не будем в ближайшее время думать об этом. Неделя — другая ничего не изменит. Я сочувствую этой девушке, но поверьте, есть нечто большее, чем ее судьба.

Черная машина, взвизгнув, остановилась у подъезда отеля. Хлопнув дверкой, Мак Сандерсон взбежал по широким ступеням подъезда.

— Ну что же вы молчите? — силясь улыбнуться, спросил Траубе. Железный человек молчал. Его лицо вновь приняло обычное безучастное выражение.

А в это время лифт стремительно нес Мака Сандерсона на пятнадцатый этаж.

— Хорошо, Гарри, оставим разговор до завтра. Так лучше. Откровенно говоря, я сегодня устал.

Звонок.

— Кто еще там? — раздраженно обернулся профессор.

Огромная фигура Мака Сандерсона появилась в открытой двери. Не дожидаясь приглашения, Мак шагнул в комнату.

— Позвольте, вы ко мне? — заговорил Траубе. — Но сейчас я не могу...

Не слушая его, Мак молча отстранил профессора своей огромной рукой.

— Молодой человек! — вспыхнул профессор. — Вы забываетесь! Я вам сказал...

Но Мак был уже во второй комнате. Гарри медленно поднялся со стула.

— Так вот он какой! — сказал Мак, подходя к Гарри почти вплотную и бесцеремонно разглядывая железного человека. — Так вот ты какой? Жалкий выродок, посмевший встать поперек дороги Маку Сандерсону!

Они стояли друг против друга. Один — огромный, уродливо мощный, другой — худенький, стройный, изящный. Под тонкой шелковой рубашкой Мака вздымалась могучая грудь. Каменные бицепсы напряглись на его руках. Широкая спина загородила Гарри от взора профессора.

— Постойте! Погодите! — Траубе подскочил к Маку.

— Не лезь. — Мак легко отбросил профессора в сторону.

— Что вы делаете! — закричал Траубе, но было уже поздно. Ничто не могло остановить неумолимо развертывающихся событий.

Мгновенная и яркая, как вспышка магния, возникла в голове Траубе мысль: «Экстрапирамидная система! Боже мой, экстрапирамидная система! Этот страшный аппарат, унаследованный человеком от далеких предков!»

Он, физиолог, ясно видел стремительный поток импульсов, бегущих к мозгу. Он видел, как достигнув нервных центров, эти импульсы с огромной скоростью, не задерживаясь, переключаются на исполнительный аппарат. Страх охватил профессора. Но было страшно не за Гарри, не за своего любимца, своего питомца, а за этого чужого, злого человека, грубо вторгшегося в дом.

Ярость закипала в груди Мака. Она подступила к горлу, ударила в виски. Все мускулы его огромного тела напряглись до боли. Пленка подернула глаза.

— Гад! На же! — выдохнул он, размахиваясь изо всей силы.

И в этот миг что-то быстрое, как молния, и тяжелое, как механический молот, со страшной силой обрушилось на него.

Это произошло мгновенно. Траубе не уследил за молниеносным движением рук железного человека. Он лишь услышал, как что-то хряснуло, хлюпнуло, и Мак Сандерсон, как большой мягкий ком, осел, качнулся и распростерся на пушистом ковре, покрывавшем весь пол комнаты.

Удар был страшен. Лужа, липкая красная лужа медленно увеличивалась, задерживаясь в крупном ворсе ковра.

Траубе стоял в углу комнаты. Мелкая дрожь сотрясала его.

«Пришло! Пришло! Пришло! Пришло!» — звучали в его сознании одни и те же слова.

А посреди комнаты, неподвижный как изваяние, стоял железный человек. С его опущенных по швам рук медленно падали на ковер последние густые капли крови.

БЕГСТВО

После первого потрясения, на мгновение затемнившего сознание, профессор Траубе словно впервые видел эту комнату. Лепной карниз по верху стены, тяжелая темно-зеленая портьера со шнуровой окантовкой, небольшой, но прекрасно выполненный офорт на стене. На офорте изображен какой-то морской вид с далекими берегами. Этот вид, профессор ясно чувствовал, имел отношение к сегодняшнему событию. Сбившаяся, забрызганная каплями крови скатерть, отодвинутый в сторону стул — все это до боли ясно отпечаталось в его сознании. Нет, не зря эту способность обостренного восприятия человеком действительности используют в криминалистике.

И вот сквозь этот фон стало проступать главное, страшное, роковое. Оно было рядом, вот здесь, на ковре. Оно заполняло всю комнату, каждый ее угол, оно наложило отпечаток на каждый предмет. Профессор чувствовал тяжелый запах крови и еще чего-то неизвестного. Сознание случившегося овладевало им. А виновник всего этого, Гарри, все так же неподвижно стоял посреди комнаты. Мозг Траубе лихорадочно работал. Профессор чувствовал, что нужно действовать, нужно срочно предпринять какой-то шаг, но не было сил сдвинуться с места.

Из подсознания выплывал мотив действия. Траубе чувствовал, что этот мотив оправдывает все. Вот стоит железный человек, Гарри, итог всей его жизни, воплощение всех его стремлений, результат многих бессонных ночей, многих дней напряженного труда. Разве можно дать погибнуть этому? Разве можно пресечь движение грандиозной научной эпопеи? Нужно спасать... себя, Гарри... Нужно искать выход, сейчас, сию минуту... Иначе все погибло.

Но тело было непослушным. Страшная слабость. Во рту пересохло. Траубе напряг всю свою волю.

— Гарри...

Профессор вздрогнул. Он не узнал своего голоса. Железный человек молчал. И это молчание было хуже всего. Никогда не чувствовал Траубе так ясно, как чужд и неподвластен ему железный человек. И в то же время как он ему дорог! Только он, Траубе, может его спасти. Но как? Сделать к нему шаг, подойти? Не ждет ли его, Траубе, та же участь, что постигла несчастного Мака?

— Гарри...

Ноги почти не слушались профессора. Медленно, неуверенно, как пьяный, подходил он к железному человеку.

— Гарри...

Профессор тронул его за руку и отшатнулся. Рука была холодной и липкой. Но это мгновенное прикосновение сразу мобилизовало профессора. Он действовал быстро, как машина. Отвернув край большого тяжелого ковра, он накинул ковер на труп. Теперь... Что же теперь? Может быть, отключить железного человека, обездвижить? Невозможно! Во-первых, сначала нужно затормозить мозг. А для этого требуется время, которого нет. Если же он выключит электронную систему, не затормозив предварительно мозг, это может привести к роковым последствиям, к нарушению психической деятельности Гарри. Во-вторых, если он обездвижит это тяжелое металлическое тело, он не сможет сдвинуть его с места, он ничего не сможет с ним сделать.

Профессору ясно было одно: нужно бежать. Бежать, не теряя ни одной минуты! Нужно, не привлекая внимания, выйти из отеля, а потом... Траубе взглянул на офорт. Море! Вот оно — избавление! Решено. Но сначала необходимо себя и Гарри привести в надлежащий вид.

Профессор действовал, как сомнамбул. Из отвернутых кранов с шумом вырывалась вода. Горячий пар капельками осаждался на кафельных стенах ванной комнаты. Гарри был послушен. Молча подчинялся он профессору.

Через несколько минут вымытые и переодетые вышли они из своего номера. Профессор взял только портфель с рукописями, документами и деньгами да еще портативный десятизарядный пистолет. Тщательно проверил, как закрыта дверь.

— Кто бы нас ни спрашивал, — сказал он дежурному, прежде чем войти в лифт, — скажите, что мы отлучились по важному делу. Вернемся завтра вечером.

— Ясно, господин профессор, — ответил дежурный.

У подъезда стояла машина Мака. Напрасно дожидалась она своего хозяина. Траубе узнал номер.

— Его! — тихо сказал он и сделал знак Гарри.

Подойдя к машине, он открыл дверцу. Так и есть! Второпях Мак оставил ключ от зажигания.

— Садитесь, — сказал Траубе, пропуская Гарри вперед.

Дверца захлопнулась, и машина круто развернулась у подъезда. Траубе уверенно сидел за рулем. Прикосновение рук к холодной поверхности руля и усилие, необходимое для управления машиной, дисциплинировали его нервы. Постепенно набирая скорость, они выехали на большую магистраль города.

Три часа мчались они, не сбавляя скорости. Три часа бешеной гонки. Близилось утро.

Огромный теплоход «Океания» стоял у причала. Огни сотен иллюминаторов отражались в воде изломанными полосами. До отплытия осталось несколько минут. И в самый последний момент, когда уже готовились поднять трапы, на теплоход быстро взошли два пассажира, закутанные в плащи. Предъявив билеты, они тотчас же направились в отведенную им каюту.

Когда дверь каюты закрылась, Траубе облегченно вздохнул. Не зажигая света, он быстро сориентировался. Каюта слабо освещалась через иллюминатор. Железный человек молча стоял у двери.

— Раздевайтесь, Гарри! Быстро! — профессор уже вполне овладел собой. — Быстро! Вам нужен немедленный отдых.

Траубе сам приготовил постель.

— Так. Ложитесь. Протяните руку.

Как врач нащупывает пульс, так и Траубе легко нащупал маленькое незаметное отверстие у запястья железного человека. Вынув шприц, он набрал из ампулы немного розовой жидкости и ловко влил ее через это отверстие железному человеку.

—. Теперь слушайте!

Траубе ритмично постукивал по обшивке каюты, иммитируя звук метронома. Минуты через две он внимательно посмотрел на лицо Гарри.

— Кажется, все.

И действительно, железный человек спал. Профессор ловко расстегнул ему рубашку и перевел на стальной груди маленький рычажок. Тлеющая рядом, как зеленая искра, сигнальная лампочка погасла.

— Уф...

Профессор вытер платком лоб и вышел из каюты. Заперев ее и проверив дверь несколько раз, он поднялся на палубу.

До отплытия «Океании» оставалось две минуты. Профессор выглянул на берег и сердце его тоскливо сжалось. Ни один из пассажиров этого огромного судна не жаждал сейчас как можно скорее отчалить, чем профессор Траубе.

Мощный рев сирены потряс воздух. В толпе провожающих на берегу началось оживление. Замелькали платки и шляпы. С борта летели ответные приветствия. Траубе надвинул шляпу на глаза. Его никто не провожал. Его нисколько не интересовала эта толпа со всеми ее чувствами и переживаниями. Он смотрел на узкую полосу темной воды, отделявшую его от берега. И вот эта полоса начала делаться все шире, все шире. Берег тихо отступал и уходил в сторону. Огромное судно разворачивалось в море.

Светало. Воздух заметно посвежел. С берега в море дул небольшой ветер. Он подымал на темной поверхности зыбь, отливающую как рыбья чешуя. Где-то там, в открытом море, была хорошая волна. Утренний туман длинными волокнистыми полосами повис над водой.

Профессор зябко поежился. Было прохладно, но идти в каюту не хотелось. Нужно было успокоить нервы. Вид железного человека мгновенно воскресит в памяти страшные события.

Траубе решил пробыть на палубе до восхода солнца. А берег уже почти скрылся в утреннем тумане. Стало покачивать. Огромное судно грудью наваливалось на податливую массу воды. Но это была кажущаяся податливость. Уступая железному натиску, море упрямо приподнимало стальную громаду вновь и вновь. Казалось, между морем и кораблем идет скрытая, но упорная борьба. Качка, свежесть и простор немного успокоили нервы. Траубе задумался. Тревожные мысли рождались в его мозгу. Вот стоит он здесь на борту корабля. Роковая случайность закинула его сюда. Случайность жизни. Как он прожил свою жизнь? Так ли, как следует? А как следует? Разве жизнь идет по строго вымеренной дорожке? Всю свою жизнь он беззаветно служил науке. Его исследовательский гений был неистощим. Он всегда стремился вперед. Всегда испытывал острое чувство неудовлетворения. Эта страстная порывистость его души, неистощимая изобретательность, огромная трудоспособность были его неотъемлемым свойством. А к чему? Дало ли все это ему счастье? Не казалось ли ему всегда, что счастье где-то впереди?

Он слышал за спиной оживленные разговоры. Много людей, его попутчиков, пассажиров. И ни одному из них нет до него никакого дела. И многие из них, быть может, счастливы. Они не знают, кто он. Они не знают, что у него в душе. А если б знали, то в ужасе отшатнулись бы от него. Они ни о чем не знают. Там, внизу, в темной каюте спит мертвым сном железный человек. Железный человек, Гарри... удивительное творение природы и человеческого гения. Гарри... Тоскливое чувство сжало грудь профессора. Это имя напомнило ему другое, давно прошедшее... Мягкие ласковые детские руки, большие доверчивые глаза...

— Господин профессор!

Траубе вздрогнул и оглянулся. Но тревога была напрасной: обращение относилось не к нему. Молодая дама приветливо здоровалась с маленьким шароподобным старичком. Это и был профессор. Старичок широко улыбался и не по-стариковски строил даме глазки.

— Ну как? Как самочувствие? Не укачало? Хе-хе... Это еще цветочки... Вот подальше отъедем...

— Что вы меня пугаете! И нисколько я не боюсь. В прошлом году мы с мужем переплыли океан...

— Так то с мужем! А теперь, наверно, без мужа?

Собеседница покраснела и не нашлась сразу, что ответить.

Траубе отошел в сторону. Ему было не до шуток. Розовая полоса зари разгоралась на востоке. Ветер крепчал. Качка стала заметнее. Темная поверхность воды вздувалась и опадала. Мощный нос судна разрезал ее, она круглилась, поблескивая острыми краями. А по темному, почти черному полированному скату серыми шапками с шипением сползала пена. Она разбегалась причудливыми узорами по зыбкой бугристой поверхности. Она таяла и рождалась вновь. И в этом рождении и умирании было нечто символическое.

Траубе смотрел и смотрел. Он сознавал, что пора идти в каюту. Но идти не хотелось.

И вот издалека брызнули яркие солнечные лучи. Волны стали темно-синими. Лишь при взгляде прямо вниз в необычайной прозрачности воды сквозь глубокую прозелень угадывалась глубина. Огромное солнце, расплываясь у горизонта, медленно поднималось над морем.

Профессор спустился в каюту. И едва переступил он порог, как страшные воспоминания снова нахлынули на него. В каюте было уже достаточно светло. Железный человек неподвижно лежал на постели. Тревожные мысли роились в голове Траубе. Только сейчас он начал осознавать свое положение. До этого он действовал, как в тумане. Ему не было времени думать о последствиях. Все случилось неожиданно, обрушилось, как лавина.

Но все же, в лихорадочной спешке, в огромном нервном напряжении, граничащем со срывом, он успел сделать необходимое.

«Ключ у меня. До вечера, во всяком случае, они не зайдут в номер, — размышлял Траубе, — ну, а если? Нет, нет! Я же предупредил. Значит, до вечера есть запас времени. А Мак? Не хватится ли его Сандерсон!» — Траубе тут же отказался от этого предположения. Бесшабашный образ жизни Мака исключал его.

«А машина? Не поступил ли я неосторожно, использовав ее для бегства?» Траубе заставил себя воскресить в памяти различные моменты поездки. Вот они выходят из подъезда... Вот они подходят к машине.... Не обратил ли кто-нибудь внимания на то, что они садятся не в свою машину? Едва ли! В этом шумном круговороте, в этом потоке людей и машин на площади перед отелем едва ли они привлекли чье-нибудь внимание! Иное дело — дальнейшая судьба машины. Они оставили ее на одной из улиц портового города у подъезда гостиницы. Дальнейший путь совершали в метро. Потом на такси. Потом...

Едва ли узнают, кому принадлежит эта машина. По крайней мере до вечера... Но придет вечер... Страшный вечер... В эфире, по проводам полетят тревожные сигналы. Траубе вздрогнул и посмотрел в сторону железного человека. Неподвижен! Ничто не тревожит его! Вся тяжесть случившегося легла на плечи Траубе.

Профессор углубился в изучение карты. Так. В пять часов вечера они зайдут в один из портовых городов. Вот теплоход медленно пришвартовывается. Вот опускаются трапы... По трапу на борт подымаются полицейские чиновники. Капитан встревожен.

— Укажите каюту пассажира Траубе, — слышит профессор властный голос.

Что за чепуха! Здесь никто не знает его имени! Но совершенно ясно, в пять часов нужно сойти с теплохода. Нужно изменить маршрут.

«Как преступник! — с горечью подумал Траубе. — Но разве я совершил преступление? Разве я не стремился предотвратить роковой исход? Разве в моих силах было помешать тому, что должно было свершиться? Но кто же преступник? Гарри? Нет! Только не он! Но тогда кто же виновен в случившемся? Преступление ли это? Нет! Это неумолимый, неизбежный результат событий последнего времени». И впервые Траубе ясно представил себе весь ход этих событий, их взаимное пересечение, их схождение в фокусе. Он, слепец, не мог предвидеть этого! Он думал, что направляет ход событий так, как это ему нужно! А в действительности все было иначе. В действительности он был лишь винтиком в этой машине. Но не все еще кончено. События продолжают развертываться. Сможет ли он, Траубе, направить их дальнейший ход? Или нечто властное отведет его рукою в сторону, как это сделал Мак Сандерсон, и положит свою огромную руку на руль событий?

«Я сделаю все, что в моих силах», — твердо решил профессор.

РОСПИСЬ

Пять дней колыхался вокруг океан, зыбкий, непостоянный, многоликий. Пять дней только и видно было бесконечный водный простор и опрокинутый над ним купол неба. Затем из тумана выплыли далекие берега, темные полосы гор. К зазубренным вершинам, как вата, прилипли клочья облаков. Пароход шел вдоль берега. Вечером он бросил якоря в большом порту.

И вновь дорога, вновь бесконечная смена картин. Они наслаиваются одна на другую, и сквозь это наслоение все бледнее, все слабее просматривается прошлое. Как будто бы страшную кровавую сцену, потрясшую зрителей, скрывает сначала один прозрачный занавес, потом — другой, третий. И вот уже трудно разглядеть то, что было так ясно.

И все же не было у профессора Траубе настоящего покоя на душе: Гарри вел себя неутешительно. Целыми днями сидел он, как истукан, на одном месте. Ничто не привлекало его внимания.

Тяжело у профессора на душе. Жгучая, казалось, беспричинная тоска подкрадывается к нему. Он с ней один на один. Затем приходит тревога. О чем ему тревожиться? Все будто бы складывается к лучшему. Так ли? Вот рядом здесь, в каюте, сидит железный человек.

— Гарри!

Молчание.

— Гарри!

Молчание.

Траубе оставляет свою попытку заговорить с железным человеком. Он углубляется в размышления.

Как странно... Он, большой ученый, великий конструктор и изобретатель, чувствует себя слабым и беспомощным. Он не знает своего изобретения, он не хозяин ему! Он мог бы до мельчайшего винтика, до мельчайшей проволочки разобрать сложнейшее электронное тело Гарри. Траубе видит это тело насквозь. Каждая мелочь знакома ему. Нет такой детали, которую он не держал бы в руках, которую не примерил бы сотни раз, прежде чем вмонтировать. Он мысленно может представить те сложнейшие процессы, которые происходят в электронном организме.

Но этот маленький нежнейший кусочек живой материи... О, все заключено в нем. И здесь Траубе бессилен. Если бы мог он так же уверенно управлять теми сложными процессами, которые в нем происходят!

Мысли профессора изменяют направление. Он вспоминает, что должен был сделать доклад. Этот доклад был бы преддверием великого научного триумфа. Но случилось иначе. Может быть, не следовало бежать. Может быть, следовало все открыть, все претерпеть во имя науки... Нет, нет! Даже мысль об этом была ужасной. Как странно, нет, как нелепо сложилась его жизнь! Приблизиться к завершению великого дела, чувствовать свою силу, свою правоту и оказаться отброшенным назад. Но борьба не закончена. Железный человек с ним. Он здесь, рядом. Его нужно беречь, как зеницу ока. Но почему он молчит?

— Гарри!

Молчание.

Профессор старается думать оптимистически. Их путешествие приходит к концу. Скоро — обетованный берег. Он немного отдохнет. А потом... Да разве он не знает самого себя? В нем еще столько скрытой энергии! Правда, шестьдесят два года... Никуда не денешь возраст... Э, да разве история науки не знает примеров долголетия? Взять, например, Павлова. До последних дней своих сохранял кипучую работоспособность. И не только Павлов, многие другие... Итак, он немного отдохнет, а потом вновь примется за работу. Нужно привести железного человека в норму. Кропотливый большой труд. Но он, как ученый, знает, какая великая сила — последовательность. Последовательность, последовательность и последовательность.

А судно тихо покачивается. Оно продолжает свой путь.

Яркие солнечные пятна разбросаны на полу. Из открытого окна гостиницы открывается великолепный вид на море. Оно спокойно. Оно светится глубокой синевой. И над этим бескрайним синим простором повисли пушистые ватные облачка. Тишина. Тишина в небе и на море. Золотистая полоска пляжа. На ней видны маленькие темные фигурки. Ближе — алые черепичные крыши домов, наполовину скрытые кипарисами и пирамидальными тополями. Южная экзотика! Но она не радует глаз профессора.

Вот уже неделю живут они в этом райском уголке. Как мечтал об этом Траубе! Но мечтания обманули его. Ни одна неделя жизни профессора не была такой томительной и долгой. Каждый раз, просыпаясь утром, он ждал какого-то обновления, уповал на каждый новый день. Правда, ничего особенного не происходило, все было спокойно, но в этом спокойствии чувствовалась угроза. Железный человек был по-прежнему молчалив и неподвижен. Как манекен, сидел он на стуле у окна. Если бы не слабые ориентировочные движения глаз, трудно было бы заключить, жив он или мертв. С тоской и тревогой смотрел на него Траубе. Много раз пытался он заговорить с ним, но тщетно...

И вот настал день, когда профессор ясно почувствовал, что дальше так продолжаться не может. Одно из двух: или он найдет какой-то выход, или железный человек погибнет. И вместе с ним погибнет вся жизнь профессора Траубе, все, к чему он стремился, во имя чего работал, во имя чего жертвовал здоровьем, покоем. Нужно искать выход из этого лабиринта.

Быстро наступали южные сумерки. Последний отблеск заката мерк на деревьях. С моря тянуло сыростью и холодком.

— Гарри!

Профессор решил во что бы то ни стало восстановить контакт с железным человеком.

— Гарри!

Молчание.

И вот, в голове Траубе, как молния, мелькнула мысль. Такая простая и такая невыразимо страшная. Профессор отогнал ее, но она упрямо вернулась к нему. «Это единственный выход! Это единственный выход!» — слышал Траубе настойчивый внутренний голос.

«Да, это — единственный выход» — согласился он.

Профессор в волнении прошелся по комнате. Губы его шевельнулись, но роковое имя не слетело с них. Траубе осознал, что если он не решится сейчас, то завтра будет уже

поздно. Профессор мобилизовал всю свою силу воли. Крепко сжимая руками спинку стула, он выпрямился и, в упор глядя на железного человека, сказал:

— Нед!

Глаза железного человека обратились к нему.

— Нед Карти!

Медленно и тяжело поднялся железный человек со стула и сделал к нему шаг. Его лицо дрогнуло, а глаза смотрели в самую душу профессора. Траубе попятился назад. А железный человек подходил все ближе и ближе. Дверь была в противоположной стороне. Профессор оказался в углу комнаты. Справа — стена, слева — стена. Идти некуда.

Они стояли друг против друга. Они стояли, как тогда, в памятный день рождения железного человека. Сколько прошло времени, минута или вечность?

— Вспомнил! — услышал Траубе глухой голос.

Воспоминания многих лет, как вода, прорвавшая плотину, хлынули в мозг железного человека. Они были яркими, живыми. Они мчались, сменяя одно другое.

Траубе видел, как расширились зрачки Неда Карти, как судорожно двигалось его лицо. А перед мысленным взором Неда проносились тысячи лиц. Вот одно из них... красивое, молодое... Лицо подруги его юношеских лет Элеоноры Стэкл.

— Теперь я все знаю, — заговорил железный человек, — я знаю, почему вы так упрямо следили за мной, почему следовали за мной повсюду! Вы не хотели, чтобы я оставался один. Вы хотели, чтобы ничто не напомнило мне прошлого, вы хотели похоронить Неда Карти, но он воскрес! Он жив!

Голос железного человека звучал глухо и грозно.

Траубе чувствовал, как подлый животный страх пропитывает каждую клеточку его тела. Он хотел жить. Жить! Каким жалким, каким беспомощным чувствовал он себя перед этой страшной боевой машиной с живым человеческим мозгом! Удар, и он, Траубе, великий ученый, превратится в бесформенную кровавую массу. Жить!

Дрожащей рукой проник профессор во внутренний карман пиджака. Дрожащей рукой извлек он оттуда небольшую сложенную вчетверо бумагу. Не зря берег профессор этот документ.

— Читайте, — протянул он документ железному человеку.

И железный человек прочел. Вновь взглянул он на профессора. Но уже не было в этом взгляде угрозы. В нем была великая тоска, великий упрек. Губы железного человека дрогнули и шевельнулись.

— Чудовище!

Шагнув назад, он с грохотом повалился на пол.

Потрясенный мозг профессора не сразу осознал происшедшее. Не смея шевельнуться, стоял Траубе в углу. Но вот глаза его расширились. Дикий, отчаянный крик вырвался из груди.

— Гарри! Нед! Нед!

Профессор бросился к железному человеку, неподвижно распростертому на полу. Он разорвал у него на груди рубашку. Он лихорадочно переводил на стальной груди маленькие рычажки. Но тщетно.

Стемнело. Последний отблеск заката погас на далеких горах. В комнате струились синие вечерние сумерки.

А профессор Траубе все еще ползал по полу, как слепой, ощупывая руками холодное тело железного человека.

ЭПИЛОГ

Пришли к финалу мы издалека.
Написана последняя строка.
Читатель, мы сказать хотели много!
Суди же снисходительно иль строго.
Нас не прельщал запутанный сюжет,
Пределы фантастического... Нет!
Иную мысль, иные цели,
Начав повествованье, мы имели.
И если мы использовали в нем
Научно-фантастический прием
(Уэллса и Беляева наследство),
Мы знали: цель оправдывает средства.
Мы знали: нет для домысла границ.
Но наш герой уходит со страниц.
Мы с ним теперь прощаемся навеки.
Пусть

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

будет в ЧЕЛОВЕКЕ!

А. А. Мухин

ЯРКАЯ СТРАНИЦА ЛЕТОПИСИ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

(К пятидесятилетию ленских событий)

Полвека назад в далекой сибирской тайге на Ленских золотых приисках произошли события, которые всколыхнули всю трудовую, многострадальную Россию и стали известны всему миру. Это был кровавый урок, преподнесенный царизмом русскому народу после печально-знаменитого 9 января 1905 года.

Подобно Кровавому воскресенью 1905 г., расстрел рабочих на золотой Лене послужил «поводом к переходу революционного настроения масс в революционный подъем масс»[1]. Со времени Ленского расстрела, словно многоводная река в весеннее половодье, бурным потоком разлилось по всей необъятной стране могучее рабочее движение.

В. И. Ленин, пристально следивший за событиями в России, уже в 1910 году отмечал, что усталость и оцепенение проходят и вновь потянуло иным ветерком, который благовестит революционный шторм. Он призывал партию всемерно поддерживать стачечную борьбу рабочих.

Состоявшаяся в январе 1912 г. VI Всероссийская конференция РСДРП указала на приближение революционной бури, изгнала оппортунистов из партии и четко, по-ленински, определила задачи и тактику партии. Весь ход дальнейших событий подтвердил прозорливость Ленина и правильность решений конференции, отмел, как негодную ветошь, надуманные в тиши кабинетов рецепты меньшевиков и троцкистов.

1912 год был необычным в истории международного рабочего движения. Начавшись забастовкой углекопов Бельгии, волна рабочего движения прокатилась по многим странам Европы и Азии, перекинулась через океан, в Америку, захватила некоторые районы Африки. 1912 год был годом «великого исторического перелома в рабочем движении в России»[1]. Толчком к этому перелому послужил Ленский расстрел рабочих.

* *
*

Полными хозяевами золотой Лены были английские капиталисты, а их компаньонами — русские биржевые дельцы, члены царской фамилии и сановники. Могущественное монополистическое объединение «Лензото»[2], как огромный спрут, угнетало, давило, калечило, заживо хоронило своих обездоленных рабочих, прибывших в поисках счастья из различных районов России. Условия труда и жизни были невыносимыми. Рабочий день начинался с пяти часов утра и кончался в семь часов вечера. За изнурительный труд рабочие получали мизерную плату, которая урезывалась штрафами, всевозможными вычетами, обвешиванием и обмериванием в приисковых лавках. Кормили рабочих тухлятиной, морили голодом, а работать требовали так, чтобы от лошадей остались хвост да грива, от людей — нос да глаза. Пока рабочий был в силе — работал, случалось несчастье — болезнь или увечье, его выбрасы-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 86.

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 480.
[2] Сокращенное название Ленского золотопромышленного товарищества.

вали на улицу. На приисках царили дикий произвол и глумление.

Среди горняков золотой Лены росло недовольство и гневный протест. Рабочие часто выражали свое возмущение в самых разнообразных формах. Продолжительное время здесь готовилась забастовка.

Руководящую роль в подготовке и проведении ленской забастовки играли большевики. Иркутская группа большевиков (Е. А. Бабушкин и др.) направляла на прииски политических ссыльных, каторжан, бежавших из мест заключения, обеспечивала их необходимыми документами. Она установила связь с ссыльными революционерами Манзурки, Знаменки, Киренска, Верхоленска, Бодайбо, жившими недалеко от приисков «Лензото». Через политических ссыльных и большевистски настроенных рабочих на приисках создавались большевистские группы, которые развернули большую политико-массовую работу по подготовке забастовки.

Однако забастовка вспыхнула стихийно 29 февраля 1912 г. Поводом послужила выдача рабочим Андреевского прииска совершенно непригодных к употреблению продуктов, в частности конского мяса. В знак солидарности с андреевцами по призыву большевиков вскоре забастовали рабочие Утесистого, Успенского, Варваринского, Ново-Васильевского, Пророко-Ильинского, Липаевского, Нижнего, Феодосиевского, Надеждинского, Александровского и других приисков.

Забастовка ленских горняков стала всеобщей, приобрела исключительно дружный характер. «Настоящая стачка организована весьма опытными коноводами, — сообщал окружной инженер Александров, — умеющими дать толпе нужную организацию и держать в руках участников». Большевикам быстро удалось овладеть движением, изолировать массы рабочих от пагубного влияния анархистов, эсеров и прочего политического чертополоха, парализовать усилия администрации сорвать забастовки путем обмана и шантажа, обеспечить безраздельное руководство борьбой рабочих. Повсеместно создавались выборные органы: в бараках — старосты, на приисках — собрания старост, на территории приискового управления — собрания делегатов от приисков, которые избирали местные (дистанционные) стачечные комитеты. Высшим органом по руководству забастовкой являлся Центральный стачечный комитет, во главе которого стояли большевики П. Баташев, Г. Черепахин, П. Подзаходников, М. Лебедев и другие.

Стройная организация, созданная самими рабочими под руководством большевиков на основе опыта первой русской революции, соответствовала производственной структуре «Лензото» и обеспечивала единство действий всех выборных органов приискового района, полный порядок и дисциплину бастующих рабочих. Сознательное подчинение рабочих выборным органам было отличительной чертой ленской забастовки.

После ряда общих делегатских собраний были выработаны основные требования и предъявлены администрации «Лензото». Рабочие требовали установления восьмичасового рабочего дня, увеличения заработной платы и ее своевременной выдачи, отмены штрафов, улучшения жилищных условий и т. п.

Забастовка ленских горняков отличалась единодушием, сплоченностью и упорством, выдержкой, дисциплиной и последовательностью в борьбе за полное удовлетворение предъявленных требований. Угрозы и обман не действовали.

Местные власти с санкции царского правительства стали готовить кровавую расправу над рабочими. Путем расстрела мирной стачки царизм хотел «убить двух зайцев»: удовлетворить алчные аппетиты ленских людоедов, принудив бастующих капитулировать, и в то же время припугнуть рабочих других районов страны. На прииски была направлена воинская команда из Киренска и отряды полиции под начальством известного в России «усмирителя» забастовок, палача рабочих жандармского ротмистра Трещенкова. По указанию генерал-губернатора Восточной Сибири, было решено обезглавить забастовку, арестовав видных руководителей рабочих. Эта операция была проведена в ночь на 4 (17) апреля. Многие любимцы рабочих были арестованы и заключены в тюрьму. Это вызвало гневное возмущение всех рабочих.

Спозаранку 4 апреля на крупных приисках прошли собрания и митинги, на которых принимались решения, требующие освобождения арестованных товарищей. Рабочие Феодосиевского прииска на многолюдном митинге избрали делегатов и направили их с требованием об освобождении арестованных к прокурору на Надеждинский прииск. Но делегатам было отказано на том основании, что заявления рабочих якобы являются поддельными, и предложено каждому рабочему лично написать заявление от своего имени и принести прокурору. Это была провокация,

рассчитанная на то, чтобы подвести рабочих под пули и дать им новый кровавый урок.

Большевики и наиболее дальновидные рабочие пытались удержать массы от шествия к Надеждинскому прииску для подачи «сознательных записок» с требованием об освобождении арестованных товарищей. Но удержать бурлящую массу было невозможно. Студеным утром 4 апреля огромные толпы рабочих лавиной двинулись к Надеждинскому на выручку своих признанных руководителей. Им путь преградили царские опричники, по приказу которых без предупреждения было расстреляно мирное шествие рабочих, убито и ранено свыше 500 человек.

Расстрел не сломил воли, не поколебал решимости рабочих. Замыслы палачей не сбылись. Жгучая ненависть к владельцам «Лензото» и местным властям охватила всех горняков золотых приисков. Борьба приняла еще более ожесточенный характер и с неослабевающей силой продолжалась более трех месяцев. Она закончилась необычно: почти все рабочие демонстративно покинули прииски после продолжительной и стойкой борьбы против кровожадных монополистов.

Винтовочные залпы по безоружным ленским горнякам были ударом по всему рабочему классу России. Они не могли не заставить вздрогнуть сердца рабочих, чутких к несчастью и горю своих братьев по классу. «Это наша грудь, — грудь всего рабочего класса, — прострелена в далекой сибирской тайге», — говорилось в одной из резолюций екатеринославских рабочих, запечатлевшей душевное клокотание рабочего класса всей страны.

Кровавая трагедия на Ленских золотых приисках мгновенно стряхнула с пролетариата России настроение упадка и апатии. Вспышки винтовочных очередей ярким пламенем осветили мрачный лабиринт не только крепостнической вотчины «Лензото», но и всего контрреволюционного режима третьеиюньской монархии. 9 января 1905 г. была расстреляна вера в старую, дореволюционную власть, а 4 апреля 1912 г. — вера в подновленное послереволюционное самодержавие.

Весть о Ленском расстреле с быстротой беспроволочного телеграфа облетела всю страну и жгучей болью отозвалась в сердцах рабочих. Гнев возмущения чудовищным злодеянием царизма вызвал повсеместно могучий резонанс.

Царское правительство мобилизовало все средства воздействия на общественное мнение, чтобы ослабить удручающее впечатление и удушить разгоравшееся пламя общенародного возмущения Ленским расстрелом. Официальная пресса пыталась прикрыть кровавый кошмар на Ленских приисках туманом мутной лжи и клеветы по адресу рабочих. С амвонов церквей, словно из рога изобилия, полились елейные проповеди «святых отцов», призывавших массы к рабскому смирению. В унисон с приверженцами царизма развернули агитацию против «стачечного азарта» ликвидаторы, отзовисты, троцкисты и иже с ними. Они из кожи лезли вон, чтобы ослабить боевой пыл российского пролетариата.

Единственной выразительницей дум, стремлений и чаяний народных масс была партия большевиков. Она выступила вдохновителем, организатором и руководителем масс в борьбе против прогнившего буржуазно-помещичьего строя и царизма. Могучим средством мобилизации всех революционных сил страны являлась газета «Звезда», предшественница «Правды».

Ярким светом большевистской правды «Звезда» рассеяла туман лжи официальной прессы. Она отразила ту глубокую скорбь по погибшим рабочим, которой были охвачены пролетарии всей страны. «Звезда» призывала рабочих излить благородный гнев на головы врагов: «Не нужно ни песен, ни слез мертвецам. Стойкая, сознательная, планомерная работа русского пролетариата для завоевания таких условий, при которых кровавые побоища (стали бы) и бесполезными и невозможными, — вот лучший памятник убитым на Лене рабочим».

Стихотворение Д. Бедного «Лена», напечатанное на первой странице «Звезды», заканчивалось призывными словами:

> О, братья! Проклят, проклят будет,
> Кто этот страшный день забудет,
> Кто эту кровь врагу простит!

Местные большевистские организации подхватили боевой клич своего печатного центрального органа — газеты «Звезда». Вновь заработали подпольные печатные станки. Во многих городах и рабочих поселках, на железных дорогах и в крупных селах появились воззвания и прокламации. Печатным и устным словом местные большевистские организации, группы и отдельные члены партии разоблачали «обновленный» режим, раскрывали перед народом смысл и значение ленских событий, разъясняли цели и задачи партии, призывали рабочих и всех трудящихся объединяться под знаменем партии Ленина.

Трудно было встретить город, рабочий поселок, где бы рабочие равнодушно отнеслись к ленской трагедии. По призыву большевиков, по собственному почину в разнообразных формах рабочие выражали свой гнев и негодование. Грозная волна собраний, митингов, забастовок и демонстраций протеста вихрем пронеслась по всей России. В авангарде революционного рабочего движения шел пролетариат Петербурга, Москвы, Харькова, Киева, Одессы, Риги и других городов.

Широкий размах движение протеста приняло в Сибири. Слухи о забастовке ленских горняков раньше всего распространились среди рабочих Иркутской губернии, а затем просочились в самые глухие места Сибири. С получением первых известий о грандиозной забастовке ленских шахтеров всюду рабочие испытывали подъем духа.

Первыми в Сибири откликнулись на кровавое злодеяние царских опричников рабочие Иркутской губернии. Уже 4—5 апреля 1912 г. политические ссыльные организовали митинги и собрания протеста среди железнодорожников Бодайбинской железной дороги. В самом Бодайбо, которое ранее представляло собой «стоячее болото», с получением известий о забастовке и расстреле началось необычайное оживление: «на стоячем болоте начинают показываться круги, — писал в те памятные дни бодайбинский корреспондент газеты «Сибирь», — рабьи души начинают пробуждаться, широко открывать глаза и с ужасом оглядываться вокруг себя. К дальнейшим вестям из России начинают прислушиваться, жадно читают газеты, и скоро из спокойного и апатичного наблюдателя превратятся в злейшего врага Ленского т-ва и всего ленского, и из рабьих душ, надолго ли неизвестно, превращаются в граждан»[1].

По призыву политических ссыльных и большевистски настроенных рабочих прошли собрания и митинги протеста среди речников Ленского пароходства. Рабочие и служащие Воронцовской пристани объявили забастовку протеста, которая продолжалась два дня. Их поддержали речники принадлежащего «Лензото» пароходства по рекам Лене и Витиму. Забастовка протеста ленских и витимских речников продолжалась два дня в знак траура по расстрелянным товарищам.

Ссыльные большевики под руководством В. М. Клипова и М. И. Бублева организовали крупную стачку протеста в г. Киренске. Первыми забастовали рабочие мастерских пароходства Глотовых. По сигнальному гудку все рабочие мастерских бросили работу. Состоялся митинг. Выступавшие ораторы гневно обличали владельцев «Лензото» и клеймили позором карателей, стрелявших в рабочих по приказу палача Трещенкова. Все рабочие приняли единодушное решение бастовать в течение двух дней. К рабочим пароходства Глотовых присоединились речники Киренска, рабочие местных промышленных заведений. Забастовка приняла всеобщий политический характер.

В селе Качуг политические ссыльные провели митинги протеста речников Качугской пристани и жителей села. На митинге было решено организовать сбор денег для семей убитых и раненых ленских горняков. Всего было собрано и отправлено «по назначению» 100 рублей. Протест против расстрела и сбор денег в фонд семей погибших в Братске организовали приказчики местного купца Самарина. В сборе пожертвований приняли участие многие жители села и волости.

Утром 5 апреля 1912 г. первыми в Иркутске узнали о кровавых событиях на приисках «Лензото» печатники типографий Окунева и Макушина. Они немедленно послали своих делегатов в другие типографии города с предложением организовать забастовку протеста. Это предложение всюду нашло горячую поддержку. Словно по сигналу прекратив работу, типографские рабочие вышли на улицы. По предварительной договоренности группы печатников направлялись на берег Ангары. На Конном острове собралось много рабочих. Начался митинг. С импровизированной трибуны ораторы ознакомили собравшихся с подробностями ленских событий. В разгар митинга появились казаки. Митинг был сорван. Около 20 участников митинга арестовано и заключено в тюрьму.

Оставшиеся на свободе печатники организовали сбор денег в фонд семей убитых и раненых ленских рабочих. Примеру печатников последовали металлисты, швейники, железнодорожники, кожевники, пищевики, приказчики, телеграфисты и другие группы рабочих города.

Подмастерья и рабочие портновских мастерских г. Иркутска направили ленским рабочим телеграмму, в которой выражали свою глубокую скорбь по погибшим товарищам и желали их семьям «бодрости духа и крепкой веры в светлое будущее».

Сообщение о Ленском расстреле вызвало бурю негодования шахтеров Черемховского каменноугольного района. На многих копях политические ссыльные — социал-демократы — провели нелегальные собрания и митинги

---

[1] «Сибирь», 1912, № 136.

протеста. Здесь наступил перелом в борьбе шахтеров против чудовищной эксплуатации. Вслед за забастовкой шахтеров щелкуновских копей, начавшейся еще до получения вести о расстреле, прекратили работу углекопы Ивано-Матвеевского товарищества, копей Маркевича и К°, Мильнера и других. В течение апреля волна забастовочного движения охватила все копи Черемховского района.

В разнообразных формах выражали свое возмущение Ленским расстрелом и сочувствие горнякам «Лензото» рабочие Усолья, Тельмы, Хайты, Листвянки, Слюдянки и других промышленных местечек Иркутской губернии. Со времени Ленского расстрела оживилось рабочее движение иркутских железнодорожников. На станциях Тулун, Зима, Нижнеудинск, Иннокентьевская, Слюдянка в апреле 1912 г. прошли нелегальные собрания, на которых социал-демократы знакомили рабочих с событиями в стране и призывали к борьбе против царизма, как главного виновника кровавого кошмара.

Под непосредственным впечатлением ленских событий происходили крупные волнения и стачки шахтеров Тарбагатайских и Черновских каменноугольных копей, приисковых рабочих Баргузинского и Алданского золотопромышленных районов в Забайкалье. Как только стало известно о расстреле ленских рабочих, возникло «сильное возбуждение и начались беспорядки среди подземных рабочих рудника Эвелина» (Черновские копи). 16 апреля около 100 шахтеров Черновских копей прекратили работу, предъявив администрации копей ряд экономических требований (увеличение заработной платы, ее своевременная выдача, вежливое обращение служащих с рабочими и т. п.), шахтеров поддержали остальные рабочие. Забастовка шахтеров проходила дружно и закончилась частичной победой рабочих.

Обстановка на Черновских копях продолжала оставаться напряженной. Приближался первомайский праздник. В ознаменование солидарности с рабочими всей страны по призыву большевиков состоялась первомайская стачка горняков I Читинского углепромышленного товарищества близ разъезда Черновского Забайкальской железной дороги. Стачка носила политический характер[1].

В апреле-мае 1912 г. имели место крупные волнения приисковых рабочих Баргузинского района, где положение, условия труда и жизни «нисколько не лучше, чем на Ленских приисках. Все дело только в рекламе: ленцы приобрели всероссийскую, хотя и печальную известность, — писала «Правда», — про баргузинцев никто ничего не знает. А между тем местные золотопромышленники являются такими же монополистами, как и ленцы, в пределах своего приискового района»[1]. События на Ленских приисках взволновали рабочих. На ряде приисков района вспыхнули кратковременные забастовки. Только с помощью полиции удалось предотвратить массовое выступление баргузинских горняков.

Ленские события вызвали бурную реакцию читинских рабочих. По призыву большевиков на крупных предприятиях Читы, в железнодорожных мастерских и депо прошли нелегальные собрания и митинги рабочих. Участники собраний единодушно осуждали палачей ленских горняков, выражали сочувствие жертвам царского произвола и свою решимость отомстить царизму за кровь погибших товарищей. В апрельско-майские дни 1912 г. отчетливо обозначилось оживление рабочего движения в Чите, активизировалась деятельность революционных социал-демократов, наметилось размежевание большевиков с меньшевиками. Первомайский праздник железнодорожники и печатники Читы отметили загородными маевками, выразив тем самым свою солидарность с рабочими всей страны.

Отзвуки ленских событий имели место на Дальнем Востоке. В апреле 1912 г. происходили крупные волнения рабочих ремонтных мастерских ведомства водных сообщений в Благовещенске. 1 мая рабочие здесь провели крупную политическую стачку. Около 400 рабочих не вышло на работу. В полдень около ремонтных мастерских собралось много рабочих. Настроение было праздничное. Состоялся митинг. Ораторы призывали собравшихся крепить пролетарскую солидарность, оказывать поддержку РСДРП, как единственной выразительнице интересов пролетариата. В конце митинга зазвучали мелодии революционных песен — «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу!» Была исполнена также «Вечная память» в честь погибших в борьбе роковой ленских горняков.

В апреле 1912 г. бастовали рабочие-грузчики на пристани Николо-Александровской, около Хабаровска. Как сообщал корреспондент газеты «Звезда», в результате забастовки все работы по выгрузке рельс и скреплений, идущих на Средне-Амурскую железную дорогу, приостановились. Забастовка грузчиков продолжалась несколько дней и была сочувственно встречена рабочими промыш-

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 37, оп. 58, д. 630, л. 86.

[1] «Правда», 1912, № 28.

ленных предприятий Хабаровска и железнодорожниками Амурской железной дороги. Первомайский праздник рабочие Хабаровска отметили собраниями и загородными массовками.

В канун Первомая необычайное оживление наблюдалось среди рабочих Владивостока, Уссурийска, Имана, Харбина и других городов.

В апреле-мае 1912 г. накалилась обстановка на золотых приисках Амурского, Зейского, Бурейского, Приморского и Уссурийского горных округов, на цинковых рудниках акционерного общества «Тетюхе» и на каменноугольных копях Дальнего Востока.

Основываясь на сообщениях своих корреспондентов, газета «Правда» неоднократно отмечала нарастание революционного движения горняков-дальневосточников. Так, характеризуя невыносимое положение рабочих на цинковых рудниках Уссурийского района, «Правда» констатировала: «Тетюхе», по-видимому, серьезно угрожает воспроизведение драмы по ленскому образцу».

Особую тревогу вызывали у местных властей постоянные волнения и стачки рабочих на строительстве Амурской железной дороги и второй колеи Кругобайкальского участка Забайкальской железной дороги.

Условия труда и жизни строителей Амурки и Кругобайкалки были каторжными. Это признавала даже черносотенная пресса. Например, октябристский «Голос Москвы» в ленские дни поместил несколько корреспонденций о положении строителей Амурки. Один из корреспондентов писал, что документы о положении рабочих-строителей «нельзя читать без содрогания» и приводил многочисленные факты из жизни рабочих и каторжников, занятых на строительстве Амурской железной дороги. «Над каторгой, — писал он о положении заключенных, — непрерывный стон истязуемых и свист розог». Мало чем отличалось положение вольнонаемных рабочих: «Слова не скажи в защиту своего положения, иначе засвистит плетка образованного варвара», — заявляли рабочие Амурки.

Ленские события всколыхнули многотысячную массу строителей чугунки. В апреле-мае 1912 г. на многих участках Амурской железной дороги происходили крупные волнения и стачки рабочих. В последующие месяцы рабочее движение приняло массовый характер. Летом 1912 г. движение строительных рабочих приняло характер перекатывающейся волны. Не раз вспыхивали забастовки у подрядчиков Короткова, Гиллера, Волобуева, Крашевского и Боборыкина, Шлезингера и Стрейбейко. Участились выступления железнодорожных рабочих на строительстве второй колеи Кругобайкальского участка Забайкальской железной дороги. Весной 1912 г. неоднократно вспыхивали стачки рабочих у подрядчиков Толетти, Третьякова, Андреева, Могилева и других. По поводу этих стачек буржуазно-либеральная газета «Сибирь» поместила заметку под выразительным названием — «Не Лена ли?» — и высказывала опасение о возможности «продолжения» ленских событий на железной дороге.

Местные власти были чрезвычайно встревожены выступлениями рабочих и опасались восстания. Для обеспечения «порядка и безопасности» были усилены конвой за каторжниками, увеличены наряды полиции и направлены регулярные войсковые подразделения, которые оставались там до окончания строительства железнодорожного пути.

Гулкий отзвук получили винтовочные залпы по ленским горнякам в Енисейской и Томской губерниях, в Степном генерал-губернаторстве (Омская область), в Приуралье и на Урале. Под влиянием ленских событий обострилась обстановка прежде всего на золотых приисках Енисейского, Томского, Алтайского горных округов. На многих приисках происходили волнения и стачки. В связи с забастовкой шахтеров на Александровском прииске, арендуемом английскими капиталистами (Енисейский горный округ), газета «Сибирь» выражала опасение: «не повторилась бы и там ленская трагедия».

Нелегальные собрания и митинги протеста в апреле 1912 г. прошли на многих железнодорожных станциях, в мастерских и депо Сибирской железнодорожной магистрали, на крупных промышленных предприятиях Канска, Красноярска, Ачинска, Барнаула, Тайги, Томска, Новониколаевска, Петропавловска, Омска, Тюмени и других западносибирских городов, на Судженских и Анжерских каменноугольных копях. На собраниях и митингах рабочие осуждали новое кровавое злодеяние царизма, принимали резолюции протеста и решения о сборе пожертвований в фонд помощи жертвам Ленского расстрела. Тюменские большевики, например, организовали массовку рабочих, на которой были приняты резолюция, выражавшая возмущение и негодование ленским побоищем, и решение о сборе денег для помощи вдовам и сиротам ленских рабочих. После массовки в Тюмени «был организован сбор в пользу пострадавших на Лене, давший более 60 рублей, собранных исключи-

тельно среди рабочих и мелких служащих», — писала ленинская «Рабочая газета»[1].

Движение протеста против ленского кровавого побоища приняло в Сибири затяжной характер и слилось с первомайским праздником. Накануне 1 мая большевики Читы, Иркутска, Красноярска, Барнаула, Новониколаевска, Томска, Тюмени отпечатали и распространили большое количество первомайских прокламаций, в которых призывали рабочих к празднованию дня пролетарской солидарности. Тюменские большевики накануне 1 Мая выпустили большим тиражом две листовки — «Ко всем рабочим Тюмени!» и «Первое Мая!» Последняя листовка была перепечаткой прокламации ЦК РСДРП(б). Она была размножена нелегальными типографиями большевистских организаций всех крупных городов Сибири и получила широкое распространение по всей линии Транссибирской магистрали, а также в наиболее крупных рабочих районах и селах.

Несмотря на принятые властями меры к недопущению празднования первомайского праздника, рабочие Сибири живо откликнулись на призыв большевиков и ознаменовали свой праздник нелегальными собраниями, митингами, маевками и политическими стачками.

В Иркутске 1 мая бастовали металлисты, печатники и пищевики ряда предприятий. Первомайской забастовкой иркутские рабочие выразили свой протест против «действия властей на приисках Ленского золотопромышленного товарищества» и солидарность с бастующими ленскими рабочими. Для оказания материальной помощи семьям пострадавших ленских горняков был проведен сбор денежных пожертвований.

Первомайские стачки солидарности с ленскими рабочими проходили во многих городах и рабочих районах Сибири. Новониколаевские большевики, члены подпольной обской группы РСДРП организовали первомайские стачки на табачно-махорочной фабрике Е. М. Агеева, на лесопильном заводе «Торгового дома А. С. Чернышов с сыновьями», на механическом заводе, в типографиях Литвинова, Пономарева и Кассианова. На других предприятиях города были проведены собрания и митинги, которые проходили под знаком солидарности с рабочими всей страны, заявившими царизму грозное предостережение: «так было, но так больше не будет!»

Широко отметили первомайский праздник и продемонстрировали свою солидарность с рабочими всей страны томичи. По призыву томской группы РСДРП бастовали рабочие многих предприятий Томска. Большевики организовали загородные массовки. На митингах рабочие принимали политические резолюции, в которых осуждали ленский расстрел и преследование рабочих за празднование Первомая.

В Омске по призыву большевиков 1 Мая забастовали рабочие чугунолитейного завода Рандрупа. Почин литейщиков подхватили рабочие ряда других предприятий города. Первомайские забастовки сопровождались митингами протеста против Ленского расстрела.

Еще никогда первомайский праздник в Сибири не отмечался так широко, бурно и оживленно, как после ленских событий 1912 года. Маевки, собрания и митинги, стачки протеста и стачки солидарности показали, что рабочее движение на далекой сибирской окраине начинает принимать массовый характер, что наряду с экономической борьбой получают распространение политические выступления рабочих. Решающее влияние на рост политической активности сибирских рабочих оказали решения VI Всероссийской (Пражской) конференции РСДРП(б), энергичная деятельность политических ссыльных-большевиков по реализации решений конференции.

Необычайное оживление в ленские дни наблюдалось среди узников, томившихся в сибирских казематах, среди политических ссыльных «вольной каторги» в долинах широкой Оби, в горах Енисея и Акатуя, на берегах красавицы Ангары и угрюмой величавой Лены. Заживо погребенные каторжники Александровского централа, нерчинских и многих других царских застенков с получением известий о ленских событиях почувствовали дыхание весны, рвались на свободу, выражали протесты против кровавых деяний царизма. Находившийся в одной из тюрем нерчинской каторги матрос Балтийского флота Ф. Т. Камышин вспоминал: «Все политические заключенные второго корпуса в количестве 270 человек объявили голодовку после известия о расправе над ленскими рабочими». Небывалых размеров приобрело бегство заключенных из тюрем и мест каторжных работ.

В предмайские дни большое оживление царило среди политических ссыльных Нарымской, Туруханской, Минусинской, Приангарской, Якутской и других колоний. Политические ссыльные в день Первомая съезжались и собирались в заранее установленные места на лодках и пешком за десятки верст от мест приписки. Вновь загорелись костры первомайских маевок. Особенно многолюдная маевка была проведена ссыльными Нарыма под ру-

[1] «Рабочая газета», 1912, № 9.

ководством В. В. Куйбышева. На маевку собралось до 200 человек. Состоялся митинг. У красных знамен выступали ораторы. Они взволнованно говорили о гнусном злодеянии царизма — расстреле ленских рабочих, о гневной волне стачек и демонстраций протеста, о близости новой революционной бури. После речей ораторов громко зазвучали революционные песни — «Смело, товарищи, в ногу!», «Вставай, поднимайся, рабочий народ!», «Вихри враждебные...» и другие. Многие из участников маевки декламировали революционные стихи. В. В. Куйбышев выступил со стихотворением, посвященным новому революционному подъему:

Гей, друзья! Вновь жизнь вскипает,
Слышны всплески здесь и там.
Буря, буря наступает,
С нею радость мчится к нам.
Радость жизни, радость битвы...

Политические ссыльные — большевики — сыграли решающую роль в воспитании сибирских рабочих, в восстановлении, создании заново и укреплении партийных групп и организаций, в установлении связей с центральными органами партий. Они активно поддержали кампанию по сбору денежных средств в фонд рабочей газеты, начатую питерскими рабочими. «Мы считаем, — писали политические ссыльные Киренского уезда Иркутской губернии, — крайне необходимым издание рабочей газеты, вполне доступной для самих широких рабочих масс, освещающей с марксистской точки зрения все проявления общественной и политической жизни рабочего класса. Агитацию за создание фонда на издание и поддержку рабочей газеты считаем своевременной и крайне необходимой. Реализуя высказанные выше положения, мы шлем одновременно с этим 50 руб., которые и просим редакцию «Звезды» направить в фонд имеющей возникнуть рабочей газеты»[1].

Подпольные большевистские группы возглавили кампанию по сбору денег в фонд рабочей газеты во многих городах и рабочих поселках Сибири. В ленские дни групповые сборы взносов на газету «Правда» приняли широкий размах и проводились параллельно со сборами средств в фонд помощи ленским рабочим. Сибирские рабочие активно поддерживали свою газету материалами из рабочей жизни. В газетах «Звезда» и «Правда» систематически печатались материалы ленских событий в Сибири. Большевистские газеты вселяли в сознание рабочих веру в свои силы, надежду на светлое будущее, облегчали страдания рабочих. Группа рабочих Усольского солеваренного завода (Иркутская губерния) в корреспонденции в газету «Звезда» по поводу издания рабочей газеты писала: «Тяжелые условия жизни, как бич, вынуждают, скрепя сердце, тащить это непосильное ярмо, не развивая, а притупляя свое человеческое сознание, и лишь печатное слово, наполняя душу теплой надеждой на будущее... более светлое, облегчает изболевшую грудь»[1].

[1] «Звезда», 1912, № 21.

Благодаря всесторонней поддержке рабочих всей страны в бурные апрельско-майские дни появилась рабочая газета «Правда», первый номер которой вышел 22 апреля (5 мая) 1912 г. Ленинская «Правда», словно мощный прожектор, освещала путь борцам против царизма. Она стала революционной трибуной большевистской партии, ее смелым и могучим агитатором, пропагандистом и организатором масс. Со времени появления «Правды» установились постоянные связи сибирских партийных организаций с центральными органами партии. В крупных городах, на железнодорожных станциях, рабочих поселках и колониях политических ссыльных стали возникать группы «правдистов», которые развернули борьбу против оппортунистического охвостья, активизировали работу в массах. «Правда» и «правдисты» выступили горой на защиту ленских горняков. «Звезда» и «Правда» были вдохновителями и организаторами могучего общероссийского пролетарского протеста против Ленского расстрела.

Мужественная поддержка пролетариата всей страны вызвала большую радость у ленских рабочих. В одной из корреспонденций в «Правду» И. Нагих сообщал: «19 мая у нас получили первый номер газеты.., из которой мы узнали, что рабочими почти всей России была проведена одновременная забастовка в виде протеста против событий. Радостью забились наши сердца... Рабочие всю ночь по номерам (т. е. в казармах — *А. М.*) читали, и в каждом номере, по прочтении, присутствующими единогласно произносилось: «Спасибо, товарищи! Поддержали! Спасибо!» Некоторые плакали из признательности». Ободренные поддержкой ленские горняки не склонили головы ни перед царскими властями, ни перед ленскими людоедами. После продолжительной и мужественной борьбы почти все рабочие организованно покинули прииски и тем самым продемонстрировали свое единодушие, спайку и твердую решимость в борьбе. Рабочие и крестьяне Сибири всюду встречали восторженно своих стойких товарищей.

[1] «Звезда», 1912, № 21.

Живые участники из славной плеяды ленских борцов разъехались по всей стране. Многие из них осели в Сибири. Они вселили бодрость духа и уверенность в победу рабочих над черными силами контрреволюции.

Ленский расстрел навсегда запечатлелся в светлой памяти российского пролетариата как кровавый кошмар врагов трудящихся. День 4 (17) апреля сразу же вошел в рабочий календарь черным числом, которое звало рабочих к отмщению за пролитую кровь своих братьев. Грозный мститель — пролетариат — уже в апрельско-майские дни 1912 г. продемонстрировал свою решимость отомстить палачам ленских рабочих. Ленские события вошли в историю мирового революционного движения как одна из самых ярких страниц героической истории российского пролетариата.

Во все последующие годы рабочие России под руководством большевиков отмечали этот день пробуждения и тем показали, что свято хранят в своих сердцах память о ленских товарищах, павших в борьбе роковой.

МЫ ПОМНИМ ИХ ИМЕНА

М. В. Научитель,
кандидат экономических наук

ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ «КАПИТАЛА» В ИРКУТСКЕ

В начале 60-х годов XIX века передовая Россия с восхищением произносила имя молодого ученого-сибиряка, вставшего на путь борьбы против крепостничества и самодержавия и смело поднявшего свой голос в защиту многострадального крепостного крестьянства. Это был Афанасий Прокофьевич Щапов, преподававший в то время в Казанском университете. Человек пламенной души и горячего сердца, он за короткий срок испытал стремительную эволюцию в своих социальных воззрениях, проделав нелегкий путь от скромного воспитанника духовных учебных заведений до передового мыслителя и борца, замечательного ученого и публициста.

Общественная деятельность А. П. Щапова развернулась в тот период, когда, по словам В. И. Ленина, передовая мысль в России под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма жадно искала правильной революционной теории. Афанасий Прокофьевич был ищущей натурой, и его произведения являются прекрасной иллюстрацией этих замечательных ленинских слов. Он встал в один ряд с такими выдающимися мыслителями и борцами против крепостничества и царизма, как А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Н. В. Шелгунов. Смелые выступления А. П. Щапова перед студенческой молодежью, его статьи в прогрессивных журналах, бесцензурные рукописные произведения сыграли немалую роль в распространении революционно-демократических идей.

Недаром Алексей Максимович Горький считал, что Щапов очень много дал для понимания жизни трудового народа. Великий писатель советовал молодежи читать произведения выдающегося революционного демократа, одного из немногих историков, правдиво отображавшего прошлое нашего народа.

Жизнь А. П. Щапова — это пример беззаветного служения трудовому народу, угнетенному крестьянству. Он до конца был верен своим идеалам. Уже подвергшись репрессиям царизма за революционное выступление в Казани и будучи накануне ссылки в Сибирь, Афанасий Прокофьевич сообщал в письме П. П. Вяземскому, что, даже лишившись «самого дорогого блага: преподавания русской истории в университете, общения с молодым, полножизненным, мыслящим поколением... я еще больше, чем когда-либо, готов пострадать за то, чего я желаю народу...»

Царское правительство жестоко расправилось с талантливым ученым. Весной 1864 года он был выслан в Восточную Сибирь, где и прошли последние 12 лет его жизни.

* *
*

Местом ссылки А. П. Щапова первоначально было избрано село Анга, расположенное в Иркутской губернии в глухой тайге на одном из притоков реки Лены. Позднее власти «милостиво» разрешили ему поселиться в Иркутске.

Высылка А. П. Щапова была обставлена по всем правилам. Сопровождавший его жандармский вахмистр Ларионов держал имя своего подопечного в секрете, никого не допускал к нему на остановках. Так, в Красно-

ярске, например, С. Шашкову[1] с большим трудом удалось добиться короткой встречи с Афанасием Прокофьевичем.

После высылки Щапова из столицы немедленно было дано распоряжение установить за ним по месту жительства строгий надзор. «Афанасий Щапов, — писал генерал-майор Потапов начальнику 8-го округа корпуса жандармов, — по неблагонадежности в политическом отношении выслан под надзор полиции в гор. Иркутск. Сообщаю о сем Вашему превосходительству, имея честь покорнейше просить о распоряжении к учреждению за ним должного наблюдения со стороны корпуса жандармов».

Ссылка не страшила опального сибиряка. Он ехал в родные места, которые любил с детства, надеясь найти в них близкое и радушное пристанище.

Ученый не предполагал, что обратный путь ему будет закрыт навсегда.

Щаповы поселились в Иркутске в небольшом домике по бывшей Почтамтской улице. Дом этот не сохранился до наших дней, так как еще в 1879 году сгорел во время большого пожара. Летнее время Афанасий Прокофьевич с женой иногда проводили за городом, в бывшем Глазковском предместье по другую сторону Ангары, снимая здесь комнату или крестьянскую избу.

Деятельная натура талантливого ученого и в ссылке искала наиболее полного применения своих сил. Сюда он привез большие планы новых исследований и несмотря на тяжелые условия и чрезвычайно ограниченные возможности получения необходимых материалов работал много и упорно. «Я не помню, чтобы мне случалось заставать его иначе, как за письменным столом, в котором бы часу дня я к нему не зашел», — писал близко знавший Щапова в Иркутске известный русский революционер Г. А. Лопатин.

В Сибири Афанасий Прокофьевич пишет большое число научных работ и публицистических статей. Часть из них преодолевала цензурные и прочие многочисленные барьеры, печаталась в петербургских журналах, в известиях Сибирского отдела Географического общества, часть же была найдена в архивах лишь впоследствии, после смерти автора, или затерялась совсем.

Долгие годы ссылки не сломили боевой дух демократа. А. П. Щапов остался непреклонным в своих убеждениях. Он решительно отвергал любую апологетику эксплуатации и угнетения, в какой бы форме она не проявлялась. В работах сибирского периода он продолжает в осторожных по цензурным условиям выражениях проводить идеи необходимости коренных преобразований в стране.

Афанасий Прокофьевич поддерживал связь со своими петербургскими друзьями.

Он переписывался с известным публицистом-демократом Г. З. Елисеевым, с редакторами некоторых прогрессивных журналов. Близкие отношения у него сложились с редакцией журнала «Русское слово», когда этот журнал возглавлялся еще Д. И. Писаревым. После закрытия царскими властями «Русского слова» в 1866 году Щапов тяготел к редакции демократического органа «Дело», которую возглавлял Г. Е. Благосветов.

В Центральном государственном историческом архиве хранится неизвестное письмо Благосветова к Данилевскому, написанное вскоре после организации журнала. В нем, в частности, говорится, что «Делу» предстоит блестящее будущее, если не задавят его насильственным образом. В нем соединяются лучшие наши литературные силы. Тут работают Писарев, Елисеев, Шелгунов, Щапов, Якоби и прочие. Жаль только, что все лучшие, честные представители нашей мысли должны скрывать свои имена, облекаться в разные маскарадные платья.

Но эти потемки пройдут и настанет свет!»[1]

В дальнейшем, после закрытия журнала «Дело», А. П. Щапов поддерживает тесный контакт с «Отечественными записками». Возможность печататься в этом журнале он называл «единственным утешением в Сибири». Это относится уже к началу 70-х годов.

Общественная деятельность ссыльного демократа в Иркутске была чрезвычайно ограничена. Долгое время А. П. Щапов не имел возможности публично выступать. Он, бывший в свое время кумиром революционно настроенного студенчества Казани, был лишен самого дорогого — постоянного общения с мыслящей, бурно воспринимавшей его идеи студенческой аудиторией. Это сильно угнетало ученого.

В Иркутске Афанасий Прокофьевич встретил отчужденное отношение со стороны здешнего общества. Судьба ссыльного ученого здесь мало кого интересовала. В 1874 году после десяти лет ссылки Афанасий Прокофьевич писал своему другу Елисееву, что живет он еще более «уединенно, отрешенно от иркутского общества», что видится только с не-

---

[1] С. Шашков — сибирский историк и публицист, знавший А. П. Щапова еще по Казани.

[1] ЦГИА, фонд 109 (секретный архив), опись 1, дело 2045, листы не пронумерованы.

сколькими политическими ссыльными — «ребятами хорошими». Атмосфера торгашеских интересов и мещанского благополучия сибирской буржуазии и чиновничества, с которой Щапову постоянно приходилось сталкиваться, глубоко оскорбляли и угнетали высокие чувства демократа. Полицейский надзор постоянно давал себя знать в Иркутске. Это сказывалось не только в первые годы ссылки, но и впоследствии.

Характерен такой эпизод.

По поручению Восточно-Сибирского отдела Географического общества летом 1874 года Афанасий Прокофьевич должен был выехать в экспедиционную поездку в Балаганский и Верхоленский округа Иркутской губернии. Целью его экспедиции являлись этнографические исследования, изучение хозяйственного уклада, быта, общинных отношений местного населения. В августе он выехал из Иркутска и в течение месяца вел свои наблюдения в районе рек Куды и Манзурки.

В самый разгар работы в волостное управление пришло секретное распоряжение, предписывавшее местным властям строго наблюдать за Щаповым и ни в коем случае не допускать близких общений его с крестьянами. Узнав об этом, ученый вынужден был прервать свои исследования и возвратиться в Иркутск. Поездка в Балаганский округ не состоялась совсем.

Все расчеты А. П. Щапова вернуться в один из университетских городов России и предпринимаемые в этом направлении шаги не имели успеха. Жандармский полковник Дувинг отказывался дать сколько-нибудь удовлетворительную аттестацию о пребывании ссыльного в Иркутске. Г. А. Лопатин писал в своих воспоминаниях, что жандармерия остается неумолима по отношению к ученому.

Условия жизни А. П. Щапова в ссылке были очень тяжелые. Единственным источником средств существования, на который он мог сколько-нибудь надеяться, являлся литературный гонорар. Но источник этот был чрезвычайно неустойчивый, тем более для ссыльного, находящегося за несколько тысяч верст от столицы. Деньги поступали неаккуратно и не обеспечивали даже крайне скромное существование. Постоянная нужда, вечные долги сопровождали Афанасия Прокофьевича в течение всей жизни в Иркутске. В последние два года его положение еще больше ухудшилось. Он жил буквально впроголодь.

И несмотря ни на что: ни на тяжелые условия жизни, ни на препятствия, встававшие здесь перед ссыльным демократом, несмотря на недостаток материалов для научных исследований, на изоляцию и оторванность от научных и общественных центров, от общественной жизни страны, А. П. Щапов продолжал много и упорно работать.

Литературное наследие сибирского периода полностью опровергает нелепые и абсолютно неправильные утверждения о падении таланта и бесплодности исследований Щапова в ссылке, получившие распространение с «легкой руки» некоторых его биографов. Следует подчеркнуть, что Афанасий Прокофьевич не только сумел остаться на уровне оригинального ученого и мыслителя, не только не пошел на попятную в своих классовых симпатиях, твердо сохраняя позиции демократа, но и никогда не терял чувства нового в своих идейных исканиях, всегда шел вперед в своих исследованиях и теоретических обобщениях.

* *
*

В начале 70-х годов произошло знакомство А. П. Щапова с известным русским революционером Германом Александровичем Лопатиным — первым переводчиком «Капитала» К. Маркса на русский язык.

Г. А. Лопатин прибыл в Иркутск нелегально в январе 1871 года. Он ехал из Лондона в Сибирь для того, чтобы организовать побег Н. Г. Чернышевского из Якутской ссылки. Эта поездка была одним из героических эпизодов в жизни отважного революционера.

Известно, что Лопатину не удалось осуществить свой смелый план. 1 февраля 1871 года он был арестован жандармами. Два с половиной года длилось вынужденное пребывание его в Иркутске. Большая часть из них прошла в тюрьме. В декабре 1871 года он был освобожден под строгий полицейский надзор без права выезда из Иркутска. Но после повторного побега в августе 1872 года его вновь заключили в тюрьму. И лишь через год ему наконец удалось бежать. Все меры царских ищеек найти Лопатина на этот раз оказались тщетными.

В Иркутске между А. П. Щаповым и Г. А. Лопатиным установились тесные дружеские отношения. «Я рвался к нему, — вспоминал Лопатин, — как единственному человеку, с которым я мог вполне откровенно поговорить о своих насущных заботах, о своих и общих невзгодах, о своих и общих надеждах и о своих затеях...» О встречах и беседах с Лопатиным с большой теплотой отзывался и Щапов. Знакомство с Лопатиным он называл одним из самых приятных и наиболее содержательных, какие были у него в Иркутске.

Беседы Щапова с Лопатиным касались многих тем. Их интересовали не только вопросы истории, но и жгучие проблемы современного положения страны, народных масс, освобождения их от угнетателей, пути дальнейшего развития России, революционная борьба с самодержавием. Много говорилось о развитии общественной мысли, науки, культуры, о будущем общественном строе — о социализме, который представлялся в мечтах обоих собеседников.

Ссылка и лишения не убили у А. П. Щапова интереса к этим вопросам. «Когда я узнал его, — писал Г. А. Лопатин, — это был не старик, спокойно пережевывающий сладкие подробности былого, а полный жизни человек, глубоко волновавшийся настоящим, горячо боровшийся за будущее...»

Таким именно и был Афанасий Прокофьевич до конца своих дней.

Еще до выхода в свет русского издания первого тома «Капитала» А. П. Щапов по рассказам Г. А. Лопатина получил представление о деятельности Карла Маркса и о его главном труде. Лопатин рассказывал Щапову о своем житье в Лондоне, о том впечатлении, которое на него произвел К. Маркс, о встречах с этим замечательным человеком.

Из рассказов Лопатина Афанасий Прокофьевич знал и о работе над переводом «Капитала» на русский язык. Уже в конце 1872 года, вскоре после выхода русского издания первого тома гениального произведения К. Маркса, он писал в Петербург Елисееву, что ему необходимо иметь эту книгу[1].

Можно предполагать, что А. П. Щапов был знаком с некоторыми произведениями К. Маркса и Ф. Энгельса раньше, в частности с «Положением рабочего класса в Англии» и «Нищетой философии». Но особенно сильное впечатление на революционного демократа произвел «Капитал».

Первый том главного труда К. Маркса был впервые издан в России весной 1872 года. Его появление в далеком Предбайкалье относится к началу 1873 года и связано с именем А. П. Щапова. Ссыльный ученый оказался первым читателем «Капитала» в Иркутске. Ему же принадлежит первая оценка гениального произведения К. Маркса в сибирской печати и первая попытка применить отдельные положения «Капитала» к анализу социальных отношений в Сибири. Это несомненно представляет большой интерес.

А. П. Щапов дал высокую оценку «Капиталу» и деятельности его автора. В статье «Миросозерцание, мысль, труд и женщина в истории русского общества» он отнес «Капитал» к выдающимся творениям человеческого разума, назвав К. Маркса «глубокомысленнейшим современным исследователем политико-экономической истории»[1].

[1] А. П. Щапов в Иркутске (неизданные материалы). Иркутск, 1938, стр. 77.

Знаменательно то, что знакомство с «Капиталом» для Щапова оказалось далеко не бесследным и не поверхностным. Анализ написанных в эти годы произведений показывает, что ссыльный ученый проявил глубокий интерес к целому ряду проблем первого тома, что изучение «Капитала» наложило определенный отпечаток на его творчество, оказало влияние на его социально-экономические взгляды, способствуя их развитию от утопии к науке.

Это обстоятельство особенно рельефно выступает при рассмотрении Щаповым проблем капитализма. Он и ранее интересовался ими, поднимая, например, в сибирской печати рабочий вопрос, разоблачая алчные интересы буржуазии, эксплуатацию и угнетение ею трудового населения Сибири.

Но наиболее ценные и зрелые мысли ученого, касающиеся критики капитализма, были высказаны им после знакомства с «Капиталом». Характерны в этом отношении такие его работы, как «Сибирское общество до Сперанского», «Что такое рабочий народ в Сибири», статьи, посвященные исследованию общины, и некоторые другие.

Не вызывает сомнения, что именно под влиянием произведения Маркса А. П. Щапов обратил пристальное внимание на некоторые вопросы, связанные с проблемой первоначального накопления капитала, на зарождение и развитие буржуазных форм эксплуатации в России и, в частности, в Сибири.

Ученый писал о том, что влияние буржуазии здесь заметно усилилось еще в XVIII веке, что нашло проявление в росте господства «класса капиталистов над рабочим классом», в усилении подчинения труда капиталу».[2] Подобные выводы были несомненно новы не только для самого Щапова.

Это было начало 70-х годов, когда в общественной мысли страны господствующее положение занимала народническая идеология.

В работах «Сибирское общество до Сперанского», «Что такое рабочий народ в Сибири» Щапов развертывает яркую по форме и более зрелую по содержанию характеристику эксплуататорской роли буржуазии. Он с большой силой рисует ее антинародную сущность, упот-

[1] А. П. Щапов. Соч., т. III, Спб., 1908, стр. 577.
[2] Там же, стр. 560.

ребляя для усиления выражения К. Маркса «о ненасытных капиталистических душах» — этих лукуллах и крезах, и делает ссылку на «Капитал».

В результате знакомства с работой К. Маркса углубилось представление Щапова и о рабочем классе, который он характеризовал как объект эксплуатации для капитала, источник обогащения буржуазии. Ссыльный ученый делает вполне определенный вывод о том, что богатства буржуазии основываются на эксплуатации трудящихся. Таким путем буржуазия создает капиталы, обеспечивает свое экономическое могущество, а на этой основе она «всегда стремится к общественному политическому господству». Щапов разоблачает демагогический характер буржуазного принципа равенства. По его мнению, в буржуазном обществе не может быть действительного равенства, так как буржуазии чужды интересы трудящихся. Рабочий класс составляет для нее лишь «источник обогащения, предмет эксплуатации, основание капиталистической общественной пирамиды»[1].

Ученый ясно представлял эксплуататорский характер буржуазных отношений и резко критиковал их. Подчеркивая глубокий антагонизм между рабочими и капиталистами, он делал вывод о том, что в буржуазном обществе неизбежна борьба двух полюсов, как неизбежны в нем «антисоциальные контрасты богатства и бедности, пролетариата, пауперизма и плутократии, капитала и труда, эксплуатации и честности и проч.»[2]

В работах Щапова впервые в русской литературе была предпринята попытка с демократических позиций выяснить исторические и социально-экономические основы классового антагонизма сибирского общества. В них приводится интересный материал, иллюстрирующий некоторые стороны процесса первоначального накопления в Сибири. На многочисленных примерах ученый раскрывал источники обогащения нарождавшейся здесь буржуазии, разоблачая ее хищническую эксплуататорскую природу. Он показывал, что уже к концу XVIII века в Сибири складывались огромные капиталы и торговая буржуазия превращалась в мощную экономическую силу.

Новые черты были отмечены ученым и при исследовании аграрных отношений в Сибири: рост буржуазных отношений в деревне, господство кулака и усиление эксплуатации беднейшего крестьянства, разложение общины, наличие в ней классовой борьбы, отражавшей глубокие противоречия между различными слоями крестьянства.

Большой интерес вызвало у Щапова учение Маркса о кооперации труда.

Рассматривая этот вопрос, ученый в статье «Миросозерцание, мысль, труд и женщина в истории русского общества» приводит положение «Капитала» о первоначальном зарождении кооперации в сфере труда и отличиях первобытной кооперации от последующих ее форм.

Беседы с Лопатиным и последующее знакомство с «Капиталом» дали Щапову большой материал для серьезных размышлений над целым рядом интересовавших его проблем. Ссыльный ученый был знаком, в частности, с положением Маркса о наличии противоположности между городом и деревней.

В статье «Сибирские народные дети и их воспитание» он ссылается на него как на автора идеи разрешения этого «историко-традиционного, социально-экономического противоречия» и полностью разделяет ее.

Обращение А. П. Щапова к «Капиталу» К. Маркса не осталось без последствий. Некоторые его произведения вызвали серьезное недовольство властей. Так, с их точки зрения, явно «неблагонамеренного» содержания была статья «Что такое рабочий народ в Сибири», которая, по мнению цензуры, вообще не могла быть напечатана. Главное управление по делам печати расценивало ее опубликование как серьезное упущение цензуры. В специальном письме из Петербурга обращалось внимание генерал-губернатора на «неудовлетворительность цензурного рассмотрения» газеты «Сибирь».

В этом письме статья Щапова была отнесена к числу «резко обличительных», содержащих «такие мысли и выражения, которые ни в коем случае не могут быть терпимы в печати». «Приведенные мысли, — говорилось в письме, — служат, очевидно, повторением известной социал-демократической проповеди о невыносимом положении рабочего класса, о незаконном присвоении его труда капиталистами и помещиками, о необходимости перевернуть общественное устройство так, чтобы не было ни капитала, ни частной поземельной собственности»[1].

Особенно насторожила и возмутила чиновников по делам печати имевшаяся в статье Щапова ссылка на «Капитал» К. Маркса. «Вероятно, для придания своим мыслям большего авторитета автор, — писали они, — делает подстрочное примечание, что выражение

[1] А. П. Щапов. Соч., т. III, Спб., 1908, стр. 671.
[2] Там же, стр. 677—678.

[1] «Сибирские вопросы», Спб., 1906, № 3, стр. 101.

«капиталистические души» заимствовано им у К. Маркса (который, как известно, есть один из самых ярых представителей международного общества социальной демократии)». Так расценило статью Щапова «Что такое рабочий народ в Сибири» Главное управление по делам печати.

Такова история появления первого русского издания «Капитала» в Иркутске и его первого читателя.

Нельзя переоценивать влияние «Капитала» на А. П. Щапова. Он, стоявший на позициях утопической теории «крестьянского социализма», не дошел до понимания исторической роли рабочего класса и не понял сущности учения К. Маркса.

Ссыльный ученый рассматривал «Капитал» как один из наиболее ярких политико-экономических памфлетов, направленных против капитализма. Преклоняясь перед разящей силой критической мысли К. Маркса и его гениальностью ученого, он, вместе с тем, не мог еще выделить автора «Капитала» из среды известных ему критиков капитализма, ставя его в один ряд с такими мыслителями, как Сен-Симон, Фурье и другими.

А. П. Щапов был и остался крестьянским демократом. И все же он испытал значительное влияние «Капитала», заняв по отношению к нему чрезвычайно благожелательную позицию.

Это важно подчеркнуть в связи с той дискуссией, которая развернулась в русской печати вокруг «Капитала» после его издания в Петербурге.

Заслугой ссыльного ученого-демократа А. П. Щапова является то, что на заре появления величайшего произведения К. Маркса в России он первый в сибирской печати сказал свое слово о «Капитале» и его авторе.

Поиски новых, еще не изведанных путей в науке продолжались до конца жизни Щапова. Знакомство с «Капиталом» К. Маркса совпало у него с новым серьезным сдвигом в научном творчестве и способствовало его развитию.

Но долгие годы ссылки, нужда и лишения подорвали здоровье выдающегося ученого. Он умер рано, в возрасте всего лишь 45 лет.

Имя А. П. Щапова и после его смерти было ненавистно царскому правительству. Даже самые скромные попытки увековечить память ученого решительно пресекались. Так, например, в 1901 году Общество по распространению народного образования в Иркутской губернии решило к 25-й годовщине со дня смерти Щапова открыть на его родине, в селе Анге, бесплатную библиотеку и назвать ее именем ученого.

4 января 1904 года библиотека была открыта, но присвоить ей имя А. П. Щапова власти категорически запретили.

Как ни странно, но имя выдающегося ученого и революционного демократа до сих пор не увековечено.

Несмотря на то, что он так много сделал для развития науки, литературы, народного просвещения, в его родном городе нет не только вуза, носящего его имя, но даже средней школы или библиотеки. Это досадное упущение можно и должно исправить.

Память об Афанасии Прокофьевиче Щапове обращена не столько в прошлое, сколько в настоящее и будущее. Мы вспоминаем славную плеяду «шестидесятников», к которой принадлежал и наш выдающийся земляк, не ради одних воспоминаний. Их славные дела и лучшие традиции навечно вошли в историю нашего города. Воспоминания о них, как и обо всем историко-революционном прошлом, служат большому делу — делу воспитания нашей молодежи — строителей коммунизма.

Критика и библиография

П. М. Моролев

О ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ Д. А. ФУРМАНОВА

Задумав написать повесть «Чапаев», Фурманов сознавал, какую большую и ответственную задачу он поставил перед собой: рассказать о героическом подвиге народа за утверждение Советской власти.

Писатель тщательно изучает в военном архиве документы, относящиеся к истории борьбы Чапаевской дивизии на Восточном фронте, внимательно просматривает и группирует свои дневниковые записи и очерки за 1919 год, много и упорно работает над планом повести, над ее отдельными эпизодами.

Работа над произведением целиком захватила Фурманова. «Встаю — думаю про Чапаева, ложусь — все о нем же... каждую минуту, если не занят срочным, другим, только про него, про него...»[1] Книгу «надо сделать прекрасной», мечтает он.

Требовательный к себе, он долгое время не решался сесть за письменный стол, чтобы начать непосредственную работу над «Чапаевым». Дмитрий Андреевич считал необходимым еще раз проверить себя на очерках. 15 января 1922 года он записывает: «К большой повести все не приступил — ой, как трудно начинать большую работу! Подумываю дать ряд очерков из времен работы и борьбы в уральских степях... Сдал недавно «Лбищенскую драму». Многим нравится»[2].

[1] Д. А. Фурманов. Соч. в трех томах, т. 3, М., 1952, стр. 232. Далее в тексте римской цифрой указывается том, арабской — страницы.

[2] Архив Д. А. Фурманова. II, 62, 1577. Институт мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР. В дальнейшем ссылки на архив Фурманова даются в тексте, в скобках указывается номер дела.

«Лбищенская драма» впервые опубликована в газ. «Рабочий край» (Иваново-Вознесенск) от 23 февраля 1922 года, № 44.

«Лбищенская драма» была первым непосредственным подступом к созданию «Чапаева». Она является частицей будущего произведения о героической борьбе народа на Восточном фронте, о подвигах 25-й дивизии. Очерк надо рассматривать как одно из звеньев большой работы над «Чапаевым».

Не представляется возможным точно установить, когда Д. А. Фурманов начал писать повесть. Из дневниковой записи от 21 сентября 1922 года видно, что он все еще не решается приступить к работе: «Писать все не приступил: объят благоговейным торжественным страхом. Готовлюсь» (III, 231). Однако уже к 18 ноября автор успел написать большую часть произведения: «Написано $^{4}/_{5}$ (четыре пятых)», — замечает Фурманов (III, 232). 29 ноября работа над черновым вариантом повести приближалась к концу: «Уже совсем немного осталось, совсем немного...» (III, 234).

1 декабря в первом варианте повесть была закончена. На последнем листе авторской рукописи обозначена дата «1. XII. 22 года» (Архив, II, 62, 576).

Таким образом, первый набросок произведения был сделан за очень короткий срок. В этом нет ничего удивительного: писатель провел большую подготовительную работу, «вынашивал» повесть годами и поэтому на ее завершение при той интенсивности, с которой работал Фурманов, потребовалось немного времени.

Дневники писателя свидетельствуют о том, что он стремился, как можно быстрее создать «остов» произведения. 22 ноября 1922 года Фурманов заносит в тетрадь: «Что написано — только набросок. Не обрабатываю, спешу закончить — всю вещь кончить, дабы ви-

деть, как расположится материал в общем и целом. Потом обрабатывать стилистически, вводить новые картины, переставлять...

...Хочется, невтерпеж, остов построить, а уж потом, по этому стержню, перевивать все, что будет целесообразно и интересно» (III, 233—234).

Творческий процесс обработки и шлифовки первого наброска повести протекал месяц с лишним, и 4 января 1923 года произведение было завершено. «Только что закончил я последние строки «Чапаева». Отделал начисто», — читаем мы в дневниковой записи от 4 января 1923 года (III, 236).

16 февраля 1923 года автор восторженно пишет о принятии «Чапаева» для напечатания Комиссией по истории Октябрьской революции и РКП(б). 18 марта 1923 года «Чапаев» увидел свет.

* *
*

Авторская рукопись «Чапаева», хранящаяся в рукописном отделе Института мировой литературы имени А. М. Горького, свидетельствует о большой, напряженной и кропотливой работе Фурманова над улучшением текста повести. Почти каждая страница пестрит многочисленными исправлениями, вставками отдельных слов, фраз, кусков; некоторые места подвергаются сокращению (Фурманов писал карандашом темного цвета, правка делалась чернилами и фиолетовым карандашом).

Творческая история «Чапаева» является предметом внимания многих литературоведов (имеются исследования Г. П. Владимирова, А. Калнберзиной, Н. А. Садыковой, А. Н. Шишмаревой, П. И. Степанова и др.). Предпринята попытка рассмотреть вопрос о принципах работы Фурманова над военными документами, о том, какое преломление получили они в повести; в той или иной степени освещен творческий процесс воплощения дневникового материала; показано, как писатель работал над планом «Чапаева». Подвергнуты изучению и некоторые другие вопросы, связанные с историей создания этого произведения. Работа же Фурманова по усовершенствованию первоначального варианта повести, т. е. подготовка рукописи к первому изданию, по существу не исследована. В настоящей статье мы поделимся некоторыми наблюдениями над этой работой, над поисками писателем наиболее сильных средств для раскрытия образов и идейного смысла «Чапаева».

Улучшая текст рукописи, автор стремится усилить политическую направленность произведения. Он оттеняет наиболее важные вопросы идейно-тематического комплекса повести, вносит соответствующие уточнения. Приведем примеры. Уже в черновом наброске первой главы вырисовывается авангардная роль пролетариата. Она с особой силой раскрывается в репликах красных ткачей, провожающих рабочий отряд на Восточный фронт. Но Фурманов, не удовлетворяясь достигнутым, оттачивает эти реплики, делает их более меткими, уточняет мысли, заложенные в них.

Стремление подчеркнуть историческую миссию этого класса в борьбе народных масс за утверждение Советской власти проявляется и в следующем примере. Перед форсированием Белой М. В. Фрунзе проводил совещание командиров и политработников. Обсуждался вопрос о том, каким частям 25-й дивизии положить начало форсированию реки.

«Когда теперь, в Красном Яру, собрались вожди дивизии, надо было учитывать, помимо техники и количества бойцов, еще и качество их, касаясь именно этой исключительной обстановки: выбор пал на рабочий Иваново-Вознесенский полк. **Выбор сделан был не случайно»** (авторская рукопись, л. 149).

Это последнее предложение писатель включает в текст, работая над его улучшением. Оно важно потому, что далее Фурманов говорит, почему не случаен этот выбор.

«Полки бригады Еланя покрыли себя бессмертною победной славой; они были **в отношении боевом** на одном из первых мест, но для данного момента надо было остановиться именно на полку высоко сознательных красных ткачей: **здесь одной беззаветной удали могло оказаться недостаточно»** (авторская рукопись, л. 149).

Подчеркнутые нами слова в «остове» не значились. Автор вписал их, редактируя повесть. Теперь Фурманову удалось отчетливей передать идейно-политический смысл данного отрывка. Только полк высоко сознательных бойцов, полк рабочих со значительной партийной прослойкой может быть первым брошен на врага для нанесения ему сокрушительного удара. Решительные действия по заранее продуманному плану, отсутствие растерянности в неблагоприятно складывающейся обстановке, умелое поддерживание связи с соседом, сознание революционного долга перед Родиной — все эти факторы, являющиеся залогом победы над противником, были у иваново-вознесенцев.

Работая над страницами рукописи, где дается оценка массового героизма крестьян, сражавшихся в дивизии Чапаева, автор считает необходимым задержать внимание читателей на некоторых слабых сторонах этого

движения в защиту Советской власти. В главе XI («До Белебея») писатель отмечает традицию чапаевцев «не отступать». «Какие-нибудь разинцы, пугачевцы, дамашкинцы, храня эти боевые традиции, выносили невероятные трудности, принимали, выдерживали и в победу превращали невозможные бои, но назад не шли: отступать полку Стеньки Разина — это значит опозорить невозвратно свое боевое, геройское имя! **Как это красиво, но как и неверно, вредно, опасно!»** (Авторская рукопись, л. 112).

Выделенная нами фраза была найдена в процессе улучшения текста повести. Мы обнаруживаем ее и в книге («Чапаев», 1923, стр. 144—145). Писатель осуждает здесь безрассудную удаль, стремление действовать самостоятельно, не координируя усилий своего отряда с усилиями другого, не учитывая реальных возможностей победы.

В этой же главе автор сообщает о том, как соратники Чапаева «широко разнесли чапаевские подвиги и чапаевскую славу, находя в этом «свою собственную радость» (Авторская рукопись, л. 112). После этих слов Фурманов, работая над рукописью, вводит новую фразу, включенную потом в печатный текст.

«Мы всегда склонны дать «герою» больше того, что он имеет в действительности и, наоборот, недодаем кой-что заслуженному и порой исключительному «рядовому».

Эта фраза важна потому, что она является подступом к рассказу о самоотверженных поступках героев из рядовых — двух безногих пулеметчиков и слепого красноармейца.

Весьма поучительной представляется нам работа Фурманова над авторскими пояснениями. Рукопись свидетельствует о его усилиях оттенить ими, сделать более яркими, выпуклыми типические и индивидуальные особенности героев повести или полнее обрисовать эти особенности.

Гриша (возница, из главы «Степь») откровенно рассказывает иваново-вознесенцам о том, что красные били кулаков, отказывавшихся обеспечивать бойцов хлебом.

«— Били? — затаил дыхание и прищурил глаза Клычков.

— Били! — ответил просто и твердо Гриша. — Все били, на то война.

— Молодец, Гришуха, — весело сорвался Андреев, — право, молодец, — выкликнул и снова ткнулся в стоячий высокий ворот тулупа.

Андреев любил эту чистую, незамазанную, грубоватую правду» (Авторская рукопись, л. 15).

Эта последняя фраза появилась в рукописи во время ее правки. Она есть и в печатном тексте. Читатель еще очень мало знает об Андрееве. Из главы «Рабочий отряд» известно лишь, что он петербургский слесарь, в Иваново приехал недавно, ему 23 года. В главе «Степь», откуда мы привели отрывок, читатель видит, как Андреев реагирует на рассказ Гриши, обнаруживая ранее не известное нам качество характера, которое Фурманов и определяет вновь введенной фразой.

М. В. Фрунзе, решая назначить В. И. Чапаева начальником дивизии, обращается к Клычкову за советом (глава VII, «В пути»):

«— Дело серьезное, товарищ Клычков... Думаю назначить Чапаева начальником дивизии, — что скажете?

— Я знаю его мало, но слухов о нем — сами знаете...

— Как он на деле-то? Вы с ним хоть сколько-нибудь да поработали... — Федор высказал ему все, что думал — **хорошее высказал мнение, оттенил только незрелость политическую»** (Авторская рукопись, л. 77).

Подчеркнутой нами фразы первоначально в рукописи не было. Из предшествующих глав читателю уже известно о жизни и героической деятельности В. И. Чапаева, о его огромной популярности в массах, а также о его слабых сторонах, в том числе и о невысоком политическом уровне. В указанной главе Фурманов, внимательно вчитываясь в черновой набросок произведения, вводит новую фразу, в которой содержится указание на сильные свойства Чапаева и определяется двумя точными словами сущность его слабых сторон: «незрелость политическая». Найденная Фурмановым фраза включена в печатный текст («Чапаев», 1923, стр. 91).

В начале главы IX, «Перед боями», автор пишет, что В. И. Чапаев «...терпеть не мог стонущих и мямлющих людей и обычно слов их в расчет не принимал, что бы эти слова собою ни означали. Любил человек сильное, твердое, решительное слово».

Оттачивая текст, писатель добавляет: **«А еще больше любил решительное, твердое, умное дело!»** (Авторская рукопись, стр. 89). В этом мы убеждаемся на протяжении всей повести. В непосредственном действии выявляется существенная черта народного героя — сочетание блестящего военного таланта с такими качествами характера, как твердость, решительность и жажда деятельности. Вкрапливая в художественную ткань приведенное выше пояснение, Фурманов подчеркивает им самобытность натуры Чапаева.

В начале главы VII, «В пути», писатель сообщает о том, что Чапаев считал международность рабочего движения сплошным вымыслом. Когда же ему указывали на факты, называли цифры и т. п., он говорил:

«— А што цифры — цифру и я выдумать могу... Первое время он упорно этому верил, обратного и слушать не хотел, только ухмылялся. **Потом, после частых и длительных бесед с Клычковым, он изменил на это свой взгляд, как изменил его и на многое другое»** (Авторская рукопись, л. 70).

Это оценочное суждение автора, сложившееся во время правки рукописи (оно попало и в печатный текст), заключает в себе мысль о том, что Чапаев под влиянием комиссара Клычкова развивался политически. Данное пояснение предваряет показ тесного общения двух героев, в процессе которого духовно рос народный полководец и совершенствовался в искусстве воздействия на массы, закалялся, изучал военное дело в гуще непосредственной борьбы революционный интеллигент.

Работая над рукописью, Фурманов старается улучшить авторское пояснение, сопровождавшее высказывание того или иного персонажа (в диалоге), или ввести его вновь там, где оно отсутствовало.

Возница Гриша заметил, что его однажды побил Чапаев. Кто-то из седоков спрашивает: «Как Чапаев, за што?» Сначала в рукописи было неясно, кому принадлежит этот вопрос — Андрееву или Клычкову. Шлифуя текст, Фурманов пишет:

« — ...Как Чапаев, за что? — **встрепенулся Федор, услышав (в который раз!) это магическое удивительное имя неведомого народного героя».**

Вновь введенное авторское пояснение подчеркивает интерес Клычкова к Чапаеву, акцентирует внимание читателя на личности последнего, как бы подготавливает нас к встрече с народным героем (разговор с Гришей дан в начале произведения). Отобранные эпитеты — **магическое, удивительное** имя — способствуют созданию поэтической атмосферы вокруг Чапаева (пояснение введено в книгу).

Гриша с достоинством рассказывает Клычкову и Андрееву о партизанском движении, руководимом Чапаевым. Федор, взволнованный рассказом бывшего чапаевца, спросил его: «...Гриша, а питались по деревням же?

— По деревням... — **осанисто ответил парень, видимо, очень довольный, что так им интересуются...»**

Это авторское пояснение найдено Фурмановым не сразу, оно пришло в ходе работы над рукописью. Читатель уже имеет представление о Грише. Это один из участников борьбы за Советскую власть в 1918 году, один из почитателей Чапаева, разносивших славу о нем. Включенное в текст пояснение указывает на еще не известную читателю черту характера Гриши: парню приятно, когда к нему проявляют интерес; он польщен вниманием к себе со стороны Клычкова и Андреева.

Авторских пояснений, дававших дополнительную характеристику говорящего, Фурманов ввел немало после того, как был написан «остов» повести.

Создавая собирательный образ революционной массы, автор много работает над портретами рядовых участников борьбы. Внимание к личности простого человека у Фурманова не было случайным. Он стремился показать народ в процессе сознательного преобразования действительности. Отсюда необходимо было дать конкретное представление о массах, созидающих новый общественный строй, ярче изобразить представителей революционного народа. Фурманов высоко поднимается над теми писателями первой половины двадцатых годов, в произведениях которых чрезвычайно слабо индивидуализировался образ революционной массы, а ее борьба показывалась как стихийное, никем не управляемое движение «множеств» («Падение Даира» А. Малышкина, «Огненный конь» Ф. Гладкова и др.).

Работая над портретами рядовых участников борьбы, Фурманов ищет точные реалистические детали; он заботится о том, чтобы с помощью их создать живой образ эпизодического персонажа. Обратимся к примерам:

В «остове» рукописи	Исправлено
...С ним рядом Елена Куницына, ткачиха, девушка 22-х лет... Она еще не в коммунарке — повязана платком; не в шинели, а в черном своем пальтишке — это в январские-то морозы; тихая она, спокойная, радостная вся,— и не видно, не подумаешь, что едет на фронт (Авторская рукопись, л. 3).	...С ним рядом Елена Куницына, ткачиха, девушка 22-х лет... Она еще не в коммунарке — повязана платком; не в шинели, а в черном пальтишке— это в январские-то морозы! На бледном и строгом лице отпечатлелась ненарушимая светлая радость; не подумаешь, что едет на фронт (Авторская рукопись, л. 3).

Нетрудно заметить, что портретная зарисовка в ее окончательном виде точнее и выразительнее передает внутреннее **состояние**

Елены Куницыной. «Ненарушимая светлая радость» на бледном и строгом лице красноречиво говорит нам о том, что девушка испытывает необыкновенное счастье, сознавая себя участницей величественной борьбы за новую жизнь.

Приведем другой пример:

В «остове» повести	В дополненном виде
Уж как счастлив был гармонист — вятский детина с горбатым лоснящимся носом. ...Сам Чапаев отплясывает под его охрипшую гармонь (Авторская рукопись, л. 91).	Уж как счастлив был гармонист — вятский детина с горбатым, лоснящимся носом и крошечными глазками на широком лице: подумайте, сам Чапаев отплясывает под его охрипшую, заигранную до смерти гармонь (Авторская рукопись, л. 91).

Крошечные глазки на широком лице необычайно оживили портрет гармониста. Кроме того, применение эпитета **заигранная до смерти гармонь** создает законченное представление о музыканте, много и охотно игравшем на своем инструменте для своих товарищей. (Дополнения и исправления в приведенных двух примерах вошли в книгу, см. «Чапаев», 1923, стр. 8, 111).

В главе XI, «До Белебея», писатель рассказывает о том, как из-за нераспорядительности командиров бойцы на позиции плохо окапывались, были почти на виду у противника, а некоторые из них даже бравировали своей неустрашимостью.

«Раскинется навзничь, голова под веткой укрыта, лицо серьезное, совершенно спокойное, держит книжку или газету перед носом и почитывает».

Первоначально портретная зарисовка этим и ограничивалась. Но в дальнейшем Фурманов углубляет ее. После слов: «...держит книжку или газету перед носом и почитывает» автор вносит в рукопись:

«...да так это все по-обычному и просто получается, будто в саду где-нибудь, у себя в деревне, от июльской жары укрылся праздничным днем».

Благодаря этому дополнению, в котором дано развернутое сравнение, портретная зарисовка бойцов становится более яркой, пластически осязаемой. Дополнение включено в печатный текст.

О стремлении писателя сделать портретную зарисовку впечатляющей свидетельствует и следующий пример:

Первоначально в рукописи значилось	Улучшено
Перебежка! Бегом!!! Ретиво вскакивали, мчались (далее следуют два неразборчивых слова — *П. М.*) и ждали, ежесекундно ожидая желанную команду: ложись! (Авторская рукопись, л. 105).	Перебежка! Бегом!!! Ретиво вскакивали, мчались вперед с безумным взглядом, с перекошенным лицом, широко раздутыми горячими ноздрями, бежали и ждали, бежали и ждали желанную команду — ложись! (Авторская рукопись, л. 105).

Введенные в текст реалистические детали — перекошенное лицо, широко раздутые горячие ноздри — дают наглядное представление о необычайном напряжении физических и духовных сил человека в момент боя.

Рукопись убеждает нас в том, что улучшение портретных характеристик второстепенных персонажей — рабочих и крестьян — было в центре внимания Фурманова. Это обусловливалось стремлением писателя показать исторический подвиг народа в индивидуальных проявлениях, направленных к единой цели — преобразованию действительности на новых началах.

Изучая рукопись произведения, мы видели, что Фурманов стремился сжать повествование, устранить ненужное. Некоторые куски текста изымались потому, что в них содержались факты, уже освещенные в повести. Автор удалил также малозначащие детали, например, замечание о том, что Андреев и Клычков ехали в тулупах, а Бочкин и Лопарь «зарылись в сено раскидистой широкой повозки».

Обращает на себя внимание весьма любопытный случай в работе писателя над рукописью. Первоначально глава II («Степь») открывалась таким лирическим отступлением:

«Гладка, ровна, бескрайна степная дорога. Тощи, костисты, но легки и быстры привычные кони. Эй, снежки-снежинки, белые подружки, — вихрятся, вьются, пушат из-под звонких копыт. Застоялись, голубчики кони, — а ну, отогрейтесь! Покажите, как летают по снежным, упругим степям казацкие кони. Весело, дыхание устало, — полон рот снегу, снежков и снежинок. Прямо, прямо, прямо... Никуда в сторону, не сбивайтесь с ходу! От горячего тела пар на снежки раздышался; от ветряного лету дрожат и мечутся курчавые, долгие гривы. Плотно к затылку прижались хитрые, толковые уши, отвагой горят искрометные глаза...

Кони! Степные птицы — мчитесь, как мчится ветер свободный... Вот так, чтобы вихрилась, вертелась вся степь, чтобы четко и звонко стучали, играли, кричали стальные копыта. Пусть слушает бескрайняя долина эту песню вашего бега...» (Авторская рукопись, л. 11).

Это довольно пространное лирическое отступление было изъято Фурмановым, когда он обрабатывал черновой вариант произведения. Глава «Степь» стала открываться словами: «Морозно поутру в степи».

Почему же автор отказался начать указанную главу таким лирическим отступлением?

Фурманов, любивший напоминать себе и другим о том, что «простота в искусстве не низшая, а высшая ступень» (III, 216), вероятно, увидел в данном контексте некоторый налет выспренности, красивости. Писатель вместе с другими передовыми художниками резко выступал против буржуазно-дворянской эстетики, представителей которой при всем различии отдельных положений и установок сближала погоня за мнимым «новаторством» стиля, пренебрежение к ясному классическому письму. В статье «Завядший букет» Фурманов писал: «Погоня за новыми словами, оригинальным выражением, охота до пафоса и причудливых поз является отличительной чертой большинства этих разрозненных групочек» (III, 246). Фурманов был обеспокоен тем, что некоторые советские писатели, не разобравшись в антинародной сущности формалистской эстетики, попадали под ее влияние. Стремление к вычурности, узорности в повествовании Фурманов с горечью отмечал у Ю. Либединского в его «Неделе», у Л. Полярного в «Последнем перевале» (Архив, II, 62, 619, II, 62, 706) и у других.

Требовательный к себе, Фурманов боялся ложного пафоса, стремился быть искренним, не терпел искусственных романтических преувеличений и украшений, заботился о простоте и ясности стиля. В лирическом отступлении, которое мы привели, нет и следа эстетски-формалистского трюкачества. В нем ощущается лишь некоторая витиеватость, может быть, простительная для начинающего художника. Но Фурманов, верный себе, заменил это лирическое отступление одной четкой, ясной, выразительной фразой: «Морозно поутру в степи». И далее идет реалистическое описание поездки иваново-вознесенских большевиков в Уральск, в распоряжение М. В. Фрунзе.

Если бы автор не снял лирический контекст, то, несомненно, в главе «Степь» ощущался бы стилистический разнобой: проникнутое «красивостями» начало ее никак бы не вязалось с ясной, простой манерой повествования в основной части главы.

Копию обработанной рукописи Д. А. Фурманов передал в Комиссию по истории Октябрьской революции и РКП(б). Рукопись была прочтена работавшим там с 1921 по 1924 год П. Н. Лепешинским.

Известно, что Фурманов в начале октября 1922 года поделился с ним своим замыслом написать повесть о В. И. Чапаеве. Старейший большевик, видный «искровец», Пантелеймон Николаевич Лепешинский одобрил это намерение бывшего комиссара Чапаевской дивизии (Архив, II. 62, 1953). Прочтя рукопись, он хорошо отозвался о произведении, указал на его недостатки и выразил готовность редактировать «Чапаева».

По свидетельству писателя, П. Н. Лепешинский говорил ему:

«— Кое-что тут у вас — лишку есть. Я авторское право очень храню, бережно к нему отношусь и без вас — автора, — не решился делать никакой чистки. Возьмите, исправьте сами или, если хотите, дайте мне» (Архив, II, 62, 1181, дневниковая запись от 27 января 1923 года).

Дмитрий Андреевич не решился сам править свое произведение, он просил Пантелеймона Николаевича быть редактором «Чапаева».

«У вас опыта и знаний больше, я же только начинаю... И вполне понятно и естественно, что тут много лишнего... а если я сам возьмусь сокращать — мне жалко будет каждую страницу, мне все будет жалко. Ничто не покажется лишним, и я мало что сокращу. Уж вы лучше возьмитесь за меня сам».

П. Н. Лепешинский стал редактировать «Чапаева». 16 февраля 1923 года Фурманов записывал в дневник о том, что Лепешинский выбросил разговор Андреева с Федором и главу «Револьвер» (Архив, II, 62, 1578). А. Н. Фурманова в своих «Воспоминаниях» передает слова редактора, сказанные им автору «Чапаева»:

«— Вот разговор Андреева с Федором выпустил, — длинно, вяло и не нужно совсем. «Револьвер» тоже выпустил: на что он? Это совсем частный эпизод, нового что ж дает? Ну еще там кое-что, это немного? Как смотрите?» (Анна Фурманова. Воспоминания. «Октябрь», 1936, № 3, стр. 188).

Главка «Револьвер» (в главе III, «Уральск») воспроизводит почти дословно дневниковую запись Фурманова от 28 февраля 1919 года. Содержание главки состоит в следующем: Клычков не хотел сдать имеющийся у него второй револьвер: он-де не имеет права распоряжаться чужой собственностью (револьвер принадлежит его жене), кроме того, он заботится больше о себе чем о других. Под влиянием товарищей Клычков все же сдал револьвер.

Под воздействием опытного редактора писатель увидел, что изображенный им эпизод имеет чисто случайный, частный характер.

Внесенные в образ Клычкова несвойственные большевику качества противоречат жизненной правде, заслоняют собою сущность характера будущего комиссара Чапаевской дивизии. И Фурманов согласился с Лепешинским: эпизод с револьвером был изъят.

Автор не стал возражать и против удаления из произведения разговора Андреева с Федором Клычковым (глава III, «Уральск»).

«...длинно, вяло и не нужно совсем», — такую оценку дал ему Лепешинский, по свидетельству А. Н. Фурмановой. Эта оценка, на наш взгляд, совершенно справедлива. Мы убедились в этом, просмотрев соответствующее место рукописи. На вопрос Андреева: «Ну, как находишь нашего командующего?» Клычков не сумел в своем ответе дать характеристику последнего, пустившись в отвлеченные рассуждения о выдающейся личности, в которых не было ни четкости, ни ясности понимания вопроса. Федор и Андреев затем вступили в спор. Этот спор снижает образы того и другого, ибо он ведется по пустякам.

Редактируя повесть, П. Н. Лепешинский опустил живо воспроизведенную автором беседу иваново-вознесенских большевиков о пережитках прошлого в сознании людей, о частнособственнических инстинктах, о рождении нового человека в процессе борьбы (глава III, «Уральск». Авторская рукопись, лл. 27—28).

Исключен также изумительный рассказ Лопаря о М. В. Фрунзе, проливающий свет на существенные черты характера этого ближайшего соратника и ученика В. И. Ленина. Лопарь, вспоминая время, проведенное с ним в царской тюрьме, говорит о сильной воле Фрунзе, о его необыкновенном самообладании, светлом оптимизме, исключительном авторитете среди товарищей.

«...Надо же в самом деле такой характер иметь, что его к смертной казни приговорили, а он тебе английский язык изучает по самоучителю. Это не каждый сумеет так-то. Силу надо для этого иметь особенную.

— Так и выучил? — наивно изумился Бочкин.

— Выучил ли, не знаю, а учил. И когда в централе, где он сидел, заваруха какая начиналась, скандалы затевались или просто перенервничаются люди и помощи ждут со стороны — к кому тут идти? Опять к Мише, опять к нему: словно склад тут какой, будто запасы в нем сохранялись. И весел постоянно, бодрый ходит такой, все торопится куда-то, все учится, занимается сам, помогает кому-нибудь. Нет, братцы, это чудесный человек, чудесный.

— Мы еще не знаем его... Вот уж, действительно, никакая мелочь к нему не приставала...

— Немного таких-то, — грустно вымолвил Терентий. — Он, знать, вперед себя ушел. Знаете, бывает, что человек-то вперед себя уходит: то есть он как будто и не отличается ни от кого, похож на всех, ан нет: ни на кого не похож на деле-то, и на себя даже не похож, как видишь-то это его, а другой он человек — вперед тронулся... Надо быть и он из этаких.

— Как ты, Тереша, метко говоришь, — обрадовался Лопарь... — Именно вперед ушел... А что мирская-то грязь к нему вовсе не пристает — это верно; в мелочах наших он как будто и участвует, как будто и нет — совсем особенный человек...» (Авторская рукопись, л. 29).

Как ни тяжело было Фурманову расставаться с яркими, взволнованно написанными страницами, однако он не мог не видеть, что беседа иваново-вознесенцев, рассказ Лопаря о М. В. Фрунзе и все связанное с этим рассказом (замечания Бочкина) выпадали из композиционного плана, задерживали развитие действия. «Ни один из эпизодов не должен задерживать общий ход действия, как бы эпизод этот ни был прекрасен» — писал Фурманов в одной из своих рабочих заметок (Архив, II, 62, 174).

Автор и редактор сошлись и на том, чтобы не включать в печатный текст те страницы из дневника Клычкова, где он описывает свою встречу с иваново-вознесенскими ткачихами — Марфой Кожаной и Еленой Куницыной (Глава X, «В Бугуруслан»). В рукописи читаем:

«...Рысью по лощинке направился к горе — тут надо было объезжать болотину — коню не пройти. И вижу — идут по болоту, увязая в грязи, бойцы в касках с большими красными звездами..

Только приблизился — окликнуло разом несколько голосов: это шли иваново-вознесенские ткачи... Заняло дух от радости. Вон, вижу — держит наперевес винтовку, грузно шлепает по грязной тине, улыбается во все широкое милое лицо — Марфа Кожаная. Рядом, в двух шагах, Елена Куницына — тонкая, хрупкая, с узелком — тут у нее все припасы, медикаменты для первых перевязок... запасла материала на целую роту. Тонкие черты чуткого одухотворенного лица, прелестные глаза, разгоревшиеся щеки, все ее нервные движения говорят о том, что неспокойна Елена. И когда взглянешь на сильную, широкую, спокойную Марфу — какой тут разительный контраст!»

Марфа Кожаная и Елена Куницына впервые выступают в главе «Рабочий отряд». Они едут на фронт с готовностью наравне с мужчинами сражаться с врагом. Затем в рукописи они показаны в боевой обстановке. И это вполне закономерно. А между тем в печатный текст из рукописи вошла лишь встреча комиссара с Марусей Рябининой и Лопарем, а Марфа Кожаная и Елена Куницына не представлены. И в дальнейшем Фурманов нигде о них не упоминает. Трудно сказать, почему Фурманов и Лепешинский изъяли из главы X («В Бугуруслан») процитированный нами эпизод с участием названных выше героинь. Нам кажется, что этот эпизод дополнял и усиливал бы те страницы повести, где показано героическое

участие женщин-работниц в гражданской войне.

Говоря о работе П. Н. Лепешинского в подготовке первого издания «Чапаева», мы указали лишь на наиболее значительные следы его редактирования. Необходимо упомянуть, что Лепешинский освободил повесть от ряда таких «мелочей», которые по существу были за пределами композиционного плана произведения, уводили читателя в сторону от сюжетной линии (например, повествование об опрометчивом решении партийной ячейки политотдела об исключении из аппарата управления дивизии всех женщин).

Фурманов был бесконечно благодарен своему редактору. О признательности писателя говорила надпись Фурманова на книге («Чапаев»), подаренной им Лепешинскому: «Уважаемому Пантелеймону Николаевичу, чья рука по-дружески бережно, любовно прошлась по «Чапаеву» и устранила добрую половину его недостатков. Этой помощи никогда не забуду» (Архив, II, 62, 1181).

Мы рассмотрели лишь некоторые особенности творческой работы Фурманова по подготовке своего произведения к первому изданию.

С выходом в свет «Чапаева» писателя не оставляет мысль о дальнейшем совершенствовании текста повести. Как известно, готовя третье издание ее (1925 год), он кое-что улучшил. Так, например, там, где изображался Сломихинский бой, автор до предела сократил описательность первого и второго изданий произведения, ярче показал динамику боя, подчеркнул роль В. И. Чапаева: он представлен в гуще событий, поспевает везде, быстро знакомится с обстановкой, отдает приказания, подбадривает бойцов словом и своим присутствием.

Из дневника Фурманова известно, что у него даже возникла мысль о коренной переработке «Чапаева». Но автор оставил эту мысль: «...перерабатывать не могу! Как же я стану? — да тут каждое мне местечко дорого...» (Архив, II, 62, 1581). Писатель решает лишь «словарь подсвежить». Однако, готовя четвертое издание книги (1926 год), Фурманов этим не ограничился. Он кое-что выкинул, или сократил, внес дополнения. Автор стремился глубже и полнее раскрыть образ Чапаева, ярче нарисовать отдельные картины и эпизоды, усилить выразительность языка. К сожалению, смерть прервала плодотворную работу Фурманова.

Подведем итоги.

Большая предварительная работа над «Чапаевым» дала автору возможность закончить его за короткое время. Уже в первом варианте произведения (в так называемом «остове») разрешены поставленные проблемы, сложились и получили развитие образы персонажей. Не останавливаясь на достигнутом, Д. А. Фурманов, готовя первое издание «Чапаева», продолжает совершенствовать текст. Рукопись произведения содержит поучительные примеры сосредоточенной и углубленной работы писателя по выяснению и художественному выражению основного замысла повести. Введением точных и выразительных фраз ему удалось с большой четкостью раскрыть этот замысел. Меткими авторскими пояснениями он углубил характеристику своих героев. Подбором впечатляющих реалистических деталей писатель во многом улучшил портреты второстепенных персонажей, рядовых борцов за социализм. Фурманов стремился сжать повествование, сделать его компактным — он устранил повторения в ряде мест повести, замечания о незначительных фактах действительности. Автор опустил лирическое вступление к главе «Степь», не удовлетворявшее его своей стилистической манерой.

Значительную помощь оказал Фурманову Лепешинский, устранив ряд недостатков при редактировании, благодаря чему произведение выиграло в идейно-художественном отношении.

Самокритичная работа Д. А. Фурманова — свидетельство его высокой ответственности перед многомиллионным читателем.

Е. Макарова

ИРКУТСКИЕ ПИСАТЕЛИ — ДЕТЯМ

Никогда еще перед детской литературой не вставали такие ответственные задачи, как сегодня. Детская книга в руках учителя, семьи является одним из важнейших средств в борьбе за нового человека, того человека, которому жить в коммунистическом обществе.

Вопрос о детской и юношеской литературе обсуждался в декабре 1960 г. на объединенном пленуме правления Союза писателей РСФСР, Московского и Ленинградского отделений Союза писателей.

Участники пленума обратились с приветственным письмом к Центральному Комитету КПСС, в котором говорилось: «Каждая наша книга, написанная для юного человека, идущего в великое Завтра, должна помогать формированию коммунистического сознания, учить героизму созидания, взращивать чувство прекрасного, звать к сияющему будущему, к трудовым подвигам и научным дерзаниям».

Такие книги есть, но их нужно во много раз больше, и создание их, очевидно, должно быть творческим долгом не только «детских», а всех писателей. В последние годы среди иркутских литераторов наметился отрадный поворот к этому важнейшему делу. Почти каждый из писателей-иркутян дал детям или стихи, или рассказы, повести.

Рассмотрим три книги, вышедшие в Иркутском книжном издательстве в 1961 году: «Кусочек солнца» Леонида Красовского, «Отважные мальчишки» Вячеслава Тычинина и «Жили-были мальчишки» Анатолия Шастина.

Что несут эти книги детям, с какими ключами подходят их авторы к детским сердцам, чтобы посеять в них добрые семена, которые должны взойти хорошими ростками нового?

Книга Л. Красовского «Кусочек солнца» озаглавлена по названию одного из четырех рассказов, входящих в нее. «Кусочек солнца» — так назвал маленький школьник Павка серо-фиолетовый камешек аметиста, когда на него упал солнечный луч и заметался в камешке «маленькими лучиками, щедро разбрызгивая их во все стороны». Отец шутя сказал мальчику, что это волшебный камень и послала его Павке Хозяйка Медной горы. Павка привык верить отцу, поверил и в волшебные свойства камешка, с ним он связал прочитанное и слышанное в сказках: «Если отдать его хорошему человеку и не пожалеть об этом—он останется волшебным». Камень стал для мальчика сокровищем, и, когда семья вместе с отцом уезжает на строительство Братской ГЭС, Павка равнодушно оставляет все прежде любимые игрушки, а камешек везет с собой.

Однажды отец берет его с собой в котлован. Мальчик смутно улавливает тревогу строителей по поводу того, что бетон, закладываемый в котлован, слишком мягкий, что в нем не хватает гравия. Павка и сам начинает волноваться: «Почему они все стоят здесь, если там, внизу, делают ГЭС не так, как положено?» Он обращает внимание отца на лежащие вокруг камешки, он готов бросать их в котлован, но узнав, что грязные камни не подходят, мальчик вдруг вспоминает о своем камешке аметиста. Это совсем чистый камешек да еще и волшебный, и он не потеряет своих свойств, если отдать его хорошим людям, а строители не могут не быть хорошими. «Он вплотную подошел к ограждению и опустил руку в карман. Фиолетовым лучиком сверкнул в воздухе

камешек, яркой каплей лег на свежую кучу бетона».

«Кусочек солнца» — это не только камешек аметиста, это светлый душевный порыв маленького гражданина, отдавшего очень дорогое для него хорошим людям, рабочим людям, выполняющим важное дело для всей страны.

Заглавию книги отвечает мысль и двух других рассказов «Месть» и «Путевка на Байкал». В этих рассказах жизнь ставит перед Павкой вопросы о личном и общественном, о том, что такое хорошо и что плохо.

В рассказе «Месть» Павку горько обижает Сенька Морозов, который назвал его предателем, заподозрив в злостном намерении сорвать школьный спектакль для строителей. Такой обиды еще никто Павке не наносил. Павка решает не явиться на спектакль, в котором они с Сенькой исполняют главные роли. Ребята уже собираются в школе, чтобы ехать к строителям, а Павка, раздираемый чувством обиды, жаждой мести, слоняется по улицам без цели, подсаживается в машину шофера-соседа. На вопрос Павки, почему он работает в воскресенье, шофер, насколько может, просто и понятно объясняет, что это его общественный долг, общественный интерес, что, не выйдя на работу, он подводит товарищей, которые дали обязательство выполнить план в строгие сроки. Лихорадочно заработала мысль мальчика, еще больнее заныло сердце... Воскресенье, а так же, как всегда, бегают машины, работают люди, не хотят подводить друг друга, у них общественный интерес. А какой же все-таки у него интерес? И ответ приходит. Павка мчится к клубу строителей, где ждут и волнуются товарищи.

Блеснул кусочек солнца в чистой душе, на какое-то время замутненной обидой, пережито что-то недетски большое, то, что не забудется никогда, взята важная ступенька крутой лестницы, которая ведет к взрослой жизни людей, живущих по законам советского общества.

Содержание рассказа «Путевка на Байкал» — хорошо знакомая каждому школьнику история о том, как в пылу соревнования по сбору металлолома Павка и Сенька увозят с причала железную печку. Им кажется, что эта печка уже никому не нужна, а ее вес дает возможность превзойти в сборе другие классы и получить путевку на Байкал.

Но ведь они дети строителей, они знают, что значит работать в мороз, и когда узнают, что монтажники ищут печку, привозят ее к их передвижной избушке.

Вот и еще по одной ступеньке поднялся Павка!

Вот так растет маленький гражданин, формируется его характер, воспитывается умение преодолевать дурные и мелкие побуждения.

Л. Красовский не приподнимает на ходули своего маленького героя, не наделяет несвойственными его возрасту мыслями и чувствами. Автор сумел передать жизнь, окружающую ребенка, так, как ее видят глаза живого, любознательного девяти-десятилетнего ребенка. Многое Павка воспринимает по-своему, многое еще не совсем понимает, но то главное, что поможет ему вырасти настоящим человеком, он понимает хорошо. Среди сильных, выносливых, требовательных и сердечных людей труда он получает первые представления о чести, долге, товариществе, преданности коллективу. И веришь, что кусочек солнца — светлые искры в душе мальчика разгорятся в огонь большой жизни.

Четвертый рассказ книги о медвежонке, подаренном Павке, рассказ поэтичный, занимательный, но он несколько ослабляет общую тональность книги и его, пожалуй, лучше издать отдельно в серии книг для дошкольников.

Три рассказа книги В. Тычинина «Отважные мальчишки» — о мальчиках того возраста, когда слова «подвиг», «героизм» так сильно отзываются в детской душе, манят за собой, когда их влечет военная и морская романтика, подвиги землепроходцев, путешественников, изобретателей.

Часто им, пяти-шестиклассникам кажется, что героические времена прошли, и на их долю ничего не осталось. Вот так сожалеет и Данька Блинчиков («Герой»), что он опоздал родиться, что Советская Армия без него расправилась с фашистами, а ему остается только помогать матери да зубрить уроки. Но жизнь не оставляет Даньку без радостей, без мечты — уроки географии уносят его в другие широты, бескрайние океаны, овевают ветром странствий, да в память отца—железнодорожного машиниста — любовь к паровозам, к поездам, которые понесут его когда-нибудь по стальным рельсам в далекие города.

Вот эта любовь и заставляет его копаться в старом паровозном котле, шнырять по залитым мазутом станционным путям, слушать музыку паровозных гудков, провожать и встречать поезда, прицепившись на ходу за ступеньки. В искусстве вспрыгивать в вагоны на ходу Данька достиг высокого класса.

И это умение помогло Даньке совершить поистине героический поступок: с риском для жизни, обдирая в кровь руки и ноги, он останавливает три стремительно мчащихся под уклон вагона, которые оторвались от состава.

О героизме в эти минуты Данька не думает, он думает только об одном: «Ох и всыплет же мне сейчас мамка! Она небось видела, как я на крыше катил».

Женю и Ярослава («Побег») заворожила слава целинников, романтика целинных земель Казахстана и Алтая. Женя так рассказывал ребятам «о шелковистом ковыле с серебристой пушистой метелкой, о ястребах, камнем падающих на толстых зазевавшихся сусликов, о быстроногих антилопах-джейранах, шутя пробегающих по полсотни километров к водопою, как будто сам побывал недавно на целине». На целину, на целину! Накоплены деньги «за счет воздержания от школьных завтраков», изучена карта, намечен маршрут, продуманы детали, стоически преодолена грусть разлуки с близкими, преодолено и первое внешнее препятствие — детям в кассе не продали билетов — доехали «зайцами» в пустых вагонах до станции Татарской.

Но поездка в Кулунду не осуществилась. Умный и добрый человек, железнодорожный машинист, приютивший их на ночь до завтрашнего кулундинского поезда, оказался замечательным педагогом. Не отговаривая ребят, он здесь, в Татарской, отвел их к брату трактористу и дал возможность самим убедиться, что они еще малы и физически слабы, что они ничего не знают и не умеют, и на целине пока не нужны. За три дня путешествия ребята повзрослели и отрезвели. Но их мечту этот горький опыт не убил. Поняли они, что целины хватит и для них, но она будет ждать их сильными, крепкими и умелыми. К подвигу надо готовиться, и они будут упорно брать все барьеры — учение, физический труд, спорт, потому что у них есть путеводная звезда — «ковыльные степи, рев тракторов, распаханная до самого горизонта черная жирная земля».

Рассказы В. Тычинина пробуждают интерес и внимание читателей, потому что во всех присутствует хорошо продуманный, прочный сюжет, развивающийся в быстром, напряженном движении, смене картин, и это делает их по-настоящему, по-хорошему занимательными.

Характеры героев всех рассказов сильные, выразительные, живущие в чувствах, стремлениях, в них, как и в жизни тринадцатилетних, переплетаются мечты, желание быть полезными, найти свое место в жизни с совершенно детскими интересами. Леша, навсегда покоренный профессией шофера и, кажется, забывший о детских играх, «очень удачно за котелок сухих грибов, картинку из «Огонька» и рыболовный крючок выменял трехлитровую банку из-под сгущенного молока».

Между Данькой и Колькой, которые рассуждают о героизме, о Чапаеве, Гастелло и Кожедубе, может тут же возникнуть и такой диалог:

«Данька сковырнул прутиком шмеля:

— Ишь, ворюга толстый. Не тебе припасено.

Колька неожиданно дернулся всем телом, ловко схватил на лету стрекозу.

— Дань, глянь-ка!

Данька покосился на стрекозу.

— Не видал я их, что ли? Такая же пучеглазая, как и ты».

Эти влюбленные в технику, мечтающие о подвигах, «суровые» целинники — мягкие, добрые и нежные ребята.

Непреклонно решивший завтра уехать, Женя особенно остро понял, как ему дороги мама, отец, дом.

«— Ты не заболел, Женюрка? — ласково спросила она (мама), прикладывая мягкую ладонь ко лбу сына.

— Нет, мама, — потупился Женя и вдруг добавил, тыкаясь губами в ее щеку: — Мама, я тебя очень люблю! И папу люблю».

Главная мысль всех рассказов — в жизни всегда есть место подвигам, но к подвигам надо готовиться упорным учением, трудом — большая, воспитывающая мысль. Но она звучала бы более убедительно, если бы герои первого и третьего рассказов не ставились в исключительные обстоятельства, которые кажутся надуманными. И тот и другой совершают действительно исключительные для двенадцатилетних подвиги, проявляют необыкновенное мужество, находчивость, решительность. Такие характеры складываются не просто, не легко, и следовало бы более полно, более мотивированно психологически проследить путь их вызревания.

А Леша в рассказе «Главный экзамен» с необыкновенной легкостью из двоечника превращается в отличника, за одну весну прекрасно овладевает искусством вождения машины, не растерявшись, вывозит из лесу истекающего кровью старого шофера.

И самым неискушенным читателям в это поверить трудно.

Повесть Анатолия Шастина «Жили-были мальчишки» — не первое его произведение для детей. Среди ранее написанного молодым автором были и несомненные удачи — у юных читателей заслуженным успехом пользуется его сказка «Треугольный парус». Были и не совсем удачные произведения.

Сказки «Сундучок мастера Золотые руки» и «Весна не кончается» грешат растянутостью, вялостью сюжета, нагромождением

фантастических образов и всяческих красивостей, главная мысль сказок — труд — всепобеждающая сила — назидательно формулируется персонажами сказок. Очевидно, автор не без основания боялся, что эта мысль не дойдет до детей из самого содержания.

Язык сказок — не язык детской книги, например, «И при каждом его шаге с тихим звоном постукивали подковки сапог, мелодично позванивали редкие капли, если удавалось им выскользнуть из-под подошвы, прежде чем место, куда ступала Илькина нога, становилось прочным, как камень, и прозрачным, как хрупкий, весенний ледок».

А таких длинных, тяжелых фраз в сказках немало.

Сравнение последней повести со сказками свидетельствует о том, что А. Шастину удалось в ней многое преодолеть.

Сюжетный контур повести четкий, исчерпывающий, развивающийся быстро в живых, интересных сценах (в первой половине повести). Радует энергичное начало, с первой строчки начинается действие, захватывающее читателей:

«В этот вечер воины отважного племени сойкиноков исполняли свой боевой танец».

Рассказ о жизни «отважного племени сойкиноков» — так назвали себя мальчишки, начитавшиеся Фенимора Купера, — ведется от лица одного из воинов этого племени — Димки.

Любовь к необычному, бьющая через край энергия пока находят выход в том, что ребята играют в индейцев, «сойкиноки» (по фамилии «вождя» племени Сойкина) воюют с «бледнолицыми» (другой группой поселковых мальчишек).

Неизвестно, хватило бы у ребят увлечения игрой в индейцев на целое лето, если бы не пришел к ним удивительный человек Иван Иванович, их новый учитель истории (как это выясняется только первого сентября). Он не высмеивает ребят, которые перешли уже в седьмой класс, а тонко и умно вступает в их игру: «Я путешественник. Забрел в ваши края случайно и совсем не знал, что встречу здесь целое племя краснокожих». Иван Иванович приглашает ребят принять участие в его путешествии, ставит перед ними интересные задачи, пробуждает присущую им любознательность, страсть к путешествиям, открытиям. Ребята теперь сами изумляются, как это они никогда не полюбопытствовали, почему их поселок называется поселком Двух Братьев, что находится дальше того леска, куда они ходят за малиной и грибами. Взрослый человек, так хорошо понимающий ребят, распахивает перед ними дверь в широкий мир, втягивает их в такие интересные дела, перед которыми бледнеют индейцы, и на месте «туземного поселения» разбивается лагерь следопытов и землепроходцев. Намечен маршрут путешествия — на шлюпке по реке Медянке, обследование ее берегов, Иркутск.

Но надо строить флот — появляются козлы, верстаки, сосновые бревна распускаются на доски, звенят пилы, стучат топоры, опилки порошат землю. Солнце палит ребят, обжигает им плечи и спины, пот заливает глаза, но каким прекрасным и радостным кажется этот тяжелый труд — труд творческий во имя такой понятной и заманчивой цели.

Ребята и до этого работали в школьной мастерской — строгали бруски и рейки, делали палки для метел и щеток, подставки для цветов, но не понимали, кому нужно такое количество палок и подставок, и вся эта работа казалась бесцельной и скучной.

Каким непередаваемо торжественным и радостным был день спуска шлюпки!

Когда первая половина путешественников отправилась в рейс, вторая половина, ожидающая своей очереди, изготовляла тумбочки и табуретки для жителей поселка с таким же рвением и радостью, как делала шлюпку — ведь их труд был нужен людям.

Путешественники увидели большой, захватывающе интересный мир, разгадали тайну «Двух Братьев», нашли графит и дали на него заявку в геологическое управление, увидели Ангару, Иркутск с музеями, стройками, шумными улицами.

Жизнь наполнилась большим содержанием, примирились «индейцы» с «бледнолицыми», исчезли трения в среде самих «сойкиноков». Даже Большая Ложка, эгоист, лентяй и лакомка, начал работать, как все остальные.

Об этом рассказывает Димка весело и занимательно, так, как может рассказывать наделенный наблюдательностью и воображением семиклассник.

«Племя не досчиталось моего плаща, двух палиц и одного лука. Наш воин Большая Ложка бесследно исчез. Может быть, он остался убитым на поле сражения, а может быть, его захватили в плен бледнолицые. Мы не знали этого и потому печальные и тихие двинулись через чащу к нашим вигвамам».

И о природе он говорит так, как о ней могут говорить тринадцатилетние: «А там леса, леса и горы, одна выше другой. Те, что поближе к реке — зеленые, а те, что дальше — темные, синие, а потом и вовсе голубые, как дым от пожара. Сливаются они с голубым небом и не

поймешь: то ли облака там по небу плывут, то ли снег на вершине гор».

Характеры ребят четко индивидуализированы, каждый запоминается в своем неповторимом облике.

Сойкин, вождь племени «индейцев», добросовестно читал Купера и был таким, каким полагается быть вождю племени: «Лицо его выражало непроницаемость и волю — белые брови суровы и сдвинуты, губы сжаты, а нос наморщен».

Большая Ложка вполне оправдывает свое имя — толстый, ленивый, он больше всего любит печь картошку, а в сражениях с «бледнолицыми» похищает конфеты и съедает один.

Димка (рассказчик) — самый большой фантазер и мечтатель, самозабвенно перевоплощается и в индейца и в следопыта, в то же время он мягкий, добрый мальчик, чутко понявший горе Галки, которая тоскует в разлуке с матерью.

Все они разные, эти мальчишки, их не спутаешь одного с другим, и всем им присущи лучшие человеческие свойства, воспитанные советской школой: инициативность, жажда деятельности, справедливость, чувство товарищества, смелость и выносливость.

В повести много шутки, теплого юмора, которые необходимы в жизни детей и в детской книге. Отдельные сценки выписаны живо, остроумно и весело.

В повести передана поэзия труда, его организующая и воспитывающая роль, выражена педагогически важная мысль о необходимости для детей сочетания трудовой деятельности с игрой, творчеством, радостными эмоциями.

К сожалению, повесть написана неровно. Она очень ощутимо распадается на две части.

Если в первой половине автору в рассказе от лица Димки удалось воспроизвести непосредственность, естественность детского восприятия, детской речи, то во второй (с событий, связанных с путешествием) эти качества теряются.

О путешествии мы узнаем из записей Василисы (Василия Клокова), которые он ведет в корабельном журнале.

Василисе, а вернее автору, уже не удается с прежней динамичностью передать события. Развитие сюжета явно замедляется, рассказ принимает описательный, а потому и скучноватый характер.

В записях Василисы все точно, рассудительно, правильно и холодновато. Здесь звучат взрослые интонации, слишком «литературная» гладкая речь: «Мы смотрели, как Иван Иванович намечал на карте место нашей находки, а я держал кусок старой газеты и думал о человеке, который начертил на ней схему. Правильно ли мы угадали, что он хотел сказать? Может быть, вовсе не о графите, а о чем-нибудь другом должна была сообщить схема?»

Да и Димку, который снова начинает рассказ после возвращения из Иркутска, как будто подменили. И здесь — восприятие и речь взрослого человека: «Шаг, еще шаг — и мы склонились над листом репейника. На его шероховатой пыльной поверхности дрожала круглая прозрачная капля росы. Простая капля! Отражая солнце, она казалась драгоценным камнем, блестящим и необыкновенным. Но эта была только вода».

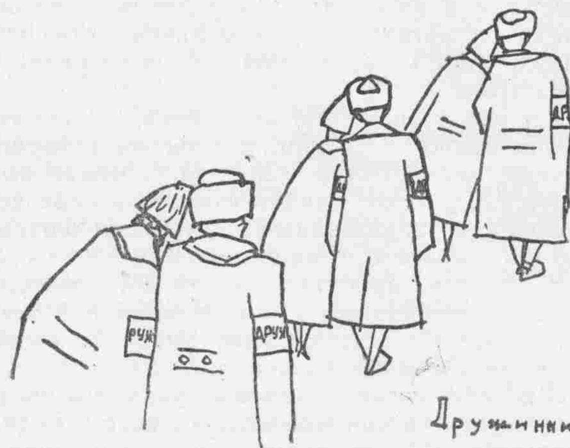
Повесть, несомненно, выиграет, ее добрые мысли действеннее дойдут до читателя, если автор при переиздании поработает еще над второй ее частью.

В общем же все рассмотренные книги — хорошие, добрые книги о юных, которые смотрят на все происходящее вокруг них как хозяева и творцы жизни, готовые активно вмешаться в нее, которые всем ходом нашего общественного воспитания готовятся к труду, к большим свершениям.

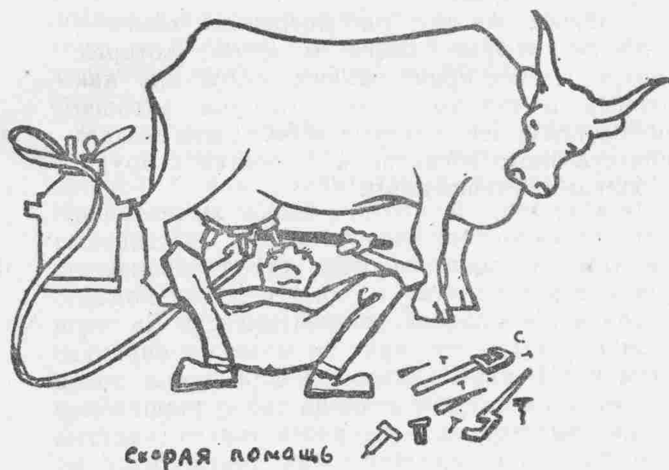
Сатира и ЮМОР

В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

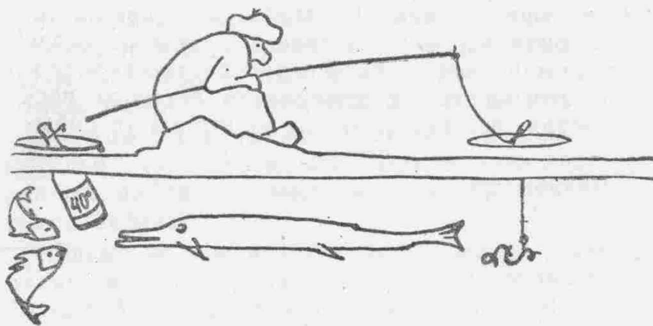




Дружинники...

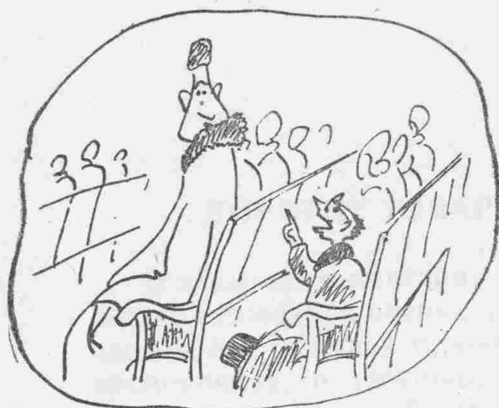


скорая помащь

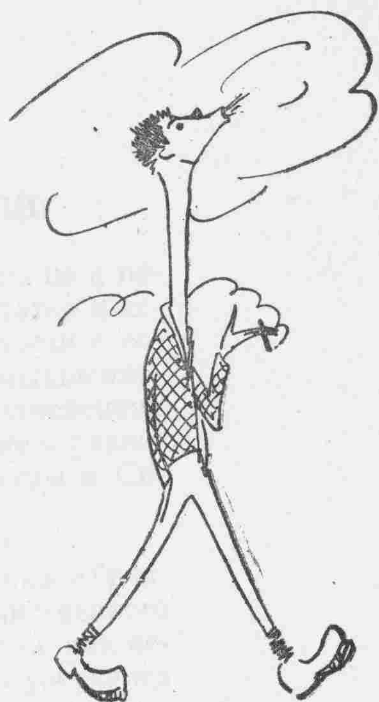


Это по Цельсию или по Реомюру?

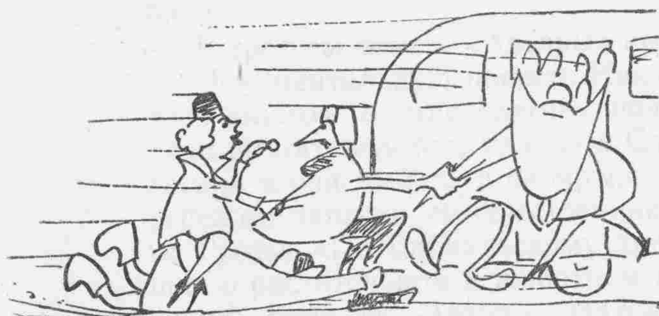
Рисунки худ. Спирина В



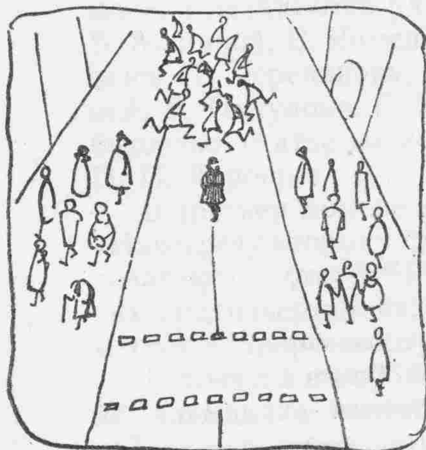
Снимите, пожалуйста, шапку!



Дымоход



Передайте, пожалуйста





Рисунки худ. Морокова Ю.

Альманах Ангара № 2

Худож. редактор *Е. Г. Касьянов*
Техн. редактор *В. Д. Карась*
Корректор *Т. Н. Ковинина*

Сдано в набор 3 марта 1962 г. Подписано к печати 24 апреля 1962 г. Печ. л. 13,94. Уч.-изд. л. 14,88. Бумага 84 X $108^1/_{16}$. Тираж 5000. Заказ № К-101. НЕ 01243.

Иркутское книжное издательство, ул. Горького, 36.

Типография № 1 отдела Полиграфиздата Иркутского областного управления культуры, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 11.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!

В альманахе «Ангара» публикуются романы и повести, рассказы и очерки, стихи и поэмы, статьи и исследования о нашей героической современности и современниках, о насущных проблемах промышленности и сельского хозяйства, о грандиозных изменениях в облике и в жизни родного края, о подъеме и развитии науки, культуры, искусства и литературы в Сибири.

В третьем номере «Ангары» вы прочтете:

Документальную повесть Ивана Никитина «Трудное золото» о многолетних поисках таинственного «деминского золотого клада» в Саянах, о том, как нелегкий и опасный труд сибирских геологов увенчался успехом; записки путешественника-натуралиста Олега Гусева «По Байкальскому хребту», рассказывающие о растительном и животном мире северных побережий Байкала. Автор — знаток и любитель природы — дает много ценных сведений о жизни и повадках птиц и зверей, ярко и увлекательно описывает работу зоологов и орнитологов в тайге, изобилующую незабываемыми приключениями.

Кроме этих произведений в третьем номере альманаха печатаются рассказы и очерки Л. Огневского, В. Мариной, Е. Ячменевой, В. Ладейщикова, Г. Машкина, Л. Черепанова; стихи М. Сергеева, Е. Жилкиной, Г. Пакулова, Г. Эдельмана, С. Иоффе, Ю. Файбышенко, статьи на исторические темы В. И. Дулова, П. П. Хороших.

В третьем номере «Ангары» открыт новый раздел: «Навстречу второму съезду писателей РСФСР». В нем печатаются статьи Г. Кунгурова «Литература великих предначертаний», А. Абрамовича «Коммунизм — массовое творчество».

Готовятся к опубликованию в последующей книжке альманаха повесть Д. Милюкова «Разбуженная тайга» — о героях строителях железнодорожной магистрали Абакан — Тайшет и научно-фантастическая повесть Ю. Коновой «Осколки тяжести».

Читайте литературно-художественный и общественно-политический альманах «АНГАРА»!

60 к.

